Алесь Адамович

КАРАТЕЛИ

(Радость ножа или Жизнеописания гипербореев)

Мінск
1981

Гипербореи, гиперборейцы *— в древнегреческой мифологии — обитатели Крайнего Севера (куда не долетает холодный ветер Борей, на границе нашего мира с миром антиподов), а по представлению некоторых античных авторов — это народ, живший в середине первого тысячелетия до н э. на Востоке, в Азии.*

«Обратимся к себе. Мы — гипербореи, мы достаточно хорошо знаем, как далеко в стороне мы живем от других. «Ни землей, ни водой ты не найдешь путь к гипербореям», — так понимал нас еще Пиндар. По ту сторону севера, льда, смерти — наша жизнь, наше счастье. Мы открыли счастье, мы знаем путь, мы нашли выход из целых тысячелетий лабиринта… Нет ничего более нездорового среди нашей нездоровой современности, как христианское сострадание. Здесь быть врачом, здесь быть неумолимым, здесь действовать ножом — это надлежит нам, это наш род любви к человеку, с которым живем мы — философы, мы — гипербореи…

В единичных случаях на различных территориях земного шара и среди различных культур удается проявление того, что фактически представляет собой высший тип, что по отношению к целому человечеству представляет род сверхчеловека. Такие счастливые случайности всегда бывали и всегда могут быть возможны. И при благоприятных обстоятельствах такими удачными могут быть целые поколения, племена, народы».

Фридрих Ницше

«Если можно признать, что что бы то ни было важнее чувства человеколюбия, хоть на один час и хоть в каком-нибудь одном, исключительном случае, то нет преступления, которое нельзя было бы совершить над людьми, не считая себя виноватым…»

Лев Толстой.

ЧЕМ ВЫШЕ ОБЕЗЬЯНА ВЗБИРАЕТСЯ ПО ДЕРЕВУ...

Анна Шикльгрубер, служанка, незамужняя, родила Алоиса, которого усыновил человек без определенных занятий Джон Георг Гидлер: Алоис Гидлер и Клара родили Адольфа... Адольф Шикльгрубер-Гитлер родился в австрийском городе Браунау 20 апреля 1889 года.

Особые приметы: хорошая память, плохие зубы.

... Он плакал во сне, проснулся от одиночества, тоски. Открыл глаза и вспомнил, что заболеет: перед тем как заболеть, всегда плачет во сне. В большой, отделанной деревом и задрапированной теплыми коврами бетонной спальне он был один. Никого не хотелось видеть. А его ждут: там уже собрались, с 16.30 его дожидаются начальники штабов — сухопутных войск, военно-воздушных, морских. И «человек №2», «человек №3», «№4», «№5» — все, сколько их есть пронумерованных, себя пронумеровавших. Смотрят на разложенную на столе карту, развязно болтают, обсуждают положение на юге, осторожно посматривают на единственный стул и стараются угадать Его сегодняшние мысли, решения.

Думать о себе, как о Нем, видеть себя, как Его, давно стало привычкой Адольфа Шикльгрубера-Гитлера. На Него и сам уже может смотреть со стороны, но не снизу вверх, как другие обязаны, а скорее — как очень заботливый, хотя и бесцеремонный денщик. Которому все кажется, что хозяин без него не то и не так сделает и тем повредит своей репутации. «Ну, что у Тебя рука эта все дрожит, попридержи правой, если дрожит!.. Ну, что Ты так засмущался, уставился в свою бумагу?! Может, еще очки достанешь, на нос посадишь — при всех?!

Крикни! Громко выкрикни — неважно что! — и пойдет. Сразу узнают Тебя, обрадуются...»

До трех утра не спал, выслушивал вечерние донесения офицеров-оперативников: о неожиданно широких действиях русских на Харьковском направлении. Неужели догадываются, что не Москва, а юг главное направление?.. Хотят опередить, ослабить Твой удар. Поздно! Такого, упреждающего, боялся — кошмары мучили! — в тридцать девятом, сороковом. Вдруг вырвутся на европейские бетонные дороги! Пока их обратно загнали бы, все израсходовали бы: накопленные боеприпасы, бензин, время. Главное — время! И при этом не давать им чему-то научиться, воевать научиться: разгрызать по одному, главное, по одному! Те самые генералы, которые дрожали

перед азиатскими просторами и хитростью Сталина, потом, друг друга толкая, спешили сообщить, как все удачно и по плану идет. И даже лучше, чем планировалось. Никто не мог рассчитывать на внезапность тактическую. Стратегическую — понятно, этого добиться некоторым удавалось, если какое-то государство взялось раньше и действует энергичнее. Но чтобы сегодняшний противник ничего не замечал до последнего дня, когда современная военная машина такая громоздкая, звучная!..

Или они действительно не верили, не хотели верить собственным глазам и ушам? Почти две тысячи самолетов удалось сжечь на земле. Радиоперехваты совершенно немыслимые: «На нас напали немцы! Бомбят, обстреливают, танки движутся!» — «Да вы что там, белены объелись? Не отвечать на провокации!»

Вот уж действительно: если Провидение решило погубить, оно прежде всего ослепит. Зато, если изберет кого, не пожалеет знаков. Их было столько все эти годы, знаков — и на востоке, и на западе…

Но вот этот сон, и снова слезы, давние, детские слезы — уводящие далеко назад, где не было Фюрера, а если бы и был, никто этого не знал. И знать не хотели! Не было Фюрера, но были тоже планы и мечты — всегда о великом. Художника Гитлера мечты, который всем им докажет, заставит приползти к ноге — всех, кто знать не хотел его… Который стоял у изголовья умирающей и уже знал, что умирает Мать Избранного. Под призрением «доктора для бедных», еврея Эдуарда Блоха, умирала Мать Фюрера!.. Интересно, сберег доктор Блох картину, подаренную ему после похорон? Теперь эта акварель — его талисман! Сколько раз ни настигала бы германская армия еврея Блоха, Эдуарда Блоха из австрийского города Линца, куда бы ни переезжал он — будет, как было в 1938-м. Далекая и вседержащая рука откроет ему дверь в соседнюю страну. И снова в соседнюю. Пока существуют соседние страны.

Возможно, Эдуард Блох и будет последний еврей в Европе, потом в Америке, потом в Азии, в Австралии…

Ни к чему теперь болезнь, а Ты обязательно разболеешься — нашел время! Возьми, возьми в руки себя. Нужна ясная голова — это наступление должно все выправить. Зима показала: положиться не на кого. И больше всего злит, когда начинают бормотать, будто Ты не говорил им, не было этого, не предупреждал, не указывал заранее! Пусть, пусть снова сидит Людвиг Кригер и все записывает, чтобы не могли отпереться, когда История будет подводить итоги. Можно подумать, что Ты не вбивал всем в башку, не повторял сто раз: не Москва, не Москва, не Москва! Главная цель — юг, промышленность и

нефть юга!.. Так нет же, каждому хотелось обскакать Наполеона. А что бензина осталось на один месяц — это не их, не генеральская забота. Затащили армии в снега, на погибель!.. А потом готовы были бежать, как тот самый корсиканец, до Березины и дальше. И побежали бы, если бы не взял армию в собственные руки и не превратил русские «котлы» в немецкие крепости. Сколько ни смещай этих Беков, этих Браухичей — все они одной кости, и для них ты «гефрайтер», даже не унтер-офицерский чин. Как бы громко, каким бы сладким хором не повторяли: «мой фюрер!» Вот отдал бы я тогда армию капитану Рему, он бы вас всех подравнял, подстриг под СА! А может, зря, зря не отдал?! Ха, вон как удивились и скрыть не смогли удивления, обиды, что «гефрайтер» отшвырнул их бездарную директиву и написал свою — о наступлении на Кавказ, на Сталинград. Как же, их наукам не учился — списывать у Клаузевица, Мольтке, Шлиффена, — а лезет в их святая святых! И никак не привыкнут, что нет больше военного министерства и генерального штаба. Вот где было бы не продохнуть от генеральской спеси! Никак не усвоят, что главный фактор — то, что генерирует гений фюрера, а не их штабные линейки. Я и сам не могу объяснить, как это исходит из меня, но разве мало доказательств! Она в учебники войдет, директива № 41 — решающая директива о решающей битве! Пока Сталин дожидался нового наступления на Москву (далась она им всем, и моим тоже!), я перережу России жилы. Сначала на юге. Потом Мурманскую дорогу. Москва и повиснет — в пустоте. Пыль и кровавое месиво! Не нужна мне Москва. Как и Петербург не нужен. Пусть содрогнется мир: я с корнем вырву два ноющих зуба Европы. В Гималаях эхо отзовется. Впереди — Иран, Ирак, Египет, Индия... И Тибет! Наконец-то никто не будет стоять между мной и Ними!..

Холодная, скользко-вогнутая, замкнутая Вселенная, а в ней солнечно освещенная ниша. Как стеклянная мухоловка. Стенка из синего бесконечного льда. Там, снаружи — Их глаза. В круглой нише, внутри ледяной Вселенной ползают по изогнутой стенке те, кто называет себя людьми. (И воображают, что они не внутри шара, а на поверхности — «на планете».) Снаружи — Они. Глаза льда. Нет, огненные Глаза! Я, только я вижу Их. О, не легко было выманить Их из тысячелетней дали и выси! И остановить, удержать на себе. На Германии. Мои людендорфы думают, что под Москвой меня русские остановили. Нет, меня, нас оставили Они! Отвели Глаза в сторону, и лед пополз, стал побеждать. Огонь отступил. Отвернулись на миг, чтобы мы ощутили, что с нами будет, если оставят насовсем. Как его оставили, отдав в мои руки. Не сибирские дивизии и не Америка

страшить должны, а Их гнев. И не гнев это, а внезапное безразличие, отсутствие. Их нет, и лед наступает на нишу. Надо быть Их огнем, Их гневом и ужасом, и тогда Глаза снова смотрят, ждут, требуют. И все идет, как предсказывал я. В этом еще раз все убедятся, когда заработает директива №41, победоносно двинется шестая армия, направляемая моим шестым чувством. Любопытное совпадение!.. Вот наше главное оружие, секретное, им владеет Германия, пока есть я. Только пока я есть. То, что я существую, — важнейший фактор. Пора наконец понять простую истину: Фюрер хорош не потому, что хорош, а потому что есть, и он незаменим. Попрекают меня импровизаторством. Меня — эти бумажные черви в мундирах, которые я же им и вернул. Я, «гефрайтер», «младший чин», вернул им генеральские, фельдмаршальские погоны. Вернул Германии оружие. Но они все еще Клаузевицем живут, война для них — служанка политики, и только. А политика по их книжонкам и понятиям — наука всего лишь о возможном. О «возможном»! Тоже мне наука. Возможное я достану и без всякой науки. Весь фокус, чтобы добиться невозможного. Вопрос о жизни и смерти расы, а они — «возможное»! Не государства сегодня, а расы воюют — все против всех. Какие бы ни возникали союзы, коалиции. И должна победить и остаться одна-единственная раса. Разве возможно, чтобы одна — всех? Ну, а погибнуть германской, арийской расе — эту возможность вы допускаете? Ага, вас другое смущает: зачем кричать на весь мир, зачем объявлять наши конечные цели? Лишних врагов наживать. Пусть мир считает, что «Майн Кампф», что угрозы истребить низшие расы — всего лишь аллегория, образное преувеличение...

Ну что ж, пусть так считает мир, если он боится, не умеет смотреть правде в глаза, смотреть в глаза мне. Но вы-то, вы, мои сподвижники и номера, вы, мои немцы, — чего вам трусить? Мы еще только в начале дел и пути.

Не союзы, не коалиции страшно потерять. Их не было никогда у Германии — союзников надежных. Главное для нас — не упустить время. И единственно важный союз — с Ними, с Могуществами. Значение имеет лишь то, что Они меня избрали, и я с Ними. Я знаю, я-то знаю, что, прежде чем заметить меня, Глаза остановились на нем. На моем главном противнике. И за это я ненавижу его больше, чем за его большевизм, которым мой Йозеф пугает Европу и Америку. Они к нему присматривались, я это понял, примеривались, оценивали. Он объявился раньше, и там Азия, это ближе. Глаза на нем стояли, пока мы копошились на этом европейском полуостровишке — в своем Мюнхене, и когда даже Берлин не был наш. У немцев не было

признанного вождя — кого было замечать?! А были трусливые политиканы: вздрагивали, как от снарядов, от одного лишь урчания французских, английских желудков, лениво переваривающих германские репарации. На ком еще могли остановиться Их глаза? Не на бедняге же дуче с его опереточными чернорубашечниками. Когда придет Время Песка, я его и гауляйтером, пожалуй, не поставлю. За один только запах изо рта! Кажется, что и в телефонной трубке слышен. Жрет мясо. Кстати, вот вам классический пример коалиций! Как отважно бросается дуче, да и все они, вонючие наши сателлиты, вперед, но только туда, где уже торжествует, победило германское оружие. Ну нет, на этот раз будешь сполна платить за победу — пойдешь добывать ее на Кавказ, на Волгу — все пойдете!..

Да, я опоздал, а он был прямо под Ними. Проклятая география! Проклятый полуостровишко — Европа! И народ мне достался, — он хотя и не испорчен настолько вольтерьянством и евреями, как народы латинские, но с ним тоже будь начеку. Сегодняшний немец, а немки, те особенно, — руку не моет, коснувшись руки, одежды или машины фюрера. Про это сами по радио мне рассказывают. Но как скоренько они умыли бы руки свои, если бы не получилось с рейнской операцией, с Чехословакией, с Польшей… Шарахаться в крайности — это у них в природе. Еще за день до моего триумфа голосовали за красного Тельмана, буквально за день!..

22 июня 1941 года — вот когда я все о вас узнал, немцы! Сыновья ваши сквозь огонь устремились на Восток — добывать великое будущее для Германии, а вы, вы!.. Вы забаррикадировались трусостью, осторожностью в своих норах-домах, и ни один берлинец — зеваки не нашлось! — не пришел на Вильгельмштрассе, чтобы приветствовать гвардию фюрера. Точно испортилось у всех радио… Немец не пожелал посмотреть на марширующие войска — возможно ли такое?! Оказалось, мои вы преданные и верные, с вами возможно все! Так что славьте фюрера и его неслыханные победы — голос у вас прорезался сразу же, как услышали о великих победах на Востоке, — но у фюрера память хорошая. Что-что, а память у меня отличная, мои вы верные и преданные!.. И вот с ними, с такими, я сумел то, чего никто не добивался. Не за 20 лет, а за 5 — 6! Одного радио хватило мне для этого. И евреев.

И Они отвели глаза — в мою сторону…

Уж теперь-то я сделаю из вас германцев, выбью немецкую труху из истории, из душ ваших! Какие-то бедуины, пастухи завладели полмиром, когда у них появился вождь и идея, настоящая религия не слабых и сирых, а воинов, преданных пророку. Вот у кого, у мавров, а

не у римлян позаимствовать бы нам религию, а с нею получить в наследство полмира. Но с германцами случилось самое плохое, что только могло: на плечах они унесли римское золото, а в душах — еврейскую, христианскую заразу. Нет! Из большевистской Азии мы принесем только золото победы. Только! Всю заразу, как холеру в средние века, выжечь огнем. На месте.

Но моим немцам и хочется, и дрожь в ногах... Какие разработочки присылают мудрецы из Восточного министерства! Спор чиновничий затеяли: 30, или 50, или 70, или 100 миллионов выселить по Генеральному плану. Не повиснет ли «невыносимая тяжесть» на совести исторического немца, если с поляками поступим, как с евреями? И нельзя ли украинцев использовать против русских, а литовцев, латышей — против и тех, и других, и белорусов. Все пытаются обойти твердый принцип: впредь никто, кроме немцев, не должен носить оружия! Даже в моем Розенберге пискнул либерал. Одно дело на бумаге да в романтических спорах и мечтаниях, а тут практика, мясо. А ведь и он — втайне, конечно! — считает себя моим учителем. Это они меня «открыли», «зарядили», «сделали»! Для немца даже фюрер — всего лишь нафаршированная колбаса! Вильгельмштрассовским революционерам хотелось бы с помощью одних славян победить и истребить других — все у них союзы да коалиции в голове. В мечтах да на бумаге цифры не пугали. А когда до дела дошло... Интересно бы посмотреть на этих Майеров, Ветцелей да на моего прибалтийского эстета Альфреда, если бы им пришлось не миллионами душ туда-сюда отсчитывать, а двух-трех женщин, но самим, своими руками ликвидировать. Да еще с их недоносками. Поставить живых перед ними — ну-ка исполняйте нашу историческую миссию! Опозорились бы, как Гиммлер в Минске. Велел поставить под расстрел сто, но на втором десятке свял, сбежал, как баба. И молчит, тут он не спешит докладывать!.. Нужен огонь и огонь! На Востоке мы выжигаем еще и немецкую серу из германской руды. Без этого хорошей стали не получишь. И делать это будем безжалостно. В лаборатории чистой расы не создашь. Одними этими вашими измерениями черепов. Нет, не сырья, не «вооружения вглубь», «вооружения вширь» — не этого недостает мне. Что бы ни толковали мои «специалисты». Будет и сырье, будет и оружие — если умело балансировать ресурсами. Времени — вот чего не хватает. Чтобы из сырья человеческого, которое нам оставила история, из этого мусора рас выплавить чистую сталь новой расы, нового человека. Нажал на перо — сто, тысяча, миллион упали на бумагу! Нажал на спусковой крючок — столько же под дулом автомата! Новому Человеку все будет

одинаково легко и радостно. Будь у меня два-три поколения, воспитанных как следует, невозможного не существовало бы. Но отпущено мне было только шесть лет, если не считать времени, когда я шел к власти. Но и на эти шесть я, кажется, не имел права: следовало начинать в 1938-м — прямо с Мюнхена. Невзирая на то, что они уступили, во всем уступили, эти лондонские трусы. Но свои, немецкие трусы повисли на руках и ногах: рано, не готовы, хотя бы еще полгодика! Мы сильнее не стали, а они пришли в себя — остальной мир. Не следовало дарить им такую возможность. А еще эта идиотская история с итальянским наступлением в Греции.

Отняли, отнимают у меня месяцы, недели, которые могут отозваться в столетиях!..

Нет, мне еще надо было докричаться до них — до Главных Союзников. Политический жаргон, шепоток иносказания для Них не годились. Нужно было во весь голос и открытым текстом. Они должны были увидеть, что я готов исполнить Их дело, погрузиться в такую кровь, на какую никто не решался, по крайней мере, в открытую. Они должны были поверить, что моя борьба — Их борьба. Ведь Им безразлично куда — с Востока на Запад или с Запада на Восток течет река крови. Важно, чтобы текла и чтобы это не ручеек был, а всеобновляющий поток, уносящий весь мусор истории, расовый сор. Цена идеи исчисляется кровью. Моя стоит больше — в Их глазах. Ни одна идея не обещала столько очистительной крови, огня…

Я сразу понял, когда это случилось — наконец Они перевели глаза на Германию! Особенно, когда началось в маленькой Финляндии. И прежнее обрело логику, высшую: она вдруг открылась мне. Я понял: приходит мое время! И даже то, что было до поры скрыто, спрятано от меня, — даже это обернулось заботой Провидения о моем торжестве, успехе. Я распахнул дверь на Восток, не зная, что там увижу. Не зная, не подозревая, какая танковая армада, воздушная мощь у него там. Когда бы знал я, не решился бы, пожалуй, а это не входило в Их расчеты. И Они позволили ему обмануть меня. И тем самым поманили, подтолкнули меня напасть. И разбить, разметать армии, скованные по рукам и ногам его страхом перед судьбой. Внушенным ему страхом…

А как он собрал все это у самых границ, тоже как бы по Их подсказке. Чтобы я мог одним ударом…

Надо знать, помнить, что все наши чувства, цели, наши интересы, границы и пр. и пр. для Них — необязательное, воображаемое. Как и обычное наше представление, что земля — каменный шар, круглая глыба. Из людей я один это знаю, один я вижу Их глаза и

нашу «планету» как она есть, — ледяной шар изнутри. Какое острое наслаждение носить в себе высшее знание, выдерживать направленный на тебя Их взгляд — Глаза Ужаса! А вокруг маленький наш привычный мир, и такой здешний, земной испуг на лице Евы: «О ком ты, мой дорогой, говоришь? Кто «они», о ком ты? Ты плохо себя чувствуешь?» Простая душа, она все-таки не верит, что я нечто большее, нежели «мой фюрер». Когда Елизавета Ферстер — мужественная германка, сестра великого Ницше, прислала приветствие «Первому на земле сверхчеловеку», всем это показалось лишь красивым жестом. Ведь для них все, в конечном счете, слова, слова.

И не подозревают, даже мои ближайшие «номера», что Новые Люди уже здесь, присутствуют, действуют, и я — их посланец. Важнейший фактор то, что я существую.

Ради кого-то или чего-то другого не стоило, но ради такой идеи можно было вынести все, что вынес я и через что прошел. Все смог, сумел и остановил Глаза Ужаса на Германии. Той самой Германии, где меня унижали, оскорбляли, знать не хотели, обзывали «почтмейстером», грозились «выгнать плетью» в Австрию... Где-то же есть он, затаился тот Гжесинский, — польский ублюдок, посмевший стать немецким полицейским чином. Он смел плетью грозить будущему фюреру и ушел от возмездия. Другие тоже спрятались — сколько их, попрятавшихся! Ускользнули в безвестность, в смерть или за границу. А старый бык Гинденбург — в немецкую славу, в историю. Пауль фон Бенекендорф унд Гинденбург!.. Дайте время, я поукорочу ваши имена! Наступает пора новой аристократии. Придет время, и в германских пантеонах станет просторнее. Мощи этого тупицы-шутника вышвырну в первую очередь...

«Кто он такой, этот Гитлер? Я сделаю его почтмейстером, пусть лижет марки с моим изображением...» Он это сказал, он посмел?!

О, старый мерин, потом и ты узнал, кто я такой. Как вяло пожимал руку новому рейхсканцлеру, позванному к власти немецким народом. Но пожимал! Чувствовал «фон унд», чувствовал, что не для того пришел Адольф Гитлер, чтобы играть в парламентскую болтовню, а чтобы вас всех вышвырнуть. Посмотрим, где будет твое «изображение», старая кляча, когда я возьмусь за немецкую историю понастоящему! Придет Время Песка!..

В чем только меня не подозревали, чем не попрекали — дезертирством из австрийской армии, «еврейской» буквой «д» в фамилии деда... Даже автомобилем «за сорок тысяч марок» — эти крикуны из СА, пока их не укротила ночь длинных ножей. Попрекали

машиной, которая потом спасла фюрера, выхватила из-под полицейских пуль — с ключицей сломанной, с этой вот рукой, но спасла! Кем, чем вы были бы сейчас, где были бы без фюрера?! О жадная толпа, которая, даже покорившись, подчиняясь, старается овладеть тобой, господствовать! Тянет преданно руки, чтобы завладеть полностью тобой. И ей даже удается. Как сладостной Гели удавалось, моей пышнотелой и нервной племяннице, а когда не до конца удалось, взяла в руку пистолет и отняла себя у своего господина. «Ну, тогда я уйду!» — и ушла, закрылась и выстрелила. Ревнивая и нервная. Как сама Германия. Сама и поплатилась. Ревность и неверность — в этом их природа. С этого и Ева пыталась начинать — в первые наши месяцы. Все грозила отравиться. И все это ради того, чтобы, подчинившись, господствовать. Завладев, предать. У толпы, у женщин — тут верное чутье, инстинкт, верный путь. И та же жадность. Любя, поклоняясь, отнимут все радости, без которых сами своего существования не представляют. Живи ради них, дыши ими и ничем, никем больше! Еву до сих пор прячу: смертельно обидятся, если узнают. Как же, обручен с Германией! Все готовы отнять добрые, преданные немцы у любимого фюрера. Но фюреру ничего и не надо. Ничего! У него есть то, о чем вы и думать не умеете. О чем не догадываются даже те, кто знает о Еве, — ближайшие «номера». Даже эта африканская свинья Герман. И всезнаюший рейхсфюрер не знает. Да, интересно, как там у моего хромоножки Иозефа? Бьет его Магда, нашего сморчка-германца, или он собственным удовольствием и старанием делает ей детишек — сколько их там уже, пять или шесть? Гиммлер намекал на связь его с какой-то подлой славянкой, чешкой: ну штрассеровский бесенок, ну социалист!

Мне известны ваши порочные тайны и тайные пороки, мои законопослушные немцы! Плотоядные, неверные, старательные, оглядчивые. Мы общей тайной перед миром повязаны. Только вы и передо мною простодушничаете. О это простодушие старонемецкое, эта честность на весь мир! Они-то и есть самая великая немецкая хитрость и самая полезная. Как швабы лучшие, талантливейшие лжецы в Германии, так и мы с вами — в Европе. Благодаря нашему мефистофельскому простодушию. Если чем и победим другие расы, то именно простодушием, которым всегда питалось истинно немецкое чувство правоты перед всеми и за все. Кто больше меня предан этому гениальному немецкому чувству? Так не надо хотя бы передо мной хитрить. Я во всем с вами и всегда. Да, мы всегда честно требуем только необходимого, ничего лишнего! Требуем по праву немецкой

культуры, немецкого трудолюбия — честно! Чувство любого немца, когда он обижен за Германию, — самое справедливое. Это народное чувство. Как ни у кого другого. Никто и никогда не хотел считаться с нашими правами, требованиями, которые только справедливы. И сегодня мы честно объявляем: отныне мы становимся нацией истребляющей! Англосаксам придется передать нам вместе с Ближним Востоком, Африкой, Азией — и эту роль, это право.

Ваша, немцы, простодушная честность, она и моя тоже. Но я не позволю вам сыграть в слишком знакомую игру: не удастся вам простодушно отречься от своего фюрера. Умыть руки, которыми тянулись к Нему, старались коснуться хотя бы одежды или крыла машины. Я не сам, мы не сами пришли — вы нас позвали. Но не были бы вы немцами: и здесь вы простодушничаете, хитрите! Вы не вышли с нами на мюнхенские улицы, осторожненько выглядывали из-за штор, когда мы шли под пули. Вы не дали мне все голоса, хотя и поманили нас. А этот ублюдок Штрассер едва не расколол партию, и едва все не погибло. Я должен был пистолет поднести к виску и только угрозой, что ухожу, выйду из игры, — только этим снова привлек Их глаза и повернул события в нашу пользу. У вас на все и всегда есть алиби. И все равно мы возникли не сами по себе, мы — из вашей всегдашней правоты, мы — из вашей простодушной немецкой обиды на всех: на банкиров, на красных, на Запад, на Восток, на поражение, на голод, на своих, на чужих. Вы нас позвали!..

Я выбрал борьбу со всеми и до полной победы, что означает — и я это не скрывал никогда! — полное уничтожение побежденных. Вы на это согласились, пошли за мной, за ними. Потому что я угадал вас, угадал то, чего вы сами стыдились всегда, боялись в себе. Мы повязаны. Не рассчитывайте, что вам простят то, чего не простят мне. Если победим не мы.

Я вас вижу всех и до конца, вы меня — на сколько хватает вашей смелости. И сколько я позволю. Наша с вами общая тайна кончается там, где начинается только моя. И где начинается тайна моего общения с Могуществами. С Ними я разговариваю не на немецком. Я сам это не сразу обнаружил. Почему-то совсем не задумывался раньше, на каком мы разговариваем, когда Глаза Ужаса смотрят мне в лицо. Ева пугается, спрашивает, что со мной, готова голову мою пощупать, если бы не боялась, что рассержусь. И больше всего пугает ее, что разговариваю на незнакомом языке. Только имена звучат для нее знакомо: Дитрих, Петш, Лянц, Кубичек… Но при чем здесь Кубичек, этот жалкий музыкантишка?.. О чем это я? Да, так и должно быть: особый язык, не всем доступный, язык

посвященных! Но если не немецкий, тогда какой же изберем мы, избравшие себя? Все планируем, а об этом наши мудрецы — никто! — даже не задумываются. И мне это не сразу в голову пришло. Столько лишних народов, испорченных рас, а ведь это и языки. Это тоже наши трофеи. Но никем не замечаемые. Предполагалось, что это ненужный хлам, лишнее, подлежащее забвению. А ведь это чудесные скальпы для победителя! А что, неожиданный поворот мысли. Шутка истории. Никто не задумывался, как все-таки будут общаться Высшие Люди и чем отгораживаться будет каста господ от тех, кто внизу. Как будут общаться различные касты, которые мы создадим? Идеально было бы — каждой выделить свой язык. Кроме служебного — пусть себе и немецкого. Без этого не возникнет ощущение избранности. Посвященности и недоступности. Высоты. Тибета. Не придумывать же специальный язык, еще один, новый эсперанто. Противно, труп! Нет, получить язык с еще теплой плотью, кровью! Кто сказал, что это противоречит нашей идее? Мы же не отказываемся даже от французских картин — явного декаданса, от старинных книг — даже христианских! Рейхсмаршал Геринг тем только и занят, что все тащит в свои дворцы. Кому картины подавай, кому шахту, поместья, но никто не увидел величайший трофей — язык врага! А что, забрать на самый верх язык греков, например, или албанцев. Или еще более древнее что-нибудь. Даже Ганнибал, Александр не замечали такой трофей. А они знали права победителя.

А что, если французский или даже английский! С английским поработать пришлось бы! И не самое трудное их чахоточный остров. Что остров: закрыть для посещения на годик-два, предварительно запустив туда все эти батальоны, что сейчас практикуются на Востоке. Бах-Зелевский докладывал, что у них там, особенно в Белоруссии, много поучительного, достойного внимания... Так вот, закрыть остров, а потом распахнуть: заходите, смотрите! Что такое, куда девались эти англичане? Был такой народ, говорите? Хорошенько ищите, хорошенько! Что-нибудь да осталось, если был...

Дорого вам обойдется ваше островное высокомерие, ваша несговорчивость, всегдашняя готовность влезть в германские континентальные дела! Но существует еще этот монстр, чудовище искусственное, что нависает из-за океана. Созданное все теми же старательными, неосмотрительными немцами. Будет справедливо, если американский континент заговорит только по-немецки. Останется на нем лишь то, что на немецком будет разговаривать. Но сложность даже не в этом, а в англоязычных тварях — азиатских, африканских, австралийских — их столько по всему миру! Попробуй

сними английский скальп со всех этих голов — белых, желтых, черных! Но чем труднее задача, тем больше она зажигает. Сделать так — за 10, 20, пусть 30 лет, — чтобы английский, когда-то «мировой», стал служить четыремстам или только сорока человекам! Цель, обратная той, которую ставили высокомерные островитяне. И ничего не скажешь. Твердо, умело шли к ней четыреста лет, принуждая все новые континенты говорить по-английски. А тут наоборот: убрать с планеты миллиард, который смеет понимать язык господ. Фантастическая цель, под стать богам, да и то разве что дохристианским!

А для тех, кому позволим существовать на «планете», общим будет немецкий. Он и будет языком приказывающим. Он словно специально для этого создан. Не случайно укротители пользуются именно немецким — в цирках и зверинцах всех стран. Да, да, по-немецки вежлив лишь обман! Кто это сказал?.. Но из немецкого следует убрать лишние эмоции. Сколько в нем наследили все эти плакальщики-гуманисты, многие века эксплуатировавшие низменные чувства жалости, сострадания! И чему надо помешать обязательно, так это немецкой привычке к регламентации. Мои немцы захотят все добросовестно перестроить на свой, на немецкий лад. Как будто мы затем пришли, чтобы украинца заставить мыть тротуар перед жилищем. Пусть доживают, что им осталось, в своей исторической грязи, не наше дело поднимать культуру, учить, лечить туземцев. Немецкий порядок, но совсем в другом понимании, смысле. Каждое немецкое слово будет звучать как сигнал, и они должны бросаться со всех ног и выполнять приказ! Прежде всего — дороги. И все их образование — дорожные знаки. Хотя и это не нужно. А может быть, вообще — язык жестов. И этого для них много! Им не ездить по дорогам, которые они будут мостить, их повезут. Каждое поселение, каждая улица в доживающих свой век неарийских городах должны существовать замкнуто. Ни вчерашнего, ни завтрашнего для них не существует, только то, что есть сейчас. А есть только это: высится столб в центре каждого изолированного региона, а на нем репродуктор, а из него звучат приказывающие немецкие слова. А в остальное время — музыка. Сколько угодно, как можно больше музыки. Пусть вымывает, уносит из их памяти все прошлое. Никакой истории, ничего о прошлом, о будущем. Пока к зарастающим лесами городам и в поселения не придут машины и не увезут всех на восток — по бетонным дорогам. Сейчас там ни хороших дорог, ни нужного спокойствия, но порядок налаживается. Изобретательные командиры неплохо используют деревянные здания с соломенными крышами. У славян даже церкви покрыты соломой. Что-то языческое, крематории

одноразового употребления. Но чем дальше мы продвинемся в Европу, в собственно Европу, тем сложнее, труднее будет без хорошо налаженной системы и технологии. У западных славян дома из кирпича, камня. Не говоря уже о латинских народах. Любопытно все это выглядит: продвигаясь на Восток, мы одновременно начинаем двигаться с Востока на Запад — в осуществлении наших расовых целей…

* * *

15 июня 1942 года каратели штурмбанфюрера СС Оскара Пауля Дирлевангера убили и сожгли жителей белорусской деревни Борки Кировского района Могилевской области. Кроме этой деревни спецбатальон Дирлевангера (один из многих, действовавших на территории Белоруссии) уничтожил еще около двухсот деревень — более ста двадцати тысяч человек. В числе этих деревень и Хатынь.

Ю.В.Покровский *(заместитель главного обвинителя на Нюрнбергском процессе): Известно ли вам что-либо о существовании особой бригады, которая была сформирована из контрабандистов, воров и выпущенных на свободу преступников?*

Бах-Зелевский *(бывший начальник штаба всех боевых подразделений по борьбе с партизанами при рейхсфюрере СС): В конце 1941 — начале 1942 гг. для борьбы с партизанами в тыловой группе «Центр» был выделен батальон под командованием Дирлевангера. Эта бригада Дирлевангера состояла в основном из преступников, которые имели судимости, официально из так называемых воров, но при этом они были настоящими уголовными преступниками, которых осудили за воровство со взломом, убийства и т д.*

Ю.В.Покровский: *Чем вы объясните, что немецкое командование тыла с такой готовностью увеличивало количество своих частей за счет преступников?*

Бах-Зелевский: *По моему мнению, здесь имеется открытая связь с речью Генриха Гиммлера в Вевельсбурге в начале 1941 года, перед русской кампанией, где он говорил о том, что целью русской кампании является: расстреливать каждого десятого из славянского населения, чтобы сократить их количество на 30 миллионов. Для опыта и были созданы такие низкопробные части, которые фактически были предназначены для реализации этого замысла.*

* * *

Особая команда, «штурмбригада», доктора Оскара Дирлевангера состояла из трех немецких рот (кроме немцев — австрийские,

словацкие, латышские, мадьярские фашисты, французы из вишийского 638 полка), из «роты Барчке» (Август Барчке — фольксдойч, начальник кличевской районной полиции) и «роты Мельниченко» (Иван Мельниченко — бандеровец) — католики, лютеране, православные, атеисты, магометане…

Деревня Борки состояла из семи поселков — более 1800 жителей…

* * *

Из показаний бывшего карателя-дирлевангеровца Грабовского Феодосия Филипповича, уроженца деревни Грабовка Винницкой области:

«На эту операцию мы выезжали из Чичевич на автомашинах и мотоциклах. Помню, уже не весна, уже картошка цвела… Перед выездом Барчик (так полицаи упростили немецкую фамилию Барчке. — А.А.) сказал, что поедем в деревню Борки на помощь немцам, так как их в районе этой деревни обстреляли партизаны. Примерно в трех километрах от деревни Борки на шоссейной дороге Могилев — Бобруйск автомашины и мотоциклы остановились. По команде Барчика взвод Солдатенки Анатолия и Добрынина Дмитрия, а также часть немцев и украинцев разгрузились. Тот же Барчик сказал, что эти взводы совместно с группой немцев и украинцев должны оцепить центральную деревню и прилегающие к ней поселки с восточной и северной стороны. Остальные наши взводы, а также силы немцев и часть роты Мельниченко поехали дальше по шоссейной дороге…»

ПОСЕЛОК ПЕРВЫЙ

* * *

Ну, сачки, ну, работнички! Учат вас, да никак не научат. Шефа, штурмбанфюрера Доливана на вас, чтобы душа вон! Покуривают, скалятся, аж тут из-за сарая слышно. А я тут возле пустой хаты, як хрен на вяселли. Зато в деревне немцы и бандеровцы — те свое дело знают! Из погребов сальце удят, шмутки бомбят. Бегают по дворам, как подсмаленные…

* * *

Тупига пошарил в отвисших, как пустое вымя, карманах желтой мадьярской шинели. Полы шинели у него подняты, засунуты за ремень. По-июньски жарко, но шинели он не снимает. Оттого что

голова все время принаклонена к плечу, а жилистая шея изогнута, такое впечатление, что человек постоянно прислушивается: левым ухом к земле, правым — к небу.

Пошарил в накладных карманах зеленого френча с белыми, крест-накрест, игрушечными винтовками и гранатами на черных эсэсовских петлицах. Вспомнил, догадался и обрадованно ляпнул по ноге: о, есть! Добыл из брючного кармана кусок галетины, осторожно забрал ее, как лошадь, большими губами и принялся сосать. Наклонился и поднял на руки раскоряку-пулемет, который до этого скучал у его ног. Сказал, хрустя ртом: «Иди, ладно». И снова пожаловался: «А нам стой тут, як хрен на вяселли». Наклонил голову и сунул, как в хомут, под замасленный, грязно-зеленый ремень, и раскоряка-пулемет уютно пристроился у него поперек груди. Тупига поправил тяжелое железо, чтобы обоим было удобно.

* * *

Где эта паскуда, этот Доброскок? Дал бог второго номера! Диски бросил в песок, шинель бросил. Тоже за сарай спрятался: можно подумать, без него там не обойдутся. Ха, идет, ну, ну, иди, я тебе сейчас выдам, скажу пару тепленьких! Шагает коротконогий, как пишет, — колхозничек, сачок паршивый. Недомерок вонючий, загнали ноги в задницу, а вытащить забыли. Но и этот туда же: хлебом его не корми — пусти в курятник, теток попугать-пощупать, когда они ни живы ни мертвы от страха. На пару с Кацо промышляют. Всегда с оцарапанными носами, рожами — тхоры[1] вонючие. Нет, на месте Доливана научил бы я вас работать. Ползет, еле ноги переставляет. А я для вас — карауль пустую хату. Там одна баба осталась. Ну точно, одна во всех окнах! Бегает от окна к окну, летает по хате, ждет не дождется. Идет, идет твой милок, не бойся, что забыли. Хоть через полчаса, но вспомнили, идет и по тебя. Дурной все-таки народ эти бабы! И правда, как курятник. Их бить, убивать гонят, тащат, а они хлеб, миски, платки волокут — чуть не подушки. Верят, что их увозить будут. Как же, в Германию, ждут вас там — не дождутся! Вон сколько фуфаек и кусков хлеба, тряпья всякого по полю валяется, по картошке. А выбрать, взять нечего. Один платок только и поднял, в цветах весь — подарок стерве могилевской, пусть покрасуется. Да еще спички отнял. Зажала в руке и несет. Куда ты несешь, спросить бы тебя? Наверно, как утром взяли ее от печки, так

[1] Хорьки *(бел.)*.

и не разжала руки. «Дай прикурить, тетка!» — а она не понимает. Умрешь от всех вас! Но откуда у них спички? Немцы же не привозят. Во, борисовская фабрика. Распотрошили магазин в сорок первом. А может, и правда из Москвы им все присылают. Говорят же, что в деревне этой бандит на бандите. Был я, был в вашем Борисове! Спасибо, побывал везде. Только дома сто лет не был. Да и где он, тот дом?

— Ну что идешь, как спишь? Диски твои где? Что «ладно», было бы ладно, я б тебе не говорил. Как врежут зараз из того леска бандиты, сразу забегаете. Вот тогда и правда жарко станет.

— Да ладно тебе, Янка.

— Евдокимович...

— Дай лучше закурить, Евдокимович. Слюна как резина. Курнуть дай.

— А штаны не тяжелые?

— Две ямы загрузили. С верхом.

— А эту что, на развод оставили? Или вы с Кацо для себя припрятали? Доливан вам протрет глаза, если не видите. Может, и еще десять их там — под печкой, под полом. Что, Тупига за вас будет выволакивать? Не рассчитывайте!

— Загорится дом — сами выползут. Нам что, больше чем кому надо? Верно я, Иван Евдокимович? Дай курнуть.

Доброскок, низкорослый, с красным, как у новорожденного, сморщенным личиком, все переступает короткими ногами в тяжелых сапогах, все сплевывает сухим ртом. За каждым словом сухой плевок. Глаза воспаленные, страдающие. И хитрые. Он боязливо посматривает на окно, где белеет лицо женщины, и с затаенной какой-то мыслью приплясывает возле нависающего Тупиги, а тот смотрит на него с насмешливым наклоном головы, как курица на ползущего червяка. Вот-вот клюнет. А Доброскок тянет, тянет — слова, время...

* * *

— В эти самые Борки хлопцы наши до войны прибегали, бегали, говорю. Во куда, знацца, к девкам они бегали!

— А тебя не брали, сморчка?

— Все говорили: Борки, пойдем в Борки...

— Не брали бздуна!

— Мне и своих хватало. Знацца, это сюда бегали. Во какая деревня большая. И там дым, и там.

— Кому тут приходилось бегать, так это голове колхоза. Собери

вас попробуй, сачков! Таких вот работничков. Ну, что топчешься? Забирай ее и кто еще есть и веди. Пока ты баб щупаешь, бандеровцы все сундуки да погреба обшарили.

* * *

Тупига вдруг начал судорожно хвататься за бока, за живот, за грудь — все карманы обстучал. И замер сладко, как кролик, добравшийся до крольчихи: кажется, пискнет умирающе и глаза закатит. С отрешенным, вовнутрь повернутым взглядом, Тупига застыл, как бы прислушиваясь. Голову совсем на плечо свалил. Кадык, как поршень, протолкнул слюну, и раз, и второй. Есть! Нашел! (Кажется, что кто-то все время подкладывает в карманы ему сладкие сюрпризы.) Достал смятую пачку сигарет, заглянул в нее. «Одна!» — сказал обрадованно и выхватил сигарету желтыми зубами. Пачку, однако, не выбросил, а сунул в карман.

И пошел огородами к деревне, где все бегают со двора во двор солдаты в черном и голубом. Оглянулся и сердито показал своему второму номеру на сумку с пулеметными дисками. И на окно, испуганно белеющее. Доброскок тронул, как бы проверил, при нем ли, немецкую пилотку с «адамовой головой» — костями и черепом, поправил на плече слишком длинную для него французскую винтовку, даже одернул черный мундир и пошел к дому. В окне все белеет ужасом и ожиданием женское лицо. Громко, как бы знак подавая, ударил каблуками по грязному крыльцу.

* * *

Идет за мной! Это по нашу душу, детки, идет. Погонит туда, за сарай. За тот страшный угол, куда все ушли. Наша очередь, наша, детки мои! Так кричали, так плакали, а теперь тихо. Нас ждут за тем страшным углом. Смертонька наша идет. Сынок мой необцелованный! Или доченька?! Вы даже не заплакали ни разу. Не услышала, не увидела и не знаю, кто ты — сынок, дочурка? Не надо, не стучи ножками по сердцу — я здесь, я с вами, а он еще, может, и пожалеет нас. Он все отталкивал, отпихивал меня в угол, к стенке, загораживал от других немцев, когда нас была полная хата, — тащили, хватали за руки, за одежду, били, кричали, и стоял такой вой. Он глянул, узнал, я видела, что узнал, и все спиной меня отпихивал. Не пугайтесь, не полохайтесь, сынок, доченька. И что ж нам одним делать тут, когда никого нет, никого-никого на свете?! Вы и не услышите. Больно будет мне, страшно мне — как хорошо, что вас еще нет! И вы их не увидите…

* * *

— Так это ты, знацца? Ну так добрый день, племянница! Ты это, знацца, а я увидел и думаю. Узнал сразу, хотя ты во какая! Что ж твой мужик, учитель твой, с брюхом тебя да по такому времени оставил? В армии? Или тоже в банде? Ну, чего ты все в окно да в окно? Обязательно чтобы видели тебя! Не забудут, не бойся. И что мне теперь с тобой делать? Кого я вместо тебя поведу? Есть тут кто еще, зашился, может? Под печкой, может? Эй, ты там, вылазь, гранату сейчас кину, по-доброму говорю! Ну вот видишь, нету никого. А меня послали, думают, что еще остались. А тут одна ты. Ну, что глядишь? Не признала? Габруся сынов помнишь? Доброскоки мы. Не помнишь, малая была, когда приезжала к нам из города с мамашей. А теперь чего прибежала из города сюда? К бандитам! Сидели бы, где сидели, или у вас там жевать нечего? У нас дома карточка висит — твоя и твоего учителя, мужика твоего. Он где? Да ты не бойся, свой я, Габрусевых помнишь? Еще мой брат Федор был. Пропал, как пошел в военкомат, так и не вернулся. Даже и не звали в тот военкомат, сам побежал... |

* * *

Еще бы я его не узнала! Как две капли, только Федор высокий был. А лицо такое же: все морщится, как плачет. Смешными мне казались оба, смотреть не могла. Брат его приезжал еще со стариком в Бобруйск, куда-то учиться устраивался. Но тот добрым казался, смеяться хотелось. Увидела этого — сразу про них подумала. Еще когда гнали нас от деревни через поле сюда, к этой, хате. Кто-то фамилию Доброскока выкрикнул — нашу фамилию, какой-то полицейский, и я тут же услышала. Хотя от криков, ругани, «ферфлюхтеров», от воя детского и мыслей, куда нас и что с нами, — ничего не соображала, ничего не слышала...

* * *

— Знацца, и ты в Борки попала? И я тоже в первый раз. Все говорили: Борки, Борки! Девок отсюда наши брали замуж. Беда с вами: тут такое делается, а она рожать надумала! А может, ты с мужиком сюда прибежала? В банду захотел! Не сидится им, а теперь бабам и детям за них отдувайся. Надо им эти партизаны! Сидели бы как люди!.. Ну что мне с тобой делать, говори? Ну что? Где я тебя в этой конторе спрячу? Все сгорит. А я кого-то должен привести, послали за тобой. И Тупига видел...

* * *

О чем он, чего он от нас хочет, господи? И кто это так плачет, почему я здесь, неужели правда, что это я, что я здесь, плачу, кричу, и все это происходит, господи?..

* * *

— Разозлили немцев, а отвечать нам с тобой! Ну вот сама скажи: что я могу? Живая сгоришь, если бы и осталась. Думал, что как-нибудь, племянница все же. Но что ты тут придумаешь? Во, ай-яй-яй! Тупига вертается, назад идет! Ну, пропали! И еще не один, с кем это он идет? Сиротка! Его тут не хватало! Звини, хотел, а тут видишь... («Эй, тхор блудливый, ты все здесь?») Видишь, кличет Тупига! Ды иди уже, чего тут. Слышь, баба, добром вас просят!..

* * *

... Я плачу, я кричу, вою, рву на себе волосы, мне не хочется свет белый видеть — жить не хочется. Мне только страшно идти по полю этому, среди разбросанных платков, галош, детских курточек и видеть впереди тот сарай, угол, за который все шли и где такая жуткая тишина. Каждый, подходя к углу, обязательно останавливался: детки бросались в сторону, их ловили, хватали, тащили туда, за угол... Какое счастье, что мои не видят, ничего не увидят. Мы тоже оставим на этом поле платок. Оставим. Гриша придет из лесу — он обещал прийти, когда я рожу, забрать нас от тетки Маланки — придет и заберет платок и будет знать, где мы. Будет знать где. Видите, детки, нас не бьют, не толкают. Вот он даже платок мой поднял, догнал, подает мне. Потому что он дядька наш. Ваш дедушка. А за ним еще двое идут: гогочут, им так весело, так весело. Только минуть угол. И ничего не думать, ничего не думать... За страшным, тихим сараем — голоса, смех! Вот они: в черном, в зеленом, голубом стоят среди поля и под стеной — смотрят на меня, замолчали и ждут. Я что-то должна сделать, они ждут. Я должна умереть. Но где все люди, куда они их девали?.. Больно толкают — в плечо, в спину. К нему подталкивают, вот он — тот, кто ждал, дожидался за углом! Все на него смотрят, на нас — на него и на меня, — и ждут. Он глаз не поднял, не видит меня, но он уже зол на меня больше всех, уже ненавидит. За то, что меня надо убить, за это он так ненавидит? Рука с наганом опущена к ноге, а сам он по пояс голый, подвязался, как фартуком, рубахой. На жирной груди мокро от волос, никогда не видела, чтобы столько волос было на человеке. Руки аж черные, нет,

это рукавицы у него шоферские, по локоть длинные… Стоит над ямой. Только не смотреть на яму, не смотреть туда! Картофельная ботва затоптана и полита чем-то, как смолой, песок слипшийся… И на ноги налипает, меж пальцев. Я не обула ничего на ноги, собралась в Германию, а ничего не обула. Я же босая!.. А они смеются все громче, выкрикивают и смеются: «Гляди, уже с брюхом!.. Вот что значит Доброскока послали. И Кацо не докажет!.. Смелее, смелее, тетка, у Кацо это еще лучше получается!» А яма молчит. И все открывается, все ближе, шире открывается. В поясницу больно уперлась винтовка, они меня вперед подталкивают, а Голый, Черный все отступает, не поднимая руки с синим наганом, отходит к яме… Только не смотреть. В яму не смотреть. Такое что-то кислое из нее! Мне же нельзя пугаться, мне нельзя! Деткам повредит, пошкодит. Нет, я отвернусь, я не хочу смотреть. Дядька, что ты, что же это ты робишь с нами!.. Какое у него плачуще-сморщенное личико, как дико оно похоже на детское! Испуганно заслонилось локтями, руками, вскинувшими винтовку…

* * *

… Доброскок выстрелил в повернувшуюся к нему женщину. Выстрела она не услышала. Сделала шаг, второй, третий назад и опрокинулась навзничь на убитых — в яму. Тупига подошел к яме, и ему показалось, что рука женщины еще захватила и потянула на колени подол платья.

Женщина спала..

* * *

Свидетельства жителей «огненных деревень» — Красница, Борки, Збышин, Великая Воля:

«Во ржи они не искали. Из хаты в хату ходили. Може, ближе где искали, а нас — никто. Только было такое тяжелое, страх — и спать хотелось… Знаете, на нас ветер шел, этот дым, понимаете, такое мятное, люди же горели, запах тяжелый был. И спать хотелось…»

«Рассказывать вам, как это все начиналось? Ну вот, я жала на селище. Ячмень жала, а рожь стояла, и там перебили двенадцать душ. А как стали они людей тех бить, я во так легла ничком и заснула. Я не слышала, как их били, не слышала ани писка того, ани крика. А потом, когда встала я — ого! — уже моя хата упала, уже и соседские. Все трещит, и свиньи пищат, и вся скотина ревет. Так я поднялась и стою, а соседка идет и говорит:

— Чего ты тут стоишь? У нас же всех побили.»

«А тут приезжает на лошади полицейский, который добивал. Видит, что живой — добивает. Он ко мне подъехал, а я глаза приоткрыла и тихонько смотрю на него. А дети не шевелятся, спят. Уснули».

«Я попал тогда как раз в другую группу, двадцать четвертым. Я только помню, что до того момента был при памяти, пока скомандовали ложиться. Упал я — уже выстрелов не слышал, как по нас стреляли. Может, и уснул. Что-то получилось».

* * *

Так это правда? Правда, что я здесь и мне это не снится? Но почему я должна не здесь быть, а где-то еще: и мама, и отец со мной, они меня любят, и нам хорошо вместе. Голоса у них добрые, утренние, когда ничего еще не случилось за день, никто никого не расстроил, не обидел. Это вечером отец бывает сердитый, уставший от ругани со своими строителями, и тогда мама с ним разговаривает вполголоса, очень спокойно, но все равно не так, как утром. Почему я думала (я помню, что думала, считала!), будто мама моя умерла? Вот же она, со мной, с нами, и все мы вместе! Да, война, где-то война, и там нет мамы, отца тоже нет, я там одна, а здесь, сейчас мы вместе, все втроем, и они такие молодые и похожие на самих себя — отец и мама. Особенно мама. И наша общая спальня: процеженный сквозь белые шторы свет, ярко-красный шелк в вырезе пододеяльника, отец позвал: «Малышка!» — и я соскользнула со своей кроватки на холодный, как стекло, крашеный пол, меня встретили его руки и втащили на «взрослую» кровать, мягкую и пахнущую табаком. Я нырнула носом, лицом в скользко холодноватый красный шелк и стала шиться под белый пододеяльник, а папина рука ищет меня там, щекочет, мама нас утихомиривает: «Как маленькие!» Папины руки оторвали меня от одеяла–«земли», высоко подняли, держат, и я больно ощущаю под его пальцами, какие у меня еще детские, тонкие ребрышки. Щекотно и почему-то стыдно, но от этого еще радостнее. Мама смеется вместе с нами, но она тотчас почувствовала мой стыд и отнимает у папы меня, стаскивает с «неба» на одеяло. Пахнущие кремом, ночью и еще чем-то красивые руки ее не могут справиться с папиными, и у нас столько смеха, возни, рук, ног! Папа опустил меня лицом, ртом, губами на жесткую, колючую грудь. И тут же перекатил, как котенка, к маме: «Вот твое молочное хозяйство!» Мама пугается, сердится: «С ума сошел!» Стыдит меня: «А ты, большуха!» Но я все равно прижалась, как притянуло меня, жадно-жадно к ней прильнула

и так близко услышала тихое постукивание. Тихое, потом громче, громче, уже весь мир заполняют гулкие удары — я снова там, у себя, под необъятным куполом маминого сердца!..

* * *

Уют и тревога, полет и цепкая устойчивость... Что-то уже радовало его, мальчик улыбался, слыша гулкие, ровные удары, он морщился, сжимался, когда высокий купол куда-то уносился, унося и его, а удары делались оглушительными и частыми-частыми. Из материнской плоти в него заходила кровь, принося сны. Все поколения когда-либо живших людей и умерших давно существ пытались пробиться в его сны, теснились в маленьком мозгу, в каждой клетке его тельца, снова пытались вернуться туда, откуда унесла их и все дальше уносит смерть. Сны он не видел, он их ощущал: как чье-то доброе или злое присутствие. Доброе сливалось с ровными и вечными ударами, злое копилось, когда удары делались оглушительными, тревожно-частыми. С каждым ударом вспыхивала, открывалась из конца в конец вселенная, звук этот уносил купол вверх, держал и не позволял куполу опуститься, упасть и все увлечь за собой...

Шестимесячный под живым сердцем матери лежал вместе с нею на трупах.

На ручных швейцарских часах немца Лянге было 11 часов 31 минута по берлинскому времени.

* * *

... Мама отталкивает меня от груди стыдливо, даже сердито, отец хохочет, опять поднял на вытянутых руках, и я вижу что-то черное там, где наше большое зеркало. Длинная, как мамино новое платье, черная тряпка висит на зеркале. Господи, нет, это неправда, что мама умерла! Папа поднимает меня, чтобы я могла ее видеть, а я не смотрю на лицо, а только на платочек в желтых пальцах, нежный, как светящийся мотылек. Потому что если увижу ее лицо, — это будет правда. Господи!.. Какие-то женщины внизу шепотом подсказывают мне: «Поплачь, тебе надо плакать, тебе надо...» Я отвожу глаза на зеркало, на черную тряпку и нарочно вспоминаю, как мы ходили фотографироваться, все втроем, а ***он*** спрятался под черное, тот, к кому мы пришли... Упадет черная тряпка, и я все увижу. Все!.. «Ты не бойся, ты поплачь, тебе надо плакать...»

* * *

Прошло три минуты после выстрела Доброскока: Тупига как раз посмотрел на свои «кировские», было уже 11.34 по берлинскому времени. Именно здесь женщина открыла глаза, лишь на миг, и увидела, унесла в себя, в спасительный сон и это: чьи-то огромные, в сапогах ноги над ней и уходящие в небо, наклонившиеся, будто падающие, нечеловечески большие фигуры. Слух ее зачерпнул и звук — воющий, далекий…

* * *

И каратели услышали многоголосый вой в соседнем поселке и теперь говорили об этом.

— Во когда мельниченковцы проснулись.

— Нет, там первая немецкая.

— Когда будэт им конэц?! — сердито сказал, глядя в яму, голый по пояс каратель с черными, в шоферских рукавицах, руками, вытирая волосатый живот и под мышками сначала одним, потом другим рукавом грязной рубахи, которой он опоясан, как фартуком. Стащил и подальше от ямы, к стене бросил рукавицу, принялся стаскивать вторую, а она, длинная, тесная, не слазит с потной руки, щедро покрытой шерстью. Морщится, как от боли, и смотрит на Тупигу, который в шинели стоит рядом и, склонив набок голову, жует травинку. Черные глаза все напирают на Тупигу, все больше круглеют, а тот вроде и не замечает, что вид его кому-то неприятен.

— Пачэму не сымешь? Пачэму? Кто тебя заставляет? Кто, спрашиваю? Я тебя заставляю?

Голый, потный каратель все больше свирепеет, будто его самого пеленают в пыльное сукно Тупиговой шинели.

— Кто укусил вашего Кацо? — поинтересовался Тупига.

— Шинэл, пачэму шинэл! — страдающе выкрикивал Голый. — Пачэму не сбросил?

— Вы бы все побросали, — презрительно сказал Тупига и ткнул стволом пулемета в сторону ямы: — Во, они у вас ползают. Работнички!

И другие подошли, стали смотреть. Подсказали:

— Проведи разок. Распишись, как в день получки.

Нехотя, с ленцой, движением мастера, которого призвали исправить чужую мазню, халтуру, передвинул на груди «дегтяря», взвел клацнувший затвор и стал боком к яме. Даже голову от плеча поднял, держит почти прямо. Резко передернул ремень пулемета так, чтобы ствол смотрел вниз, и сразу ударила очередь. Длинная и дымная. Как бы сопротивляясь, упрямясь, но влекомый тугой

пружиной, Тупига медленно поворачивался, разворачивался на краю большой, оставшейся от картофеля, заполненной людьми ямы. И пошел по краю, ноги его, сапоги рвали окровавленные и похожие на внутренности стебли картофеля, ступали осторожно, чтобы Тупиге не поскользнуться и не сбиться с плавного рабочего хода. Эхо, забивая паузы меж очередями, понеслось через поле, ударилось о зелено-белый березняк, бросилось в противоположную сторону — о дома поселка стало биться. (А оттуда уже выползает мирное, как на пастбище, стадо коров.)

Тупига тянул очередь, как опытный портной шов, — твердо и плавно, внимательно вслушиваясь в работу машины. Следил, замечал, как испуганно вздрагивают и, кажется, ойкают мертвые, словно оживающие от его работы... Сначала у стенки ямы, по краю прошелся, подчистил (правда, кое-где неаккуратно задевая, сбивая черный и желтый песок), затем круг поменьше взял, оставляя самый центр ямы напоследок, — где, поджавшись и все равно бесстыже, на спине лежит та самая, которую привел Доброскок. (Было это на самом деле или только показалось Тупиге, что руки ее еще потянулись к подолу, когда она свалилась туда?)

У меня ползать не будут. Не будут! Не будут!.. Ишь, комсомолочка бесстыжая, развалилась, как дома. С затяжечкой надо, с затяжечкой, а точку поставить на ней... На-а-не-е-ей!.. Сейчас, сейчас — угадать, чтобы не раньше и не позже, последние пяток патронов, пуль — туда, в самый центр, на-а-а-не-е-ей!..

Уже подвел гремящую очередь к лежащей в середке женщине, уже взорвалась кроваво голова старика, который распластался у нее под спиной, уже почти доста-а-ал...

И тут пулемет пусто смолк, будто и не стрелял. Лишь вонь пороховая перед лицом.

— Где диски, свинья? Тебя спрашиваю! — Тупига слюной брызгал в лицо Доброскоку, а тот только моргал и не понимал.

— И правда — диски! — наконец вспомнил Доброскок и, повернувшись, посеменил, исчез за углом.

Тупига как можно спокойнее отошел от ямы и сказал, чтобы все слышали:

— Работа! Учитесь, сачки!

— Эй, Тупига! — вдруг заорал молодой и весь в ремнях полицай (это с ним Тупига вернулся из деревни, с ним шел за Доброскоком и женщиной). — Давай пошли! А то Барчик свернет шею тебе на другую сторону. Фэрштейн? И мне, посыльному, заодно.

— Заткнись, Одесса дурная!

— А мне что? Сказано: найди и тащи живого или мертвого. Нужен ему зачем-то.

* * *

Вот уж на кого целого диска не пожалел бы — на ворюгу этого, крикуна! Никто фамилии его не помнит, зато клички аж две: «Одесса» и «Сиротка». Противный голосок, скулящий. И наглый. И все так изобразил, что другие смеются, им хоть палец покажи, будут скалиться. А сами на месте Тупиги еще как бы заносились: его, а не кого-то другого ищет командир роты, без него не может! Да только Тупига не из таких: зовут — пойдет, но бежать не собирается. И даже радоваться во весь рот.

Идти надо, раз кличет гауптшарфюрер. Но тут есть свой начальник — Лянге, и хоть он всего лишь шарфюрер, но настоящий, германский немец, а не такой недоделанный, как Барчик. Стоят у стенки сарая оба шарфюрера, два командира одного взвода и тихо беседуют — не лезть же к ним! Лянге по-русски ни бельмеса, но Сечкарь-то, русский командир и шарфюрер, слышал, что говорил Сиротка, и, значит, должен объяснить немцу. Он для этого — а для чего же еще? — и состоит при Лянге. Помогает немцу командовать «русским взводом». И еще семеро немцев — «майстэры» во взводе, для того, чтобы Лянге не скучал, чтобы не один был среди чужестранцев. Прежде их было только трое — немцев во взводе, теперь добавили, стало по семь, по десять в каждом ненемецком взводе. Это после того, как целое отделение сбежало в лес, весь караул Горбатого моста. Заскучали по Советам! Вот на кого дисков не пожалел бы!

Замухрышка этот Сечкарь никак не натешится, не нарадуется, что говорит, как настоящий немец: научился где-то студентик! Так и сечет, так и лопочет — все патриотизм свой показывает. А Лянге слушает и не слышит, смотрит и не видит: он все ушами своими занят. Просверлит ухо и посмотрит на свой палец, второе продырявит и тоже посмотрит. Не любит он близкой, громкой стрельбы, уши у него попорчены паровым молотом.

— Там живые были, ползали, — запоздало объяснил Тупига в сторону немца. Чугунный он какой-то и непонятный, этот немец. И ему разрешают иметь толстые, черные усы — ни у одного немца усов нет, разве что у высших офицеров бывают маленькие, как у фюрера. Это потому, что у него заячья губа. Одна у него радость и забота: вернется батальон в казармы, в Печерск, каждый ищет свой способ отдохнуть — кто посылку в Германию собирает, кто на месте меняет, загоняет сало и шмотки-транты на шнапс, а Лянге бежит к евреям.

Это всем известно. «Где шарфюрер Лянге?» — «Где же еще, обнюхивает жидков!» В подвале сидят, работают евреи. Классные сапожники аж из Польши — специально для штурмбанфюрера и его знакомых держат. Лянге из их конуры не вылазит. «Что он там делает?» — «А что собака с зайцем делает? Лапки ему только и достанутся, нюхает, пока можно!» Но говорят и такое, что Лянге вовсе не с молотом паровым, а с сапожницким работал — мастерская у него в Германии. Вот он и скучает, не жидков, а кожу нюхать бегает, вар, дратву. Отнимет у Боруха работу и сам начинает головку натягивать, гвоздей в рот себе натыкает и только мычит, когда Борух его нахваливает: какой мастер наш герр шарфюрер, какой мастер! Возьми, возьми его в свою бригаду, еще и стахановцем будет! Он тебе когда-нибудь покажет, какой он мастер, наш Лянге. Мирный-смирный, но это он, а не другой кто придумал и посоветовал начальству: чужестранцам давать специальные патроны, чтобы видно было, куда пуляешь. Трассирующие пули, светятся — у Лянге не посачкуешь, не схитришь! Будешь стрелять куда надо... Этот сапожник дело знает. Хотя и слушает — не слышит, и смотрит — не видит. Но что ему надо, заметит и расслышит.

— Гут! Марш, арбайтен! — махнул рукой и показал куда-то туда, где Тупигу дожидается Барчик. Ага, Сечкарь все-таки объяснил ему. Ишь, как старается по-ихнему студентик, все патриотизм свой показывает!

* * *

Вошли в жито и, прокладывая каждый свою стежку, пошли к лесу. Жито реденькое и неровное, изо всех сил старается и не может закрыть желтый песочек.

Чернозем белорусский! А и они туда же: не нравится им Германия, у которой урожаи, каких и на Украине нет. Где он там, Доброскок, где этот бульбяник? Хорошо, хоть сумку с дисками нашел, не забыл. Недобиток кличевский! Вот, наверное, семенил ножками, когда от партизан драпали барчиковцы цз своего Кличева. Наплодили сталинских бандитов бульбяники, а теперь не нравится, когда немец всех поджаривает — и правого и виноватого. Но сегодня заяц этот показал класс. Ахнул в бабу, как из пушки!

— Ловко ты — у Кацо прямо из-под носа!

— Кацо ни за что не простит ему, — с лету подхватил Сиротка. — Только волосатый нацелился, а наш Доброскок...

Опять там стреляют — возле сарая. Что они, работу Тупиги поправлять решили? За сараем всех не видно, но край ямы и немец

Лянге видны. Стоит, держа автомат у самых колен, брызгает короткими очередями. Он всегда так: даст другим поработать, но последний выстрел за ним. Подойдет и побрызгает на твою работу. Как собака на столбик. Бабку свою немецкую поучи писать в бутылочку!

Перезаряжает автомат. Что он там рассмотрел? Или та, брюхатая, на которую не хватило в диске пяти патронов, до которой не дотянул, — может, ожила, снова подол поправляет?..

* * *

— Тупига, сколько на твоих золотых? — орет Сиротка издали. Бежит впереди — собачья привычка! — Барчик мне сказал: фарфлюхтр, а к двенадцати тридцати — живого или мертвого!

— Я тебе покажу — мертвого!

На «кировских» показывало 11.50. Возле сарая больше не стреляли. Стоя над ямой, Лянге перезаряжает автомат, ладонью вгоняет новый «рожок».

Тупига свернул к ложбинке, забитой зеленым кустарником. Густой, свежий березняк, не иначе криничка там прячется. Сиротка добежал первый. И уже шарит в темной яме рукой с закатанным по локоть рукавом, ахает:

— Во, сволочь, во, холодная!

— Раков ловишь? Убери лапу, не паскудь воду!

Тупига попил с ладони и на лицо себе плеснул, провел мокрой рукой по теплому вытянутому телу пулемета, который сразу зачернел краской. Наклонился помыть голенища, сапоги. А тут что-то больно ударило в затылок и — «Бах! Бах-бах!».

Сиротка отскочил и все еще держит свой вытянутый пистолетом палец. Ноздри короткого носа — будто двустволка, глаза круглые от дурной радости. Но тут же перепугался, когда Тупига распрямился и обычно набок склоненная голова его стала прямо, высоко, как у змеи. Яростно клацнул затвор пулемета.

— Шуток не понимаешь! — взвизгнул Сиротка.

— Одесса дурная... — не сразу выговорил Тупига, и Сиротка понял, какое пронеслось мимо страшное мгновение.

Мокрыми ладонями Тупига провел по худым, темным от шерсти щекам и пошел к лесу. А сзади тащился Сиротка, скуля и ругаясь. Жаловался, грозился:

— Думает, я ему прощу! Не думай! Я тебя в Могилев[2] отправлю, я тебя полечу, если больной!..

ПОСЕЛОК ВТОРОЙ

Из показаний Багрия Мефодия Карповича, 1913 года рождения, из села Михайловка Полтавского района:

«Я вступил в карательный отряд СС из лагеря военнопленных с целью улучшить свои бытовые и материальные условия... Эта деревня Хотеново была партизанской. Мы зашли в хату, а там пятеро или больше детей. Мы вышли во двор, тогда я говорю, что расстреливать не буду, он мне тоже показал на сердце и говорит, я тоже не могу. А я его еще спросил: „А почему не будешь, а кто же будет расстреливать?“ Он мне ответил, что для расстрела позовем из следующего дома, и он за нас расстреляет...»

* * *

Из показаний Рольфа Бурхарда, зондерфюрера немецкой комендатуры города Бобруйска:

«Это было, кажется, в начале июля 1942 года. Знакомый мне по работе сотрудник СД Мюллер спросил меня, как я поживаю. Я ответил — ничего, только туговато с продуктами для посылок домой. Мюллер мне ответил, что в воскресенье, когда я буду свободен, я могу вместе с ним поехать в район и там можно будет кое-что достать.

Утром в воскресенье я пошел в СД и вместе с Мюллером поехал на легковой машине в деревню Козуличи. За нами следовало еще три грузовика, на которых были посажены эсэсовцы.

Деревня Козуличи Кировского района была оцеплена эсэсовцами, и население выгонялось из своих хат. Я вынул свой пистолет из чехла и тоже принимал участие. Все граждане были построены и, за исключением старосты и семей полицейских, выведены на окраину, там их загоняли на мельницу, а потом мельницу поджигали. Пытавшихся бежать мы, расстреливали на месте. Я видел, как эсэсовцы в горящую мельницу вталкивали или просто бросали детей и стариков.

После этого мы с Мюллером вернулись в Бобруйск. Было забрано порядочное количество продуктов. Из них я получил около двух

[2] До войны в Могилеве была известная психолечебница, именно с ней было связано выражение «отправить в Могилев».

килограммов сала и кусок свинины...»

* * *

Такие дома сгорят! Даже жалко. Неплохо устроились куркули борковские. Колхознички бульбяные! Песочек желтый, а голода не знали даже в тридцать третьем, когда другие загибались. Потому и бандиты еще на уме. Советы им в голове. Мало вам Сталина, колхозов, не натешились! Но дома можно было бы и не сжигать, если большевиков навсегда прогнали. А то, может, и сами немцы не верят, что навсегда? То они дрожат над каждой мармеладинкой, как над причастием святым, а тут на ветер и дым такое добро пускают. Ну, а бандеровцам что, они здесь в командировке, им лишь бы ухватить под полу. Вон как бегают со двора во двор. Побьют, попалят и геть в свою Западную!.. Тоже хорошие куркули!..

Ну, где эти мои придурки, куда побежали? Стоят друг друга, что Доброскок, что Сиротка — одним мешком крестили! Бегают, подлизывают за бандеровцами, которые уже в середине деревни постреливают. Не очень за ними лизнешь. Стащить бы с которого мундир да показать, сколько под ним штанов да бабьих кофт понадевано! Другой — что тебе капустныйкочан, таким и приедет в Могилев. Ага, вон и мои. Остановил их немец, лепечут что-то, объясняют, чьи и куда идут, по какому делу. Нет, не немец это, порусски окает, а немец у него за спиной жмется — с кульком грязным в руках.

— Камрад в долгу не останется, ребята. Не в службу, а в дружбу.

Чего им надо, этим друзьям? А Сиротке лишь бы поорать:

— Эй, Тупига, хочешь? Француз салом платит. Копченое. За одну только хату.

Так вот оно что! Еще один сачок сыскался — французский! Они тебе ворованное сало, а ты за них поработай. Продают и сами же платят. Доливана, шефа бы сюда, он бы вам залил сала за шкуру.

— Как жидовки бобруйские! Курицу зарезать — соседа зовет.

— Ничего ты не знаешь, Тупига. — Сиротка рад за других стараться, когда его не просят. — Для курей нож надо специальный — кошерный. А твоя машина — на любой случай. Ого, Тупига у нас мастер. Барчик и помочиться без него не может. Специалист наш Тупига! Одним диском обработает, что твое отделение не сумеет. Берись, дура, сало какое!

Вот и берись, раз в Одессе все такие грамотные.

Чудеса, да и только у этих немцев! То готовы на край света ломиться, чтобы ни один не спрятался, а тут ходит у них под носом, и

не видят. Да такого француза, с таким носом в сорок первом любая полиция остановила бы: снимай штаны! Вылитый Жмеринка этот ихний француз! Но мне что, больше, чем немцам, надо?

— Ладно, пихай свое сало сюда, раз у самих кишка тонка. Доброскок, где Доброскок?

Снова смылся и диски утащил. О гад, ну, добегаешься у меня, это точно! Я тебя достану без кошерного…

Изба большая. И сделана мастеровито, ничего не скажешь. Даже над воротами специальная крыша, наддверие, чтобы долго стояли. И окна все в резьбе. Но промашка у дядьки получилась: звезду вырезал над окнами. Думал, и ей сносу не будет. Нашлась сила покрепче. Гореть ей вместе с домом твоим. Интересно, сам он тут сейчас, работничек, или в банде прячется? Да и не разберешь у этих колхозничков. Он тебе и дома и замужем. А только Доливана не перехитришь. Он сортировать не станет, он этим и не думает заниматься, сортировать, кто и какой.

В окно смотрят, прилепились к стеклу. Еще бы, столько гостей на ихней улице! Бабы, конечно. Мужик, если и дома, в окно таращиться не будет, косит глазом сбоку, спрятавшись. С бабами все понятно, заранее знаешь, как и что будет. И это правильно, что их обычно отделяют и занимаются ими после мужиков. А когда вместе, тут жди чего угодно. Все равно что бензин да в соломе держать. Ну, что смотрите, может, узнали? Свой, свой идет, видите, даже усмехается. Вот так, и не бойтесь. А что, может, и знакомый… Не надо только лишнего изображать. Это Кацо, когда идет, — что тебе бык на ворота! Разбегайтесь кто куда! Уши закроешь от визга, плача. А зачем, если подумать? Себя показать — любой дурак умеет. Ты дело покажи. Жмуриков, когда они уже в яме или в куче, — тех ворочай как хочешь. А с живыми — раньше присмотрись, с какой стороны зайти да где стать. Не жалей слов, усмешки — не убудет тебя! Вот так: открыл калитку — закрой. Чтобы курей чужих не набежало. Хозяин к хозяевам идет. Иду, иду, не смотрите так! А сенцы не успел дядька смастерить. Снегом будет задувать. Только и успел, что столбы поставил, стропилами связал сверху, а крыши еще нет над сенцами. Ушаты, ведра по углам, жерны — хлеб молоть, хламья под ногами всякого… Ну, ну, что еще тут? И кто тут в прятки играет? О, сестричка! А где братик? Ну, ну, беги в хату, беги к мамке, нечего тут делать! Больше никого под этими трактами? А на чердаке?.. Ну нет, сам лезь, французик паршивый, я тебе не пожарник. Вот бы здорово: полез, нос туда, а его по башке — тюк! И привет вашим! А в корзине тут что скрипит, шевелится, котята? О, это ты? Совсем как ежик

свернулся. Ловко поместился в такой маленькой корзине! Беги в хату, беги за сестренкой!..

— Добрый день господарам! Что собрались, как на фэст?[3] Или сватов ждете?

Главное не молчать, если зашел к людям в хату, что попало говори, но молчать нельзя.

— Что это вы девку, хлопчика из хаты выгнали? Самые непослушные, наверно?

Ну, француз, ну, купил! Да здесь три или четыре семьи! Сбежались, сбились в одну хату все соседи, как специально. Наверно, потому, что тут мужик есть. При нем смелее. Вон сидит у окна, на табурете. В окно и не смотрит, ему не интересно. Сел, и он уже не он. Ну, француз, ну, продал хатку! На всех кроватях, на сундуке, на печи — отовсюду смотрят. Как бобов насыпано — на каждую тетку, может, пятеро пацанов, а теток тоже — одна, две, три… Не меньше семи.

— Во кому хорошо! Что ж он у вас — один? На всех один? Пятью семь — тридцать пять… Во кому выгода! Как петуху…

Неважно что, но говори, не молчи. Чтобы голос слышали — обыкновенный, не злой. Хорошо еще, что не несколько, а одна комната и большая. Даже кухонной перегородки не поставил. Это ты молодец, дядя. Есть где стать, чтобы все были на виду, под рукой. О, француз, ну, продал, ну, купил!.. Ну, что смотрите? Человека не видели? Ничего у вас не украл, а смотрите, как на злодея. Да тут глаз детских больше, чем у меня патронов. Другому и трех дисков не хватило бы.

— Хотите мармеладу? Знаете, что такое мармелад?

Я уже с ними, как немцы с нами: думают, что мы в жизни не видели этой дряни. Что правда, то правда — научились и мармелад за еду считать, с хлебом есть, как с маслом.

— Хорошая печка у вас. Что, бабка? Хорошо кости погреть? Хлебом у вас так пахнет! Готов, доставать пора, а то еще сгорит. Которая тут главная жена?

Что смотришь, дядя? Ну, и что бы ты сделал с «бобиками», если бы мог? Да только руки коротки! Вот, вот, сиди и покуривай, бандит. Смотришь. Поздно смотреть. Пахнет хлебом — вот и жили бы, как люди живут. С мякиной, домешками, с бульбочкой, но хлеб. Не жрали сухую землю, лебеду, хоть паршивый гриб, хоть ягода, а всегда у вас что-то было, есть, от этого и дурь в голове. И никак из вас не выбьют.

---

[3] Престольный праздник *(бел.)*.

Кажется, сколько уже лет, как не голоден, а все равно кружится голова, стоит зайти в хату, где хлеб пекут. Слюной можно захлебнуться. Все с тех пор, с того времени! У них тут и в тридцать третьем пекли, ну, может, бульбы побольше, желудей да коры. А там, если уж нет, то ничего нет. Пять лет густо, но уж если пусто… Кто сюда добрался, тот ожил. Думал, умом тронусь, столько нас лежало в деревнях да на вокзалах — высохших, как прошлогодние палки подсолнечника. Хитрецы, выбрали себе вроде бы незавидный край, одни болота да леса, а пожалуйста, без пшенички, зато и без голодухи. Ну что, ведьма, зыркаешь? Лежишь на своей печке, вот и лежи, грейся! Сколько там собрала, собой загородила? Целый выводок цыплячий! Похожа, до чего же на ту похожа — такая же сухая и сердитая. Рудня называлась деревня. Кругом ольха, зеленая, живая. А канавы и дороги от ржавчины, как курослепы, желтые. Рудненцы говорили, что когда-то и запорожцы тут бывали, болотное железо варили. Пожалуйста, и железо: нагнулся и бери, как гриб, как ягоду! А когда шел, когда вывалился из товарняка и брел, шатаясь от ветра, дождя, думал, что не дорога такая желтая, а в глазах от голода. Дополз до первой хаты и осел, на пороге свалился: так ударил в голову хлебный дух. Заплакал. Заплакал, суки! А вам все еще мало. Партизаны еще вам нужны, доиграетесь!..

— Хлеб у тебя не пересидит, хозяюшка?

Кто у них тут хозяйка? Ага, вот эта, в белой кофточке. На руках малое, и она не сидит, а возле своего мужика стала, так ей смелее. Дернулась идти и тут же на дядьку глянула.

— Ладно, тетка, я горячего хлеба не ем. Мне одна старуха на всю жизнь объяснила: живот спячэцца и будешь качацца, пакуда спруцянеешь! А я все живой. Выходила, спасибо ей, старуха. Вы тут молодцы, не голодали, хлебный дух не выводился.

— Усяк бывало, по-рознаму.

О, ты и говорить умеешь, дядя! Жадно сосет окурок, будто сейчас из губ у него выхватят, скоро усы затрещат, обсмалит. Надымарил — один за колхозное собрание. Сколько же тебе, дядя? Лет тридцать, хотя и замаскировался бородой, — самый бандит. А такой невиноватый, такой колхозник: ничего и никого, он только покурит, он подымит! А потом что?.. Руки дрожат, аж за колени хватается. Так бы и вцепился, так и вцепился бы! Сиди, дядя, пока не побрызгал на тебя, на горячего, вот из этой штуки. Змитер хитер, но и Тупига не дурак — слышал такое?.. Стать вот там. Пройти туда-сюда, прогуляться, а стать там. Чтобы и на кровати, и под кроватью, и на печке… Гад, француз, сколько же ты насобирал их? Глазенки,

глазенки из-за бабьих плечей да пятки черные, как у ежика…

Что, что у тебя там?.. Снова забеспокоился дядька. Цигарка, огонь в зубах, а он баночку от гуталина достал, перетирает самосад пальцами. Или гостю предложишь? Нет времени с тобой тут раскуривать!

Тебе, может, и некуда спешить, а у нас расписание, начальство ждет.

— У вас тут на стенке целый колхоз.

Под стеклом — и даже в рамке! — большущая икона родни. И все такие серьезные, таращатся, как на пулемет! Бабы, мужики — все в новых рубахах, а один, молодой, даже в шляпе.

— Говорю, родни у вас, как у буржуев!

Говори не говори — молчат и смотрят неподвижно, как с карточки. Не кричишь, не наставляешь пулемет, но эти бабы такой народ — заранее все чувствуют. Ожила вдруг хозяйка, даже зарумянилась, а глаза неподвижные.

— Ага, я сейчас, я хутенька — хлеб вам достану.

Почувствовала, что гостю уже нечего делать. Сейчас, она сейчас! Побежит и отдаст хлеб, а ты уходи от ее детей. И другие бабы на нее все посматривают, от нее чего-то ждут. Толковая, наверно, молодка. Во, какая белая да чистая рубаха на мужике. Ухоженный. Ишь, чмур, пристроился! Люди кровь проливают, а он греется возле молодицы. Надел белую рубаху, и его не трожь. С него и начать. Вот удивится. Глаза у них всегда делаются удивленные-удивленные… Следи, следи, все равно не уследишь. Черт, не то я что-то делаю, заигрался. Даже в животе нехорошо. Француз проклятый!

— Вода у вас хорошая?..

— Ага, колодцы у нас глубокие.

— Да, хорошая, холодная. Глубокие, говоришь?

Сказал ты, дядя, а что сказал, не знаешь. Глубокие — это Доливан любит, штурмбанфюрер. В любой деревне обязательно заглянет в колодец — первым делом. Не надо время терять, ямы копать…

— Много мужиков осталось в Борках?

— Да есть! У нас и полиция своя. Немного, правда, но своя.

— Сколько немного?

— Да десять или больше.

— Это на семи поселках? Отвалили, нечего сказать! А ты почему не вступил? Привыкли, чтобы кто-то за вас.

Хозяйка встрепенулась, как курица. Сейчас скажет, что он больной, хворый, неудалый, порченый…

— У него груди слабые.

Ну вот, как по писаному. И грех и смех с вами. И назлишься и повеселишься. Вот удивятся француз и его дружок, если я сейчас выйду из тихой хаты. Как вошел, так и вышел: нате вам ваше сало, сачки!

— Ну, что молчишь там, старая? Рассказывала бы им про куру-рябу. Скоро столкнут тебя с печи внуки: сколько их у тебя?

Улеглась по краю печи: это она уже загородила их, она уже их спасет!.. Наперед все знаешь, но почему-то всякий раз тянешь, затягиваешь, рассматриваешь их и им даешь себя рассмотреть. А они слушают твой голос, а сами стараются не прозевать тот момент, самый главный. Молчат, а шепот из всех углов: уходи! уходи! уходи!

На сундуке маленькая, чистенькая, беленькая, хоть в гроб клади, старуха, личико морщинистое, как у Доброскока, она все на окна смотрит, там слушает и других заставляет слушать:

— Ой, детки, стреляют! Ой, чегой-то они там? Курей стреляют?

Говорит, спрашивает, смотрит, и так ей хочется поверить, что это курей стреляют. И за тебя боится, будто ты и не полицейский с пулеметом, а тоже с ними и тебе тоже страшно. Заранее все знаешь. Заранее. И они тоже стараются не пропустить момент, когда ты перестанешь кружить перед ними и говорить, говорить... И всегда этот момент неожидан для них. Да и сам всякий раз поражаешься, как все меняется сразу, стоит нажать пальцем. Вот этим пальцем... Отгрохочет на твоих руках «дегтярь», а все уже подругому. Лежат, поджав коленки, локти или раскинувшись так, что и захочешь — не придумаешь специально, и вместе с тобой удивляются, что все-таки произошло... О, лампадка у вас, зажгли: значит, знали, что я приду! Бородатый, как колхозник, бог что-то держит в щепоти. Посоли, посоли! А я добавлю...

— Вот так: до бога высоко, Сталин далеко, а немцы тут! Видите, как получилось!

Отступить за стол, подальше, чтобы видеть всех и повыше — и тех, что за бабку на печи спрятались. Но начать с мужика.

А после вернуться и пройтись под кроватью. Хорошо — прямая линия: от дядьки по кровати, сундук, печь, назад тем же путем и — во-от где вы, голубчики! вот где мы вас нашли! ну, и много вас тут, под кроваткой?..

Всегда лучше бить от порога, но печь мешает. Всегда спокойнее, когда дверь спиной чувствуешь. Но тогда печь не твоя, придется прерывать на половине и снова начинать. А те слушают на улице, ждут: пусть услышат одну очередь, только одну: битте, принимай

работу! Это тебе не лягушек потрошить!..

— Что же вы советские иконы сняли? Спрятали отца и учителя?

— Кого?

Ишь, забыл, уже не помнит, уже не понимает!

— Царские вывесил и думаешь — немцу понравится? А того не знаете, что это — Янкель!

— Кто?

— Кто, кто! Христос ваш! Янкель, только крещеный. Но немцы на это не смотрят: крещеный не крещеный.

Если по совести, так не очень и поймешь немцевы дела с богом, с попами, с церквами. Вроде как и разрешают, даже открыли и там, и там, а сами, когда на политзанятиях выступают, кроют и бога и евреев одними словами. Все от евреев — ихние все штучки! Немецкий бог называется по-другому, Гитлер его часто в речах поминает: привидение! привидение!.. Черт их там разберет! Зато штурмбанфюрер, если увидит церковь, если где уцелела, — готов креститься на радостях. Дерево старое, сухое, краской, олифой пропитанное — горит как солома. И люди спокойнее себя ведут, легче, охотнее заходят, идут в такое здание — не то что в амбар или в школу. Надеются, что и немцы в бога верят. Верят, да не в вашего…

Все знаешь заранее. А рассчитать, как все получится, чтобы точно знать, — не всегда удается. Так и жди, что-то помешает или кто-то. Без спешки надо все рассмотреть, прикинуть, обдумать. Ни разу не было, чтобы без фокусов. Вдруг как проснутся — в окно сиганет, побежит, закричит, и тут уже не до порядка, лупишь, лишь бы осадить панику, свалить в кучу. А то и свой олух что-то не так, по-дурному сделает — взбудоражит, распугает. И тогда свету белому не рад будешь. И кровью, и соплями измажешься. Только злость лишняя. А чего, если подумать, злиться? Сами виноваты, работать не научились.

Нужен подход к людям, и все будет чин чином.

— Ну, а где эти, где мужики ваши? Что же не держите, бабки, при себе?

— Много вас удержишь! Вот тебя…

О, тут и румяная да круглая есть, не сразу и заметил. И улыбается, пробует улыбаться. Не на того ты нарвалась! Такое с Кацо может пройти или еще лучше — с моим вторым номером. Это их хлеб. Свой я сам заберу. Который в печи. «Спячэцца живот и спруцянееш…» — старушка давно сама «спруцянела», а я — вот он…

— Что я, я на виду, не прячусь, а вот ваши парти-и-заны!.. А ты, борода, что в банду не пошел? Или ты и дома и замужем?

— Мне и дома добра!

Ого, гневается уже, интересно!

— Ну, а в полицию почему? Что ж не записался?

Сказать ему нечего. Зато румяная молодка не молчит, голосок не пропал еще.

— Какая тут в Борках полиция? Смех один! Только где самогонка, там они. А как ночь, попрячутся. Придет к тебе и сидит сычом у окна, никого даже до ветру не выпускает. Это он боится, что… этих самых приведут. Ну, партизан. А кому он нужен такой?!

— И верно, сидит квашней всю ночь, когда такая молодица в хате! Я бы сам его бандитам отдал, как дурную собаку волку.

Что это я тяну сегодня, как никогда? Назло тому лягушатнику? Пусть помучится: а вдруг раздумаю брать его сало!.. Разговорился с бандитами. В полицию их уговариваю. Ишь смотрят: ничего не знаем, ничего не ведаем! Зато мы ведаем… Печка хорошо просматривается, если на сундук встать. Но их там, на этом сундуке, десяток: мокро будет и скользко. Смотрят, малым даже интересно, что этот дядька тут ходит и усмехается… А что, и правда уйди! Кому я что должен? Сало? Так я и без тебя найду, если очень захочу. Просто хотел вам показать, кто чего стоит. Только звание одно, что француз или австрияк, а как до дела доходит — сачки, ничуть не лучше моего Доброскока!

— Может, и правда хлеба хотите? Свеженький!

Она как подслушала — беленькая хозяйка, голосок зазвенел, готова уже дитя соседке передать, чтобы бежать, вынимать хлеб из печи. Но нет, еще сильнее прижала, чтобы оно не смотрело никуда, а к печи посылает другую:

— Феня, ты там ближе, достань и дай человеку. Хоть весь.

Ишь ты, беленькая, худенькая, все чувствует. Боится выводок свой, гнездо открыть. А Феню посылает проверить, как бы в разведку. Разрешу или не разрешу идти к порогу…

— Я сам возьму, не надо!

Когда-то сидел на пороге, не мог переползти, так ударил в голову хлебный дух, сидел и плакал, а старуха все возилась у темной печи, из миски брызгала водой на горячие буханки, круглые, большие, близкие и уговаривала: «Не съем же я одна, и тебе дам, только обожди, а то спячэцце живот и спруцянеешь, як тут учора один…»

— Ой, детки, что это они? — маленькая старуха так и влипла в окно, даже вазон слетел на пол и горшочек с землей разбился. — Они же людей стреляют! Они же людей!

Ну, так и знал! Какой-нибудь олух обязательно что-нибудь да

испортит. Пожалуйста, кино устроили напротив окна! Работай на дураков, а они во что вытворяют. Двое в касках, похоже, что немцы, подняли на огороде бабу с детьми, с целым выводком, и нет чтобы завести в хату или хотя бы в сарай, так они тут же их стреляют. Стоят рядышком, как на плацу, и в упор, в упор, из винтовок, прямо в кучу, и хотя бы ее первую, чтобы не кричала так…

— Ой-ой! — Не там, тут, в хате уже крик. — Что же вы это робите, что ж вы это?!

Ну, все пропало, теперь начнется! Дядька вскочил на ноги. Он услышал, как Тупигин затвор клацнул, и вдруг закричал, выкатывая глаза:

— Ну, меня стреляй! Меня! Я, может, и правда — партизан! А их, детей, за что? Кто вы, вы люди или кто вы?..

Сейчас поймешь, если спрашиваешь! Спокойно, спокойно…

Тело пулемета назад рванулось — как бы и он испугался. Дядьку отбросило, он толкнул табурет, налетел на него, упал, борется с ним, долго, слишком долго, забирая на себя очередь, которую надо бы уже поднять на кровать, тянуть через сундук, но и поднимать поздно, они уже кто где, рассыпались, к полу приникли, а дядька все дергается — теперь на всех не хватит, так и знал, что помешает что-то, не бывает никогда, чтобы без фокусов, а еще этот дурень диски утащил, вот на кого не жалко последний патрон потратить!.. Пулемет сам ушел на кровать, выворачивает руки, шеи, краской брызгает на стены, отыскал тех, что на сундуке и рядом, на полу, а стол мешает, не дает пройти, чтобы видеть всю печь, и те, что на полу, у ног, мешают, страшно отдавать им ноги, но дотянул и до печи, во-от, дотяну-у-ул, та-ак, получай и ты, ве-едь-ма, получай, посмотрим, какая из тебя броня, кого ты закроешь, спрячешь. Не о-чень спрячешь!.. Сколько в ней соку, печка враз стала красная — плывет сверху…

Грохот оборвался, а эхо ревет внутри. Булькает кругом, хлюпает, может, они и дышат, конечно, дышат те, что под кроватью да на полу, но это уже француза дело. Хлеб только забрать, а то сгорит… Горячий, сволочь, кусается! Пошли, дурачок, а то сгоришь на уголь вместе с ними!..

ПОСЕЛОК ПЕРВЫЙ. 11 ЧАСОВ 51 МИНУТА ПО БЕРЛИНСКОМУ ВРЕМЕНИ

Она открыла глаза, чтобы только не видеть мертвую маму и это черное зеркало. Солнце стояло над ямой из-под картошки, било мертвым в глаза, и она не увидела, что над ямой стоит толстый

усатый немец и перезаряжает автомат.

Возможно, ей только показалось, что она открыла глаза: слепящее солнце проникало в глаза сквозь красноту закрытых век.

* * *

... Я держу яркое кругленькое зеркальце близко к глазам, оно нагрелось на подоконнике, вижу свои красные-красные губы, запретно пахнущие маминой помадой, делаю ими «поцелуи», жадные и стыдные. Я на кухне, я стою почему-то на коленях, как бабушка по утрам перед иконой. Нет, я знаю, почему я это делаю. Потому что это стыдно. Если бы кто увидел, мне бы оставалось только умереть. А от этого мне, бесстыжей, почему-то сладко, приятно, как никогда. Было бы ужасно, если бы мама или отец вдруг заглянули сюда, за ширму, а я на коленях и с зеркалом. Пахнет коровьим пойлом, пареной картошкой — у меня перед глазами грязные ведра, большой ушат. Мы, как все на бобруйских окраинах, держим «хозяйство». Стою на коленях, губы накрашены, а я крещусь рукой, как наша бабушка, бывало, — я умерла бы, мне уже не жить, если бы сейчас меня такую увидели! Не зеркальце это, а иконка, круглая, маленькая — осталась в нашем доме от бабушки. Когда бабушка жива была, большая икона-картина висела в углу, над ее кроватью, а потом ее сняли и куда-то кому-то отдали. А вот эта кругленькая сохранилась. Бабушкиных слов я не знаю, но мои красные бесстыжие губы шепчут их, шепчут. Запретные, сладкие губы, запретные слова!.. Вот так и мама облизывает губы, когда накрасит их, собираясь с отцом в гости. Задумчиво и красиво обминает их. Отец сзади подойдет (она видит его в зеркале) и положит руку на плечо, пальцами трогает ее шею — они улыбаются так, словно никого на свете нет, даже меня, а только они. Маме неловко и хорошо — как мне сейчас. Она обязательно снимет его руку: «Не мешай, опоздаем». — «Ну и давай опоздаем!» — «Ваня, у тебя одни глупости...» Я здесь за ширмой, а они в другой комнате, но я почему-то их вижу и не удивляюсь этому. Значит, я сплю? Почему я не удивляюсь? Губы от помады чужие, огромные, и так пахнет сеном, коровьим навозом, молоком. Что я делаю, зачем я здесь?.. Сейчас войдут, и я умру от стыда! Коровьим теплом сладко пахнет, навозом, а мы с Гришей наверху, на чердаке — на сене лежим. Под нами задумчиво жует жвачку корова, одиноко и смешно вздыхает как большой пустой мех, и имя у нее смешное, с таким и купили ее — Книга. «Вы с коровой одинаково дышите», — я смеюсь, закрываю ему рот губами, чтобы успокоился, побыл спокойно минутку. Его лицо прямо над моим, нетерпеливое, просяще-детское,

такое глупое. Я крепко держу его руки, отдаю ему накрашенные губы, забираю себе его дыхание, смеюсь, а мне сладко и страшно... По солнечному лучу пулей врываются в сарай ласточки, припадают к черному, еще сырому домику, целуют его и уносятся, прочищая клювик укоряющим чириканьем: «Чем здесь лежать!..» Не закончит, бессовестная, и умчится за новой порцией грязи.

— Родненькая! Родненькая!

Он шепчет, задыхаясь, умоляя и стыдясь сказать, он боится моего счастливого смеха. Он думает, что я над ним смеюсь. А я от страха, потому что я уже знаю. Все уже было у нас. Уже было. Я тоже долго не знала, не догадывалась, и вдруг поняла: было, мы с ним как муж с женой, мы с ним живем! А нам все казалось, что будет еще что-то, я его (и себя) так мучила стыдом и страхом, мешала ему и себе, и за этим не заметили, что уже все было. Но я вдруг поняла, а он еще не знает. Как бы тоже испугался и обрадовался, если бы и он понял, что мы уже мужчина и женщина, что мы уже!.. Кислый запах любви, стыдный... Или это из-за ширмы? Нет, снизу, где корова. Из ямы... Из какой ямы? О чем я? Где я?...

Мне страшно, что кто-то под нами есть, кто-то дышит там, вздыхает... Но это же корова, я знаю, наша Книга! Но почему такое жуткое это ее дыхание? А если это сон только, и я не здесь, и Гриши нет со мной, и что-то происходит там, куда улетают ласточки? Я знаю. Я все уже знаю. Мы живем...

ПОСЕЛОК ТРЕТИЙ

Тихо здесь, как тихо! Только диски стучат под рукой у Доброскока да Сиротка все сплевывает. Жирный сладковатый дым заполз и сюда, в редкий соснячок, слюна стала противной, будто не своя, а тут еще этот все плюется. Ему все нипочем. Посвистывает и плюется, опущенные руки раскинул и почесывает свои воровские ладони о сосновые ветки. Подкидыш детдомовский — этому везде дом! Лезет каждому на голову, а сдачи получит и сразу на спину завалится и хвостом завиляет. Вот такие, без царя в голове, и перебегают к бандитам, а от них потом и остальным беда. Доливан звереет, на ком попало лютость срывает. За убежавшего двоих стреляют — может быть, и невиновных, кто под руку попадет. Только дурак может думать, что немцы вот это все делали бы, что в Борках, если бы не знали твердо, что победят, что большевики уже не вернутся. Не враги же они сами себе и не стали бы они такое делать, если бы думали, что русские тоже придут в их деревни да города. Да

и те, в лесу, разве они простят, если ты служишь в батальоне Доливана? Бегите, бегите к ним, они спросят, что в этих Борках делали и отчего дым был на всю округу такой сладкий. Ну, а Тупиге и до тех и до этих дела мало. Пусть им ихнее будет — и немцам тоже. А Тупиге и своего хватит. Для себя живет. Пока живет. Пока вот эта штука под рукой. Есть пулемет, есть и Тупига. И наган есть, пулеметчику, как и командиру, личное оружие положено. Тупигу вам не получить, пока живой. А из неживого хоть чучело набейте.

Снова жито открылось, но здесь, в низине, оно погуще. Сиротка взвизгнул и бросился вперед, как в воду, загребая руками и ногами: ему, как дурному щенку, от всего радость. Малинник в жите увидел, мелкие и густые кустики, погребся туда и уже орет:

— О, привет, хайль!

И тотчас рядом с ним встала согнутая женская фигура и уже лопочет, уже она не виновата, уже у нее дети-сироты, а мужа нема... Сколько ж тут этих сирот и все в батьковом: кто в рубахе, кто в больших сапогах, в пиджаке — одни хлопцы. Ишь спрятала новобранцев, пару годков добавить им, и пошли-потянулись друг за дружкой в лес, к бандитам. А Доливану опять забота.

— Я сам сирота! — радуется дурная Одесса и смотрит на Тупигов пулемет, на Тупигу: для тебя, мол, постарался, выковырял — работай! Еще один француз нашелся!..

— А может, Доброскока подпустить раньше, а, Тупига? Арбайтен, мужички!

И пошагал, злодюга. А Доброскок сторонкой, сторонкой — следом за ним. Чуть что, скажут: Тупига оставался последний, ему и свет гасить. Ах, вы!..

— А ну, на землю! Ну, что раскудахталась? Ниц ложись!

А те убегают и весело оглядываются, ждут, когда же загремит музыка. Смеющиеся львы!.. О таких вот, что дурака валять только и умеют, напридумывали всякие слова — в газетках да на политзанятиях. «Львы», «привидения» и еще всякое там! А как были, так и остались — сачки! Что-то в бок печет? Да, хлеб в сумке, он все еще горячий.

* * *

— Дает, во дает! — старается перекричать пулемет Сиротка. И Доброскок повернулся и смотрит на стреляющего Тупигу, но бочком стоит и смотрит, будто его и нет здесь. Широкая спина Тупиги и его наклоненная к плечу голова плавно разворачиваются, а локти вздрагивают, удерживая пулемет.

Повернулся, поправил и заботливо оглядел свою машину и

только тогда двинулся вслед за Сироткой и Доброскоком.

— Нет, пойду гляну! — сорвался назад Сиротка, но Тупига преградил ему дорогу.

— Ты это куда, лев? Ухватить что-нибудь, на готовенькое?

— А тебе какое?..

И тут — грохот! Рожь справа от Сиротки побежала, побежала, как от внезапного ветра. Сиротка влево бросился, упал, Доброскок аж присел от ужаса и удовольствия. Вскочил на ноги Сиротка, вместо лица что-то белое с дырочками для глаз, носа.

— Псих! Тупица! Доложу кому следует! Думает, все может, раз он дурак! Да за меня бы тебя, да знаешь!..

Сиротка машет кулаками, гримасничает, даже за винтовку трусливо хватается, а из глаз, из наглых вывернутых ноздренок какая-то слизь.

Тупига аж вспотел: так перепугал его Сиротка. Он мог добежать до малинника и увидел бы, что баба и весь выводок живы-здоровы. Узнали бы, что Тупига поступил как трус и размазня. Как сачок! Вроде того очкарика, что вышел из хаты и обрыгал, работничек, крыльцо. Всю дерогу потом над ним потешались. Тупига сам не знает, как и почему так получилось: весь малинник выкосил, жито вокруг, а бабу и пацанов обошел.

* * *

... Наверное, лежат в малиннике и шепчутся, глядя вслед и не веря в свое счастье. Как на бога смотрели, когда уходил. Надо уводить этих побыстрее. Все скулит злодюга, все матерится, а Доброскок весело лопочет, доволен, что попугали Сиротку. Лес впереди, не кустики, а настоящий. Слоняются какие-то из оцепа — немцы или мельниченковцы. Они, кто ж еще — «галицийцы», бандеровцы! Держатся всегда вместе, смотрят недоверчиво. А под рубахой, когда забьют которого, — у каждого крестик. Им даже бороды разрешают. Им и трезубец разрешают на немецкую пилотку и попа своего иметь. Во, на травке, под кустиками валяются, жарят-парят, про это они нигде не забывают. И у каждого свой собственный костерчик — колхоз для них хуже Янкеля. Деревенское сало подрумянивают на прутиках косцы-удальцы. Навстречу тебе смотрят, будто ты и есть тот самый, которого они еще вчера зарезали. Ну, ну, можете смотреть, сало у меня свое, прутик вот он, есть, а огонек — дар божий. Кто-кто, а вы должны это знать: без бога курицу не зарежете! Помолятся за фюрера, Великую Германию, напоследок «хайль самостийная!» выдохнут со слезой и уже ходят, как выпивоха после баньки, —

чистенькие, румяненькие. На восточника глядят как на вошь чесоточную.

— Що бегаете тут? А если б мы вас за бандитов посчитали? Да постреляли, щоб ты тогды сказал?

— Сказал бы, что дурак!

— Ну-ну! Разумники вы были, покуль немец на вас не нашелся, поумнее.

— Маловато тебя, дядя, в колхозе подержали. А жалко. Хоть бы знал, как с людьми разговаривать культурно.

— Пожалей свою...

Не удалось поругаться: зашевелились, забегали «самостийники», к дороге стягиваются — что-то там происходит. А вкусное сало украл француз! С теплым хлебом (все еще держится в сумке печной жар) вкуснятина! Что у них там, пойти посмотреть?.. Ага, вот что их подняло. Баба шпарит сюда, прямо на оцеп. Видно, из другой деревни, а может, борковская, но где-то была, увидела дым-пожар, услышала стрельбу и заспешила домой. Они такие, эти бабы! С ними бывает. Особенно если дома кого оставила. Шпарит прямо на оцепление, только вертит головой туда-сюда, стрижет ушами, а сердце давно в босых пятках — аж пылок за ней бежит, курится. Оглохла она, что ли, ослепла? Или тоже думает, что здесь курей стреляют? За плечами у бабы вещмешок военный, а в руках еще и корзина.

— А что, может, нагрузили бандиты, — поддать, поддать бандеровцам жару! — взрывчатки положили, и неси, бабка, рвани их там!..

— У вас тут всякая олешина — бандит!

— Я и говорю. Пушку бы вам, хоть небольшую!

— Що ты скалишься, як конь из-под дуги? Завернуло тебе шею, гляди, чтобы не поправили!

— Те, что поправляли, знаешь где?..

— Кто здесь гавкает, а ну нишкни!

Распоряжается трезубец мордатый, а того не видит, что один его колхозничек — во, во, снова! — спрятался за березу и машет, машет такой же, с трезубцем, пилоткой, подает бабе сигналы. Не старайся, усатый, баба и не смотрит в твою сторону, у нее голова на выстрелы да на дым завернута — на соседнем поселке теперь самый гром и страх! А тут, впереди у нее, только собаки воют, но хаты целехонькие стоят...

Пулемет из-под куста ударил гулко и длинно. Баба с мешком — в одну сторону, ее корзина — в другую... Это на одну-то бабу двадцать

патронов! Ну, ну, идите, собирайте яичницу!.. А где тот сигнальщик? Уже на пеньке сидит, вроде и не он это. Только усы те самые лапшой висят. Сидит и затвор своей винтовки изучает.

Тупига, неся голову чуть не на плече, срезал путь и вышел прямо на усатого дядьку. Спросил, показывая на поселок:

— Что там? Кончили уже? А почему собак не постреляли? Непорядок.

— У вас это швидко!

— А у вас как? Что ж ты, дедуля, куры бабе строил? А если кто видел?

Дядька аж за усы-завязки схватился рукой, что на затворе лежала. Смотрит испуганно, люто.

— Тоби що трэба, кацап? Бо я во, зараз!

Ну, у Тупиги под рукой штуковина покрепче. Прочешет — ни одна вша больше не куснет. Вот так-то лучше! Сиди и дыши в тенечке! Да, но отойдешь десять шагов, а он тебе в спину. Скажут, так и было. Им укокошить восточника, кацапа — семь грехов с души!

— Не шуми, дядя! И не бойся. Ты что думаешь, только ты человек? А я — зверь? Я и сам, если хочешь знать..

Вырвалось или нарочно сказал «я и сам», но тут же захотелось, чтобы и на самом деле кто-то думал, знал, что ты не такой, как все здесь. Хотя бы этот чмур усатый.

* * *

Поселок аккуратный, везде заборчики, скамеечки, аж два колодца — от первого виден второй. Тупига заглянул в прохладную круглую глубину: пустой, только вода в этом. Да, жили, будто немцы тебе! Правдами, неправдами, а жили. Других гвалтом стаскивали с хуторов, выселков — в одну кучу, а эти ухитрились, хоть и колхоз, жить вразброс. И к центральной усадьбе близко, но каждый поселочек за своим леском.

Ворота, калитки настежь, куры в песке гребутся, купаются, спасаются от жары, и никакого дела им, а куда все люди, хозяйки их подевались. Только собаки воют, и сколько же их тут! Каждая у своей калитки, в своем дворе: охрипли от лая, воют, аж заходятся — самому хочется на четвереньки стать. И скотина в сараях бушует. Голодные свиньи визжат, будто режут их там. А подводчиков не видно, сволочей, не выгоняют, не увозят. Солнце сверху бьет, как из пушки, тень коротенькая — на собственную голову наступаешь.

* * *

Тупига остановился среди улицы и снял с шеи ремень-шлею, на которой висит его раскоряка-пулемет, поставил его на белую от пыли траву, распоясался и уронил под ноги тяжелый от подсумков, от привязанных круглых гранат и нагана поясной ремень, взялся снимать тяжелую и еще теплую от круглого хлеба русскую противогазную сумку, насквозь промасленную и от этого не зеленую, а уже черную. Теперь можно стащить с плеч, мокрых, чешущихся, сырую, как глина, шинель. Другие еще утром оставили шинели на машинах: сачкам всегда то жарко, то холодно, то мулко!

Из калитки — будто собаки его гонят — выскочил Сиротка. Глянул на Тупигу, сделал ручкой и нырнул во двор напротив. И тут же Доброскок — следом за ним. Карманы у обоих, сумки уже чем-то набиты.

Вернув все на себя, все ремни, всю тяжесть, Тупига уже с отвращением, как собственную отмершую кожу, поднял с земли шинель и повесил ее через плечо. Стал прикидывать, в какой дом зайти ему.

* * *

Во жили люди, под крышами жили и не знали, что самое опасное место теперь — своя крыша, свои стены. Тут человек как в ловушке. Дом показывает, где тебя искать. Но люди по привычке считают, что свои стены помогают. Разве что гореть!.. Соседские собаки облаивают, а в этом дворе тихо. И в сарайчике тихо. Кто-нибудь из молодых тут жил — не успели обжиться. Или бобыль одинокий. Что тут найдешь? Но домик аккуратный, занавесочки-цветочки на окнах. О, даже на палочку дверь заложена! Всего лишь к соседям вышла хозяйка и сейчас вернется... Им, конечно, сказали, что на собрание или проверка документов. Когда скажешь, что с детьми, тогда верить перестают, но все равно еще верят. И хлеб с собой берут, и вещи лишние тащат: как же, от дома их отрывают, может, далеко погонят! Далеко, дальше не бывает...

Печку вытопить не поспели, пусто и неинтересно на кухне. У них тут не одна, а целых три комнаты. Неудобная квартира — по нынешним временам и делам. Подушек сколько, наверно, девок здесь, девок! Прозевал Кацо. И зеркало, большое, городское, могли бы посмотреться потом, как вам с Доброскоком девки изукрасили бы рожи. Что это? Ботиночки, нет, всего один, а второй — это в зеркале. Новенькие, маленькие. Но где же второй? Вот бы принес домой такие, когда жена забеременела. Только когда это было?.. Никто не скажет, что бил ее или ругал, когда забеременела. А она заболела гриппом, насморк, голова — да и померла. Было обидно, но и обида забылась. В

чужом краю, в чужой хате был свой человек и его не стало. Но, может быть, и к лучшему все это. Самое опасное сейчас — свой дом, стены, крыша...

* * *

Прошел в темную боковушку — еще и эта комнатенка у них! — неся на пальце единственный ботиночек и посматривая, нет ли где второго. Где-то же достали, сволочи! С этим делом и в городе было трудно, не то что в селах. Вот он, для кого их припасли! Висит в люльке, сидит, откинувшись, в покачивающейся постельке, и спит, как возле мамы. Голенький, пухлый, такой похожий... На кого только? И всех мух собрал на себя: грязный — и лицо, и руки — от высохших слез и какой-то еды (успели-таки ему подложить, подбросить!), мухи так и льнут к нему. Ползают, щекочут, он морщится и всхлипывает-вздыхает сквозь сон, так по-взрослому. И посматривает! Тупигу передернуло от отвращения и даже испуга. Глаз приоткрыт, такой недетский, подсматривающе подрагивает ресницами. Тьфу, от жары мерещится! Спрятали, называется. И рады где-то, что спрятали, сберегли. А что хата гореть будет, о том не подумали. Смотрит уже! Глаза распахнул широко и готовится заплакать...

ПОСЕЛОК ПЕРВЫЙ. 11 ЧАСОВ 52 МИНУТЫ ПО БЕРЛИНСКОМУ ВРЕМЕНИ

Ты только не пугайся, Гришенька. Я что-то скажу, а ты не пугайся. Прошу тебя! Ты не испугаешься? Я... я умерла. Я, Гришенька, умерла. Но ты же видишь, не страшно, я с тобой разговариваю. Но все равно так грустно и плакать хочется.

Если бы ты знал, как нехорошо мне здесь. Ну вот, прошло, видишь, я уже смеюсь!..

Мое лицо в мамином зеркале, смотрю на вспухшие, нацелованные губы, а за спиной у меня Гриша, тоже улыбается: положил руки на мои плечи, теперь мы женщина и мужчина, все уже было, и так непривычно и хорошо знать это, что ничего уже не будет.

Я умерла, Гришенька, но это совсем не страшно. Видишь, как хорошо нам, спокойно.

Только мне жалко Гришу, такая смешная и трогательная эта юношеская упрямая шея и эта посолдатски остриженная голова. Нет, зачем он так, наголо? Его схватят, загонят в лагерь! Зачем он это сделал? Забрать, спрятать всего в себя и носить, и слушать, как ему тепло, безопасно и какой он смешно-нетерпеливый, мой мальчик. Я

проснулась, я лежу — вот я вся, аж до пальцев ног, далеко вытянулась под одеялом, это все я. Сладко и стыдно, точно я за кем или кто-то за мной подсматривает. Руки крест-накрест, детским «крестиком-подставочкой» под подбородком — я часто так просыпаюсь. Давно — с детства и еще раньше… «Это ты во мне так сидела, — смеется мама, — спокойненькая была, задумчивая и там». Я слышу голос, а ее не вижу. Но все понятно, что ж удивительного в этом. Она, и я, и Гриша — все мы здесь… Да, я помню, я это помню, как мне было уютно и безопасно, и как близко и привычно стучало мамино сердце. В детстве я старалась слева улечься возле нее и, тепло прильнув, слушать, как оно спрашивает, будто я все еще там: «Как тебе? Как тебе?..» Мне хорошо, я проснулась, но не вся сразу, а только затекшей рукой и стыдно открывшимися ногами. Натянула одеяло и, держа его на весу, несколько раз подняла и опустила колени. По темным соскам, по животу и коленкам наглый ветерок — вот вам, вот! Фу, какая! Сквозь ширму светится, желтеет квадрат окна, значит, это кухня — я почему-то на кухне сплю. И шкафчик коричневый, и печка с грязными подтеками, и ведра с прокисшей картошкой. Кислый запах любви, кислый запах… Как Гриша смеялся, по-мужски счастливо, когда я пересказала, объяснила ему словами врачихи, что у нас все нормально, я совсем-совсем здоровая: «Вы нормальная, влажная женщина…» Нам неловко смотреть в глаза друг другу, когда утренний свет смешивается с нашим ночным запахом, и потому я сейчас одна. Что ж тут удивительного, сейчас утро, и поэтому я одна. Господи, почему я такая несчастная: эти пупырышки на ногах, на бедрах, как зерна, жесткие, он их чувствует — у меня у одной такое, ни у кого, а только у меня это уродство! Он их гладит так осторожно, будто ласково, а я знаю: чтобы убедиться, что есть, остались, и ему неприятно, но он такой, что не скажет. У мамы, у подружек, я специально на речке смотрела, все гладенькое, нежное. А я уродина. Бедный, бедный Гриша! Я такая несчастная, и мне надо плакать. «Тебе надо плакать, больше плакать — будет легче…» Опять женщины и зеркало под черной тряпкой, и они хором советуют плакать. И что-то стучит, все стучит снаружи, хочет войти.

— Сейчас я открою, и все увидишь. — Гриша хочет стащить, сорвать с зеркала черную тряпку.

— Не надо, Гришенька! Прошу тебя! Я не хочу, я боюсь смотреть…

ПОСЕЛОК ТРЕТИЙ

Ага, вот они! Все тут. Уже с улицы Тупига понял, что все и произошло в этом доме — самом большом и новом. Вообще ***это*** проделывается в лучших зданиях, в которые и до войны собиралось много людей: школа, клуб, церковь. А в этом доме, наверное, любили собираться на вечеринки. И двор просторный. Окна выдраны с мясом. Знакомый, даже издали ощутимый запах селитры и крови. Гранатами забавлялись. Кислый такой воздух! И смех. Сидят в хате, разговорчики травят — работа перед глазами. Начальство налетит — вот, пожалуйста, только кончили. Перевыполнили! Первое время Тупигу тоже тянуло посидеть, посмотреть, кто и как упал, лежит, заголившись или закрывшись, или сидит, как живой, раскуривать сигареты и слушать разные истории, как у костра. Все это для новеньких и сачков!..

Задержался во дворе. Нет, эти бандеровцы и тут хотят отличиться. Чтобы все как у немцев. Барахло, бабьи транты сложены на скамеечках, у забора на траве, даже развешаны — что получше. Трофеи не измазаны кровью, зато сами в соплях! Кто это тебе добровольно, без крика-плача разденется? А вот он, тот пацан! Вынесли все-таки иконы, божьи люди, и на барахлишко положили... На руках у богородицы спрятался, а то все казалось: где его видел? Руки пухлые, на толстых ногах перевязочки, и смотрит–подсматривает, как взрослый!..

* * *

Из хаты в сени испуганно-весело выглянула красная мордочка Доброскока. Эти уже здесь, добежали. Дурной, громкий голос Сиротки слышен:

— Ахтунг! Тупига идет!

— Вольно, сам рядовой!

— Во, дывись, ищо один кацап!

Для этих бандеровцев все восточники — кацапы, москали. Сиротка все радуется, дурила, орет, стравливает:

— Кацап, а сто очков вашему Кнапу даст! У Тупиги какочередь, так подавай, Доброскок, новый диск, а диск так пол-деревни. Распишется «дегтярем» и инициалы поставит. Он бы один вот этих всех...

Хочется им сидеть здесь и селитрой, кислятиной дышать! Глушили гранатами, как рыбу, аж потолок красный, а на полу плывет — ступить негде. Сидят на скамье рядочком, ноги поджали, как коты в дождь. Лакустово отделение. Лупит носатый румын своих вояк, как дурной дурных. А нос-то, нос, пахать можно, глаза как у злодея-

цыгана! Сиротка этих лакустовцев окрестил: «дай мне в морду», — самому попадало, когда был у Лакусты под началом. Злодюга на злодюгу нарвался. А бандеровцы, похоже, что и оплеухами своего командира гордятся. У них все лучшее, «западное» — и дисциплина, и поп, и трезубец, и «уважение к старшим»!

— Ну, что уселись, молодые колхознички? — Любят они это слово! — Как перед прокурором.

— А к ним не хочешь, кацап?

Смотрит, сверлит черными глазищами цыганская морда, будто у Тупиги нет своей игрушки, погромче. Считается украинцем, а сам из Румынии и скорее всего — цыган. Как еще не попался, когда в сорок первом все их таборы подметали?

— Сиротку вам в помощь привел — может, назад заберете? Но вы тут сами справились — с божьей помощью…

— Ты нашего бога не трогай, бугай московский!

Это уже Кнап подал голос, Лакустов пулеметчик. Как Доброскоку ноги в зад, так этому голову в плечи загнали — с другого конца, но тоже укороченный. Ежик необсмаленный, а как глазами сверлит, как пугает! Да что ты со своей чешской тарахтелкой — не пулемет, а воробьев пугать!..

— Недоучили вас москали, так мы…

— Эх, Кнапик, Кнапик! Думаешь, грамотные не нужны и немцам? Волу хвост закрутить — вся твоя наука. А Муравьев, если был лейтенант, так он и теперь командир. Или вот Лакуста: учился, наверно же — теперь вас учит. По загривку.

Ух как не понравилось! Тупига передвинулся на всякий случай поближе к «майстэрам». Двое их тут, в каждом немецком отделении есть немцы, «майстэры». Горбатый Курт и его братец Франц пристроились у выдранного окошка, где воздух свежее, фотографии хозяйские рассматривают. Интересно им, что-то свое, немецкое, говорят, смеются. Немцы у Лакусты знаменитые на весь батальон: скажешь «веселый Франц», и все знают который. Ко всему Франц еще и по-русски говорит. Они близнецы, Курт и Франц, хотя черт, наверное, копыта себе сбил, прежде чем таких разных, непохожих свел в пару. Если стереть с Франца всегдашнюю улыбку, а с Курта его косую злость (он не только горбат, но еще и косит), может, и похожие они будут — оба черненькие, худенькие. Франц любит потешаться над Куртом: «Это не Курта горб, это мой. Тесно было, толкались. Я ему его и сделал». И скалит зубы, такой же пустозвон, как и Сиротка. Или подойдет и спросит: «Ну, когда майстэра пук-пук?» И покажет на оружие твое и на свой затылок.

А однажды увидел деревенских подростков-близнецов. Обрадовался, как своим, долго водил по деревне, всем показывал, ставил рядом с собой и Куртом — как дитя веселился. А потом придумал. Одного за спину другому пристроил: «Бутерброд!» — и одним выстрелом убил из винтовки. Засмеялся и объяснил:

— Пук! И нет Франца, нет Курта!

На дворе, на улице топот, будто лошадей гонят. Сиротка первый догадался:

— О, Белый свой цуг[4] ведет. Видишь, Кнап, учись. Человек ротой теперь будет командовать.

— Назвали взвод ротой и думаете — свет перевернет твой москаль!

* * *

Из показаний Лакусты Г Г. и Спивака И.В. — 1974 год:

Спивак: *Лакуста зверствовал, будучи командиром отделения, избивал людей не один раз. Я стоял на посту, а он меня кулаком в ухо!*

Лакуста: *Пусть скажет за что! Оставил пост и пошел самогонку искать. А я должен с этим Сироткой — все его так называли за дурость — сесть и пить, так вы это понимаете?Я и в Донецке после войны пьяницам спуску не давал, своим плотникам, бригаде. А как же с ними еще?*

* * *

Последнее слово, кассационные жалобы о снижении срока, ходатайства о помиловании бывших карателей Федоренко, Гольченко, Вертельникова, Гонтаря, Функа, Медведева, Яковлева, Лаппо, Осьмакова, Сульженко, Трофимова, Воробья, Колбасина, Муравьева:

«26 лет после войны я честно трудился, приносил пользу людям. Прошу 1/2 вклада оставить жене».

«Надеялся, что после выхода из немецкого лагеря все изменится к лучшему. Однако же после выезда на первые карательные экспедиции я понял, что стал предателем. Бывшие командиры не сумели организовать таких, как я, а сам я бежать не решился».

«Перед арестом на моем иждивении было 8 детей, но ни им, ни жене я не рассказывал о совершенных мною преступлениях, т.к.

---

[4] Взвод *(нем.).*

рассказывать об этом было страшно».

«За время службы в ГФП я, бесспорно, убил человек пять. Был награжден немецкой медалью, но я ее сразу же выбросил. Немцы не знали, что я был членом партии».

«Граждане судьи! Я выходец из рабочей семьи, рано начал свою трудовую деятельность… Прошу учесть раскаяние и сохранить мне жизнь».

«После прихода Советской Армии я воевал против немцев, 20 лет трудился.

Не имел замечаний, а наоборот, 6 грамот, избирался членом избирательной комиссии».

«Перед судом сейчас стоит другой Гольченко, искренне раскаянный, глубоко осознавший всю тяжесть совершенных мной преступлений, идеи мои только большой труд на благо народа».

«Настоящий приговор в отношении меня не может оставаться в силе и подлежит изменению по следующим основаниям…»

«Отбывал наказание на Севере. Честно трудился…»

«Никому не желаю того. Лучше умереть, чем быть изменником. Прошу учесть мой преклонный возраст и медаль „За трудовую доблесть“. Мне было присвоено: „член бригады комтруда“

«В приговоре сказано, что я награжден четырьмя немецкими наградами, а у меня их было три…»

«Среди полицейских я *старался быть незаметным.*

Любой приговор, самый суровый, я восприму как должное».

«Когда началась коллективизация, первый вступил в колхоз. На первых выборах в 1937 году был избран…»

«Я не виноват, виновата война. Не было бы войны — не попал бы я в плен и не сидел бы теперь на скамье подсудимых».

«А наши вожди-сослуживцы, командиры ни один не сидел за злодеяния против советских граждан, были на воле до 1968 г. Спасибо нашим советским следственным органам за чуткость: не дали им тоже избежать от советского правосуда».

«Я не стараюсь защитить себя, т. к. все время чувствовал,что являюсь подлецом и негодяем… Однако я хочу сказать, что мы сейчас не те, какими были 30 лет назад, и поэтому встает такой вопрос: каких же людей вы будете приговаривать к расстрелу — тех, которые были 30 лет тому назад, или тех, которые в течение более 25-ти лет честно трудились на благо всего нашего народа, которые в настоящее время имеют детей и даже внуков?!»

Письмо в суд матери бывшего карателя:

«Я старая больная женщина. Как мать прошу помиловать

моего сына. Мне трудно найти слова, но все же мой сын заслуживает снисхождения. Я знаю, что он глубоко раскаялся».

«В 41-м мне было 35 лет. Изменил Родине и пошел служить к врагу по своей малограмотности и низкой сознательности. Причиной для измены.было то, что в лагере военном люди все умирали, там было очень плохо. Конечно, я не считаю теперь себя за человека. Почему стал убийцей? Ничего другого не оставалось делать. Коль пошел к ним служить, то приходилось делать все, что заставляли... Если бы мою семью привели к яме и приказали мне стрелять, то, конечно, пришлось бы стрелять в них».

«Процесс моего перевоспитания начался задолго до ареста. Поэтому я не нуждаюсь в столь длительном тюремном заключении».

«Прошу учесть также, что моя жена всю войну была на фронте...»

* * *

А что там с пацаном? Через деревню проходил взвод Белого, видно было, что забегали в дома. Что с ним? Сидит, играет с ботиночком?.. Мрачный он, этот сибиряк Белый — всегда как больной. А сам медведь, воду на таком возить!.. Спит пацан или кричит, зовет? Докричишься, что зайдут немцы или бандеровцы... Нет, тихо. Ага, живой! Сидит в своей люльке и гудит, гудит. Как в детяслях. Наревелся, а теперь пузыри пускаешь, мух-то, мух собрал! (Тупига даже свою щеку погладил, будто и его кожу стягивают, щекочут высохшие слезы.) Солнце бьет мальцу прямо в глаза, не видит, кто зашел, но услышал, вот-вот заревет снова. Руками тянется к грязному лицу, люлька начинает раскачиваться...

* * *

Тупига старался не заслонить солнечного луча, ему не хотелось, чтобы его видели. Но его шаги услышали, и голый, пухлый, преследуемый солнцем, мухами, ужасом ребенок уже кричал — так, что и в другом конце деревни услышат. Тупига, как пойманный, отступил к порогу, пулемет упрямился — напоминающе оттягивал шею, но люлька такая легкая, раскачивается, и ему почему-то страшно бить из пулемета. Наган шершаво, прохладно схватил его пальцы, припал к ладони и вздернул руку на уровень лица! По-живому вздрогнул — раз и еще раз...

Тупига направился к выходу и вдруг увидел самого себя: громоздкий, с упавшей на плечо головой, оседланный пулеметом, с лицом испуганным, а в руке наган!.. Позади раскачивается люлька, и

он, не поворачиваясь, ее видит. И видит, как на белый от солнца пол падают, брызгая, огненно-яркие струйки. Ударил револьвером (и больно — косточками пальцев!) по всему этому: открывшаяся зеркальная дверка шкафа со звоном ослепла. А Тупига сказал и сам услышал, как незнакомо, откуда-то из будущего, прозвучал его голос: «Жалко было, пацана пожалел! Живым сгорит».

МЕЖДУ ТРЕТЬИМ И ЧЕТВЕРТЫМ ПОСЕЛКАМИ

* * *

Что надо Белому, командиру взвода, который переформируется в новую, «русскую» роту, отчего он такой мрачный, такой с виду больной, а сегодня просто злой, об этом знает в целом мире только Суров. Он старается рядом шагать, и с самого начала войны они почти все время оказывались рядом, в одной баланде варились. Друг о друге знают все. Раньше близость к взводному, с которым считался даже ненавидевший его командир роты, украинский гауптшарфюрер Мельниченко и которого немец Циммерманн открыто уважал, — особая близость к этому человеку раньше Сурова и грела, и придавала уверенности. Сейчас пугает. Что-то произошло, происходит с Белым. Надо бы поговорить, как прежде, выяснить, уточнить планы, но неприязненные, ставшие какими-то рыжими глаза Николая отталкивают все дальше, не подпускают.

Они почти рядом идут, но вражда шагает между ними.

Белый, косясь, видит своего очкарика, своего «ксендза», своего «политрука», и злоба, как похмелье, как тошнота, ворочается в нем. Ишь, какой чистенький, румяный. Очки добыл себе немецкие, золотые, от них еще больше блестит, такой аккуратненький. А почему бы и нет, за спиной, на горбу у Белого можно сколько угодно охорашиваться. Белый — человек конченый, терять ему нечего — но еще годится, чтобы напоследок им обтереться. Ну нет, еще посмотрим, милок! Чует кошка, чье сало съела! Чуть глянешь в его сторону — золоченые глаза хоть и обиженно, но по-прежнему бодренько подтверждают, что все идет, как прежде. Он здесь, твоя чистая совесть с тобой, все идет как надо! Шло, шло и пришло — так оно, товарищ ксендз! Самое время кончать эту музыку. Короткая кишка оказалась у тебя. Да и моя тоже, что уж тут прятаться. Одним дерьмом измазались, и нечего притворяться, мой ксендзок. До чего же и правда похож! После тридцать девятого прислали одного в леспромхоз. На плечах замызганный бушлат, а на носу вот такое золото, и на каждом шагу: «Може пан бенде ласков!» И все молитвы

свои шептал.

И этот! Весь в немецком, до подштанников, в дерьме по уши, а все не забудет, кем был когда-то.

Вот он шагает, спутник-агитатор! Все, ваша святость, обоим нам кранты.

Не одному мне, но и тебе.

Суров встревоженно поглядывал на своего шарфюрера и бывшего друга. Да нет, не «шар», а уже объявлено, что «гауптшар» и командир новой, «русской», роты, которая будет формироваться. В этом все дело, здесь собака зарыта! Видно, надумал новый гауптшарфюрер окончательно на сторону немцев переметнуться. А все сваливает на случай с партизаном-разведчиком. И на Сурова — как же, он виноват, что не вышло, не получилось, как распланировали, что и на этот раз в лес уйти не удалось. Не вышло, верно, но что поделаешь, если сорвалось. И очень жалко парня, разведчика партизанского. Но недолго же ты жалел, утешился «гауптшарфюрером»! За эту операцию и получил. За поимку партизана. Не Сурова наградили, Белого, и можешь так на меня не смотреть!

Просто решил делать немецкую карьеру, и ясно, что Суров ему теперь ни к чему. Выдать вряд ли решится: побоится, что из Сурова выбьют больше, чем хотелось бы. Сделает проще: залепит автоматную очередь в спину во время боя, и похоронят «иностранца Сурова Константина Викторовича» с немецким салютом. И останется он для всех и навеки предателем, немецким прихвостнем. Один Белый будет знать, что не был Суров предателем, не был карателем — вот еще ирония, самая злая!

* * *

Суров и Белый познакомились еще в армии, но сблизил их плен. Оба бывшие командиры, но старшина Суров в мае сорок первого окончил еще и политические курсы в Смоленске. Тогда все учились на краткосрочных — не хватало в армии командного и политического состава, старики оказались замешанными во всяких шпионских делах, перешерстили их как следует. Под Рогачевом полк попал в окружение. Всех, у кого были звездочки на рукаве, и евреев немцы перед строем поубивали в первые же дни плена. Суров звездочку не сохранил, оставил в лесу вместе с гимнастеркой. Но убеждения, конечно, сохранил. И жизнь, которая еще могла пригодиться. Его не выдали, хоть многие в лицо знали младшего политрука роты. Значит, одобрили его поведение. Стать под расстрел по-дурному — это не самое мудрое, верное решение. Хотя некоторые так и сделали. Ладно,

старики, так и одногодки его, с одним-двумя, как у Сурова, кубарями: себя хотели показать, а показали безграмотность свою! Политическую, военную!

Не случайно Белый к нему потянулся в Бобруйском лагере. Почуял твердость убеждений. Это при хороших калориях таким, как Белый, все нипочем. Весельчаки, душа нараспашку, спортсмены! Но именно таких голод первыми и догоняет, ломает. Маленькие, щупленькие еще держатся, а недавние медведи уже смотрят тупо-удивленно, тоскливо, тихо безумеют. Бобруйский лагерь, крепость! — кто прошел через это и выжил, не сошел с ума, того ничем уже не удивишь, не испугаешь. Но с чем никогда не свыкнуться — так это с неблагодарностью и глупостью людской. Что ж, видимо, пройти надо и через предательство друга, которого поддержал в трудную минуту, сохранил ему надежду. Такое уж время...

То же самое, те же события по-другому видел и помнил Белый.

Когда Николай Белый, спасаясь от голодной безвыходности и тупого ужаса, согласился стать «добровольцем» — караулить оставшихся в лагере доходяг, сопровождать телеги, машины с трупами к траншеям — он Сурова не терял из виду. Как мог, подкармливал своего однополчанина. Вот тогда, там и началось это, хотя сформулировано было значительно позже. Не до формулировок и планов было Сурову, его шатало от голодных поносов, а сам Белый додуматься до этого не смог бы. Но ситуация уже существовала, определилась: Белый стал врагом для своих, а Суров сберег себя и имел право, мог объяснить, кому следует, кто он, Белый, на самом деле, что у него было в голове и в сердце, когда брал немецкую винтовку. Тем более что он рисковал, подкармливал, спасал, как только мог, своего собрата, командира. Оставлял в определенном месте за уборной или ронял на ходу в песок хлеб, колбасу — поразному приспосабливались. Но после пожара в крепости и расстрела Бобруйского лагеря команду Белого перебросили в Могилев. И вот там они снова встретились. Вдруг появился в могилевских казармах Суров, в той же, что и Белый, добровольческой форме. Невесело усмехнулись друг другу, говорить было не о чем. А пленные все поступали с востока, будто чудовищные насосы накачивали все новую и новую массу в огромные лагеря, заполняя старые казармы, бараки, огороженные колючкой заснеженные овраги или просто участки изрытого жуткими норами поля... Что значили они двое, их судьба, имена, мундиры, чувства? Усмехнулись и разошлись. Сначала числились в охранной полицейской роте, даже мундиры на них были не немецкие, а какие-то с красными петлицами, сказали, что

литовские. Стерегли лесосклады над Днепром. Но весной объявился в Могилеве «особый батальон» Дирлевангера, а точнее рота с небольшим, которую Дирлевангер привез откуда-то из Польши. Для начала он включил в батальон фольксдойча Барчке с его беглой кличевской командой — местными полицаями. Потом взялся за «добровольцев», не разбирая, кто украинец, а кто русский или татарин. Другие все еще учитывали это, а Дирлевангеру вроде бы все равно. Говорилось о борьбе с партизанами, и Белый даже обрадовался — так это совпадало с его расчетами, мечтами. Войти с партизанами в контакт, перестрелять «своих» немцев и увести отделение в лес! Уже рад был, что его сделали командиром отделения. Сурова он еще раньше к себе перетащил, и они не раз обсуждали план, как распропагандируют «добровольцев» и уведут к партизанам.

Вот так, с одним планом на две головы, оказались у Дирлевангера. И с одной книжечкой на двоих. Потому что гимнастерку Суров бросил, но командирскую книжечку сберег, она и теперь зашита в немецкое сукно. Так хорошо все спланировали, так умненько. И стали ждать случая. Суров особенно умничал: присмотреться! нацелиться наверняка! Не подумали, олухи, что у Дирлевангера на их хитрость своя имеется, свой план на их план — не хуже. Теперь-то Белый знает, узнал.

Суров, как бы угадывая недобрые мысли и воспоминания своего командира, тоже вспоминал. И вот это тоже: что сказанул ему Белый, когда привезли в печерские казармы раненого разведчика. В который уже раз распланировали уход в лес, а вместо этого — поймали партизана! «Ну что, ксендз, где у тебя зашито? Не потерял? Вот теперь уж точно можешь выбросить!» Ишь, словечко выискал: ксендз! Козел отпущения — вот кто тебе нужен. Суров всему виной! Я, что ли, послал тебя в «добровольцы»?

А вначале не так было, было понимание взаимное. Хотя Белый и назывался шарфюрером, но вел не он. Прислушивался к мнению Сурова. А не делал бы этого, давно погорел бы. Сколько таких храбрых накрылось, не за такие дела подвешивают — у немцев это мигом. Специальную виселицу за собой везде таскает батальон, назвали ее «вдовой», но скучать ей не приходится. Почти каждую неделю кого-то в батальоне хватают, а потом выводят из подвала запухшего, синего, уже не отличишь, Петров это или Иванов. Будто одного все женят на этой страшной «вдове». Тут поостережешься, если не дурак и если не хочешь дело завалить. Сберег гада, а ему, поди, уже расхотелось идти в партизаны. Зачем, если он уже гауптшарфюрер, роту ему дают. Вот только Суров мешает.

Обдумывает, как этого Сурова убрать. Потому и растравляет себя. А разведчик — только предлог…

Нет, вы полюбуйтесь на моего ксендза! Рожа обиженная, святая. Он и сейчас себя чистеньким считает. Думает, что и партизаны такими же добренькими глазами на него посмотрят. А я-то старался, действительно не давал капле на него упасть, чтобы хоть его не забрызгало. Понравилось на чужом горбу, так он и слезать не хочет. Когда пришло время действовать. Да где там пришло? Прошло! Давно уже прошло. После той самой Каспли. Как странно, что первая деревня так называлась — почти капля. От одной той капли не отмыться во веки веков, не то что… Никакие Суровы не помогут, не отскребут, не выжмут, не высушат! Там все и началось. В первой деревне. Над первой ямой. А дальше только жалкое трепыхание да самообман. Дирлевангер свое дело знает. Не ты у него первый. Ехали, как на обычную операцию, «погонять сталинских бандитов». И опять, как школьницы, пошептались с Суровым: не тут ли удастся, повезет? Если не отделением, так хоть бы вдвоем перебегут к партизанам. Про деревню Касплю и Дирлевангер, пожалуй, не знал, не слышал до того самого момента, как машины выехали к ней. Потом Мельниченко рассказал, пьяный, что стрелял по батальону он — с тремя такими же «партизанами». Это у Дирлевангера называется: пощекотать ноздрю быку. Не раз потом такие штучки проделывались. Если партизан, настоящих, кто бы мог подзадорить, не оказывалось, высылалась вперед или в сторону небольшая группа, и оттуда звучали «бандитские выстрелы». А в тот день даже командиры не знали про этот приемчик. Перестроились, развернулись чин чином, как на фронте, и, под прикрытием минометов, орудий, повели наступление на «партизанскую деревню». Она сразу же вспыхнула от снарядов и трассирующих пуль.

Что дальше было, что делали в той Каспле, про то и в снах боялся вспомнить: тотчас просыпался от ужаса и тоски, сколько бы шнапса ни налил в себя вечером. Суров тоже участвовал (а как же это назовут?), хотя и не так, как Белый. И, видимо, там он выудил из себя ловкую мысль, которой так здорово опутал Белого и три месяца держал, водил, как на веревочке. Суров не стрелял, не убил никого, сидел в оцеплении — пусть и дальше так будет: кто-то чистый должен остаться, любой ценой, тем более что у Сурова зашито это самое… Ну, а он и друга сумеет, сможет обелить перед партизанами. Объяснит, какие у него настроения, как, что и почему. А для этого хотя бы ему надо остаться незамаранным. Чтобы и капля на него не упала. Нашелся святой из борделя! Нет, надо же такого тумана, такой пены

напустить! Рассчитывали носовым платочком такую кровь стереть. Но действовала уверенность Сурова. Да и страшно было окончательно согласиться, что выхода нет и быть не может. Суров утаскивал Белого куда-нибудь в поле или в темные углы и, как девице, морочил голову. Даже пощупать давал, что у него там зашито… Так бы и отходил по мордам — самого себя! А этот и в самом деле поверил, что судьба у них разная: один в крови по локти, другой у него на плечах, на спине отсидится. Ножки поджавши. То больным его делал, то на кухню, то в оцепление совал — только бы не пролил невинную кровь. Только бы сберечь чистеньким до решающего дня. А когда день такой пришел, ему слезать не захотелось. А зачем: он и до конца войны просидеть готов, поджавши лапки! Еще неизвестно, как в лесу встретят, как посмотрят на его книжечку. И поверят ли, что из борделя — и чистый? А может, как раз за книжечку больше всего и не простят: опозорил, замарал! Не смотри, не смотри, знаю все твои мыслишки наперед. Подожди же, я тебя утру! Ну ладно, мы, туда нам и дорога, так еще и парня загубили, такого парня! Он нам, проституткам, поверил, спасти хотел, а мы его немцам отдали. Как барана связанного. А теперь будем опять все сначала, пошепчемся: как мы умненько уйдем, и как нас примут, а мы им все объясним…

А ведь и правда — шанс был, появился! Сиротка кашу заварил. Блатняга прибежал к Белому — на него первого натолкнулся — и выпалил, захлебываясь от гордости, азарта, что какая-то Катька с хутора навела его на партизан. Девка, к которой он бегал несколько раз и которая «так и липнет, спасу нет» (пожалела гада, поверила его детдомовским соплям!), так вот она проговорилась, что ее родной дядька может увести в лес, к партизанам. И ребят, если есть хорошие. Подмазываясь, Сиротка, конечно, заливал ей про свои переживания, мучения от службы у врага. Дурак не понимал, что его повесят вместе с его Катькой и тем партизаном. Бегал-то он на партизанский хутор тайком от немцев, начальства, неизвестно с какими намерениями. «Вдова» приласкает как следует, это тебе не Катька!

Так и объяснил ему, и Сиротка тут же струсил по-настоящему. Можно было все забрать в свои руки, а ему приказал, чтобы помалкивал как рыба. Сразу — действовать! Увел Сурова в могилевские переулки и объяснил, какой счастливый и, может быть, последний случай представился. Давай сюда всех, кто у тебя надежный, кого распропагандировал, держишь на примете! Когда-то ведь называл — троих, потом пятерых. Хватит, если ребята надежные. С их помощью весь взвод скрутим, если решительно взяться. В таком деле важно, чтобы думали, что вас больше. Чужое

поле, лес, немцы далеко, каждый будет думать, что только он в стороне, а все уже решились, давно сговорились. Ну, а «майстэры» — не помеха. С них и начать: расставить своих, надежных, так, чтобы враз всех уложить!..

Суров выслушал, а потом, покраснев, как девица, признался, что это, как бы сказать, не совсем точно — про надежную пятерку. Он, видите ли, сомневается. Разговаривал с одним, со вторым, но все больше мигами и фигами, а окончательное, главное слово произнесено не было. Потому как рискованно, а ему это не нужно, зачем ему? Над ним не каплет.

Тут же стал поносить, ругать предателями, кровавыми собаками всех, на кого Белый хотел бы опереться. Белый и сам знал — кровавые и есть, собаки и есть! А кто ж мы еще?! Но хоть кого, хоть двоих, троих дай мне! Чтобы зацепиться, а там уж я их, сволочей, заставлю! Сами не заметят, не поймут, как и когда у меня все, что надо, сделают…

Но пришлось спускаться на землю. Что тут о суровской тройке, пятерке толковать, если самого агитатора нужно агитировать. Сколько у него убедительнейших доводов против и сколько уверенности, что настоящий случай, еще лучший, будет, он уже в пути, уже на подходе! Болтун проклятый, все осторожничал, берег себя, как знамя. Только и умел, что гулять с Белым под ручку по переулкам, сказочки приятные сочинять, а иногда давал пощупать, что у него там зашито. Чтобы только Белый не пал духом, чтобы с крючка не сорвался. Удобно, сухонько ему сидеть, что еще надо! Не хлюпает под ногами, сверху не каплет…

Нет, не удалось ему улизнуть на этот раз! Понял Суров, что не отступится шарфюрер, что ему уже невмоготу. Пятерых все-таки подобрали, кого Суров не сразу, но назвал. Чтобы с ними, с каждым в отдельности, еще потолковать, не открывая ничего определенного. Надежнее было, конечно, уйти вдвоем, без всякой попытки увести или разгромить взвод. Суров к этому и клонил: ***если уж невозможно больше ждать!*** Знал, знал, гад, что Белый на это не решится. Прийти к партизанам — с чем? С руками в крови по локти и ждать, что тебя защитит, оправдает попик в золотых очках, которого самого на осине надо вздернуть! А взвод, оружие, пострелянные «майстэры» — это уже дело, это что-то значило бы на партизанских весах.

Суров маялся и мялся, показывал, как только мог, что не верит в успех, что авантюра это и он за последствия не отвечает. Белому было все равно, он шел ва-банк. И вообще на месте будет виднее. «Все, ребята, хватит в чужой кровушке купаться! Своей пора платить!..»

Но оказалось, что о хуторе, о шашнях Сиротки уже знает немец Циммерманн, и счастье еще, что узнал он раньше, чем Мельниченко или Дирлевангер. Позвал Белого — своего русского заместителя, дублера. «Ну так что? Будем брать медведя?» Отступать было некуда. Оставалась еще надежда, что помогут наполеоновские замашки маленького очкарика Циммерманна. И он действительно все на себя взял, пообещал немецкому начальству, что обойдется одним взводом. Все так, как незаметно внушил ему Белый. Интеллигентный гауптшарфюрер Циммерманн, бывший учитель, достаточно доверяет своему русскому дублеру. И уважает. Может быть, за рост, которого самому так недостает. Особенно, когда пьян, уважает. Тут он даже болтлив. (А его русский язык — семейная память, предки его из Прибалтики.) «Хороший вы парень, Белый, даже жалко, что вы не немец!» А в последний вечер, перед самым делом, откровенничал особенно. «Ну, а дети, почему детей?» — спросил Белый прямо, в открытую. Перед этим Циммерманн долго и нудно огорчался, что так бедно и некультурно живут на такой хорошей, богатой земле. «Тут будет рай! Фюрер так и сказал, когда смотрел на деревеньки без дорог, где столько детей и все, ужас, с какими здоровыми, белыми зубами!» — «А разве фюрер приезжал в Белоруссию?» — «Какую Белоруссию? Я говорю про Украину. Вы не украинец, и можно с вами откровенно. Они-то больше всего нас и беспокоят. Слишком много их, этих украинцев. А земля под ними самая лучшая в Европе. Пусть едут в райх, а мы на их место...» Циммерманн даже расхохотался, вообразив эти «встречные перевозки». Его гиммлеровское пенсне просто пылало от удовольствия. «Но когда мы заселим Украину, нам будут мешать эти вечные глаза нахлебников-соседей».

Потом он спохватился, вспомнил, что Белый все же не немец и как раз «сосед». «Давайте забудем, Николяус, кто из нас немец, а кто русский. Допустим, мы и есть те счастливчики, которые потом будут жить. После всей крови и жестокости. Вот сегодня, нам с вами, какое нам дело до древних народов, племен, которые были, а потом их не стало? И, наверное, не метелочкой из перьев, а железной метлой их смели. Что, мы от этого аппетит теряем, сон? Мы пользуемся их теоремами или числами, а про них и думать забыли. От сибаритов остался ночной горшок, говорят, единственное их изобретение. От целого народа — ночной горшок! Ну и что, это мешает нашему счастью? Так и потомки наши, да они и замечать не будут, что под ногами чей-то прах, пепел! Вот говорят: дети, дети, может, лучше перевоспитать! Кровь не перевоспитаешь. Ее можно лишь вылить. И даже лучше — менее болезненно — всю зараз. Чтобы не делать этого

снова и снова. Жаль, что вы, Николяус, не могли читать Шпенглера, был у нас философ, еще до фюрера. Не нужно было бы объяснять, что такое бремя фаустовских народов. Англичане его несли, испытали, но они слишком практичный народ, слишком жадный, торгашеский. Им не хватало идеализма. Они не умеют мыслить высоко. Да, кто-то обязан снова и навсегда проделать эту работу, упорядочить наконец мир, пока его не сожрал, как сифилис, выродившийся «мировой город». Омолодить мир, развращенный еврейскими плутократами и большевистским социализмом. Только фаустовские народы способны на такую кровь. А из них, по-настоящему, — только германский. На нас взвалили работу, и на нас же теперь проклятия всего мира! Сколько надо идеализма иметь, чтобы не слушать воя и нести свое бремя! Ну, а если трезво взвесить: разве мы лишь для себя? Даже фюрер не вечен. Не он, не мы будем пожинать плоды новой жизни в тысячелетиях. Ну, а немцы не немцы — какая разница? Будут жить люди. Когда один народ, одна раса, тогда все — просто люди. Но какие! И жизнь какая! Не уверен, что я вот так же философствовал бы, будь я на вашем месте. Нет, я не дурак, чтобы поверить, что вы, иностранцы, за идею нашу сражаетесь. Но если не сердцем, так хотя бы головой можно понять? Вот вы, Николяус, могли заметить, что я не питаю ненависти к здешним жителям. Разве я похож на многих других моих соотечественников? А почему? Да потому, что не за что ненавидеть пепел, на котором взойдет завтрашняя нива! На ваших людей нужно смотреть тоже как на полезных участников общего дела. Да, оно выше не только их жизни, но и нашей. Каждому свое, но все заняты исторической работой, даже та женщина, даже ребенок: одни расчищают поле, убивают, да, это так, другие горят и умирают, но все для того, чтобы не было больше этого. Никогда чтобы не было! Если я и злюсь на кого, так это на предков — наших, ваших, неважно! — которые и свою часть работы переложили на нас. Чтобы так не говорили потом о нас с вами, мы должны сделать свою работу добросовестно. Для этого нам дана, в нас вложена особенная чуткость расового инстинкта. Потом он может выветриться. И за предков, и за потомков — это наше проклятье, но надо исполнить все до конца. Чтобы не пришлось кому-то снова лить кровь. Мучить кого-то. Снова и снова! И все лишь оттого, что вы, Николяус, или я, Циммерманн, пожалели ребенка... Одного-единственного! Я — одного, вы — одного...

Так говорил Циммерманн, а потом, когда начинал вроде бы трезветь, хотя пил еще больше, вдруг погружался в обиду, скучную и тягучую, как рассвет с головной болью. Вспоминал всех своих

родственников, доказывал свою прибалтийскую близость к Альфреду Розенбергу, а потом ругал и родню и Розенберга, а заодно и всех, кто когда-либо обижал его, Циммерманна. Обидчиков набиралось много, потому что все, кто обижал Циммерманна, были врагами и Великой Германии, бесчисленные обидчики Германии наносили удары и по сердцу учителя Циммерманна. Подумать, так у всех на земле и дел других не было, как только чинить нестерпимые обиды ему, Циммерманну, и Германии!..

* * *

Из показаний на суде Рольфа Бурхарда — зондерфюрера немецкой комендатуры города Бобруйска.

« Вопрос*: Участие в сожжении деревни Козуличи вы принимали по собственному желанию?*

Ответ: *Так точно.*

Вопрос: *Вы имеете высшее юридическое образование, скажите, как вы рассматриваете факт сожжения абсолютно ни в чем не повинных 300 мирных жителей?.. Из ваших показаний следует, что вы за два куска сала, 4 — 5 кусков свинины и гуся приняли участие в сожжении заживо 300 человек…*

Ответ: *Да, это так. Это жуткое дело… Я раньше никому не говорил об этом и только на следствии рассказал всю правду…*

Вопрос: *Вы считаете себя политически грамотным?*

Ответ: *Я считал и считаю себя грамотным.*

Вопрос: *Скажите, когда вы стали понимать, что фашист — это человек, который покрывает себя позором?*

Ответ: *Процесс этого осознания проходил у меня медленно. Началось это во время пребывания в Бобруйске и особенно сильно во время пленения. Но я считаю, что в настоящее время, может быть, я освободился от фашистской идеологии, но какие-то остатки еще имеются. Может быть, в течение полугода я освобожусь совершенно. (Смех в зале.)».*

* * *

Действовали два плана: у Белого — свой, у Циммерманна — свой. Но Белый знал, как и что планирует Циммерманн, а гауптшарфюрер о тайных намерениях Белого и Сурова ничего не подозревал. Суров посоветовал: послать на предварительную встречу с партизанским разведчиком Сиротку одного. Белый согласился и уговорил Циммерманна именно так и сделать. Но потом, после всего, сообразил, что свалял дурака, и соглашаясь с Суровым, и уговаривая

немца. Суров, видно, рассчитывал, что Сиротка попадет в партизанскую ловушку, его утащат в лес, как барана, и на том окончится. И Белый, как дурак, ему подыграл. Вместо того чтобы самому побывать на такой встрече. А там он нашел бы способ, возможность с глазу на глаз переговорить с партизанами, заставил бы их ему поверить, и хорошую ловушку подстроили бы Циммерманну. Поверили не поверили бы, но хуже, чем получилось, все равно быть не могло. Побежал один Сиротка, труся и радуясь, вернулся под вечер — героем! Рассказывал с восторгом и слюной захлебывался. Как он здорово заморочил их! Сколько Катькиного самогона выпил! Как чокался с партизаном «за успех»!.. Наплел им, что восемь человек, восьмеро «добровольцев» просто рвутся «искупить вину перед советской властью и народом», а сам он больше всех ненавидит «ворога», который отнял его «счастливое детдомовское детство». Ворога! И словцо белорусское употребил — так он трусил, что не поверят и прихлопнут. Труднее всего было перебороть недоверие хозяйки хутора, матери той самой Катьки. Очень пугал ее мундир с эсэсовскими черепами, костями. Но даже ее разжалобил под конец, напирая на детдомовское свое сиротство.

Жалость этих женщин дорого им обошлась. И доверчивость разведчика. То, что они людьми были и поверили, что имеют все-таки с людьми дело. Не оправдаться во веки веков — за один этот дом, эту семью! Что спрашивать с Сиротки да с Циммерманна: один еще не сделался человеком, второй уже выполз, вылузнулся из человеческой кожи. Зато вы с Суровым все знаете, все понимаете, а что натворили?!

Забирать, ловить «бандита и Сироткину курву» шли целым взводом — для подстраховки. Ждали — Циммерманн с опаской, Белый с надеждой, — что партизан тоже подстрахуется, посадит за спиной у себя взводик. Не дурак же на самом деле, чтобы Сиротке поверить: у него же на морде, как у хоря, все про него написано! По подсказке Белого Циммерманн вызвал тех, кто войдет в «ударную восьмерку». Вошли все «люди Сурова». По Циммерманну, они должны были брать партизана, по Белому-Сурову — уходить, пробиваться вместе с партизаном в лес. Хорошо и то, что уговорил Циммерманна не приезжать задолго до условленного времени и не делать засаду: засекут обязательно, и никто на встречу не явится! Взвод остался на пригорке, залегли с пулеметами, а «восьмерка» двинулась к хутору — через ранние зеленя, в открытую. Чтоб партизан мог увидеть, пересчитать, убедиться, что происходит именно то, о чем условились. Уже минут двадцать шли через поле, как кровь из разорванных жил,

уходили последние мгновения, и Белый начал: «Придем, а вдруг нас там поджидают хлопцы с Горбатого моста!» Назвал одну, вторую фамилию беглецов, проклинаемых в батальоне. Бросил пробный шар. Сиротка даже присвистнул, ему хоть забавным показалось, а «суровская пятерка» слушает, посматривает непонимающе, настороженно-тупо. Как бы голосом беглого командира отделения Загайдаки Белый позвал: «Хлопцы, заждались мы тут. Давно пора, пока не поздно!» Смотрят испуганно: что это он, что за шутки? Один, второй, почти все по очереди высказались, вся «распропагандированная пятерка»: «Давно его шкуру бандиты высушили на барабан. Жалко, а то бы мы сейчас!» — «Сволочи, в колхоз захотели!» — «О, поджарим Катьку мы твою, курву твою, Одесса...» Все было ясно — законченные «иностранцы», как называют немцы всех местных, кто служит в батальоне. Разворачивайся и лупи из автомата, захватишь краем очереди Сурова — ему тоже туда и дорога! Но вместо этого лишь посмотрел на Сурова. А тот вернул невинный взгляд: «Видишь! Я же говорил, что кровавые собаки!» А все дальнейшее происходило будто и не с Белым. Даже не по гауптшарфюрера плану, а волей и вдохновением этого вонючки Сиротки. Потому что воля и решимость Белого внезапно растаяли, растворились в какой-то вязкой пустоте. В злобном безразличии к самому себе и своей судьбе. Что тут решать, если жизнь давно за него все решила... Будь как будет, будет же как-то, вот там, тогда все и будет! Это с ним уже случалось. Но с такой тупой, издевательской силой навалилась именно здесь — в самый решающий момент. А может быть, потому и навалилась, что момент был решающий. Как над ямой в Каспле: стрелять не стрелять? в кого стрелять? в себя? в Дирлевангера? в затылочек голого мальчика, который сидит лягушонком, колотится всеми позвонками и просит, плачет: «Дядя, хутчэй — дядя, скорей!..» Ты взял протянутый тебе парабеллум, еще потный от руки другого «иностранца», ты делаешь шаг, второй к яме — на вялых, без костей ногах, точно там поджидает тебя смерть, твоя собственная, оглушенно идешь к ним, раздетым, а все одетые — такие же, как ты, и они тоже дожидаются очереди, как и раздетые, но очереди не умирать, а убивать. Сам должен выбрать из сидящего надо рвом человеческого ряда, в кого будешь стрелять, — такое правило для новичков у Дирлевангера. А он стоит здесь же, близко, смотрит, сколько «мишеней» выбрал, «использовал». Двоих приказано, обязан, а больше — на твое усмотрение. Сколько выберешь — столько и сам стоишь в глазах немцев! И это тотчас оценивается — сигаретами. Передаешь пистолет следующему «иностранцу», а тебе — две сигареты. «Не хотел, кацап, больше, ну и

дурак! Во, смотри, учись!» И даже смешок среди тех, кто уже отстрелялся, стоят, верят и не верят в то, что делали и что с ними сделали, сделалось. «Дядя, скорей!..» В кого, в кого?! Все кричит в тебе. И такое злобное безразличие ко всему на свете: будто уже случилось, ты уже выстрелил. В немца, да, в Дирлевангера! А потом в себя! А кто-то твоей рукой вдруг стреляет в дрожащий над острыми темными позвонками детский затылочек. И уже ничего не может быть. Ничего!..

Партизан стоял во дворе, поджидал — не хотелось верить глазам, но это была правда, и Белый как-то вяло ужаснулся. Входили в распахнутые широкие ворота, по-волчьи теснясь и поджимаясь от опаски. Один Сиротка улыбался во весь свой жабий рот, выворачивая розовые десны — он тут свой, у него тут невеста, друзья! Партизан смотрел серьезно, но спокойно. У колодца привязан оседланный конь — белый красавец! На парне желтоватый китель, плохо, по-деревенски сшитый — не из одеяла ли немецкого? Но ремень командирский, со звездой, и портупея, а на плече ППД, какой Белый получил, когда ехал и не доехал, потому что война окончилась, — на финскую. На портупее, высоко на груди, прицеплена лимонка — грозная, как бомба, рубчатая Ф-1. (Да, это была его единственная подстраховка.)

Белый смотрел на партизана, как ни на одного человека никогда не смотрел. На его неправдоподобно простое, даже застенчивое деревенское лицо.

Вот человек, для которого будто и не было страшного сорок первого, когда рушилось все, а ты был только песчинкой. Откатывались и в плен попадали армии, что значили ты один или группка вас перед необъяснимой силой, навалившейся на все и всех. А они, вот такие хлопцы, дядьки или окруженцы, а то и просто школьники, подобрали в лесу винтовки, гранаты и спокойно похаживают по своей земле, как по своей. Дома и стены помогают. Хотя и пылают...

Вот тут бы и развернуться, и шарахнуть очередью по «своим»! Тогда в Каспле молил, уговаривал мальчонка: «Дядя, скорей!..» Выстрелил в него, а попал — в кого попал? Был на свете такой человек Белый Николай Афанасьевич — нет его больше!

Глаза партизана смотрели на устремившихся к нему убийц не то что с доверием или приветливостью, но с каким-то жутким непониманием и спокойствием. Что-то очень забытое, очень школьное и простецкое было в деревенском парне, обвешанном оружием, в его лице, глазах. Подбадривающая ирония и даже смущение оттого, что

«добровольцам» конечно же неловко смотреть ему в глаза — кому приятно быть сволочью! Простецкая улыбка: «Так уж, братки, получилось, что пришли вы ко мне, и спаситель ваш как бы я!» А возле него, против него переступали с ноги на ногу — тоже как бы смутившиеся — волки. Очень уж просто подпустил, легко подошли! И с волками бывает, что от близости, от внезапной доступности добычи, от жадной слюны вдруг сведет, замкнет пасть, и не открыть!.. Вот он здоровается со своими убийцами. (Сиротка первый подбежал и чуть не целует!) И твою — главного Иуды! — руку пожал партизан. Нет, не вам, а ему неловко! Одному за другим, всем восьмерым пожал руки. А Сиротка уже за спину зашел и там испуганно гримасничает. До чего же отвратительно может быть лицо человека! «Ничего, ладно, поехали», — сказал партизан и шагнул к оседланной лошади. Гады пошли, потянулись следом, а двое поотстали, будто еще что-то собираются делать, решают, решаются. Да кому решать, давно нет вас на свете, а есть такие же, как и остальные, «иностранцы»! Жадно толкаясь, толпой устремились за своим спасителем. А он еще наклонился и на ходу из темного ведра-бадьи, притянутого к срубу и зацепленного за крюк, захватил ладонью воды и бросил себе в рот. Как бы предчувствуя смертельную жажду! Оглянулся на хату, на окна: там белели лица женские, тревожные… Конь армейский, настоящий кавалерийский, — к нему, преследуя спасителя своего, хищно устремилась вся стая: впереди Сиротка, а позади всех — иуды, да, да, мы с тобой, дорогой поп! Партизан еще поправил стремя, не спеша, как бы оттягивая погибель, провел рукой по вздрагивающей спине лошади, а Сиротка и все за ним еще придвинулись. Сиротка канючит и похихикивает: «Хлопцы что надо, кадровики… искупят, воевать умеют… не пожалеете!..» Партизан ногу в стремя, чуть откинулся для размаха, а они и повисли на нем, рванули за плечи книзу. Он рукой к висящей на груди гранате — будто к парашютному кольцу! — почти успел, но удар в голову был страшный. На спину опрокинули, навалились, испуганно хватаясь за все еще упругие руки его, за ноги — вся «суровская пятерка». Только Сиротка за коня схватился по-барышницки — его трофей! Непонятно, как ему удалось, но партизан перевернулся со спины на живот, на локти, на колени и стал медленно приподниматься, отрываться от земли. Те, что, сопя и матерясь, возились на нем, не замечали, а Белый и сегодня это видит: перекошенным ртом парень тянулся, старался зубами поймать кольцо своей гранаты, вот-вот!.. Сколько раз Белый видел, да и сам испытывал ее — человеческую жажду спастись от навалившейся смерти. Но такого броска навстречу погибели — своей и врагов,

такого лица, рыдающего, молящего о погибели, не видел никогда! И тут прозвучал выстрел. Нет, не Белого, не Сурова — не по сволочам! Это Сиротка разглядел опасность — вот-вот разнесет всех в клочья грозная лимонка! — просунул ствол своей винтовки между борющихся тел и выстрелил.

Вскочили, отпрянули, кто-то с испугу уже замахивался на Сиротку: «Дубина, своих мог!..»

Потом партизан трясся с раздробленным плечом на телеге, вдали догорал двор, а каратели все веселились, «жалели» Сиротку: как-никак «его» хутор, «его» теща и Катька горят!

Страшнее всего было встречаться глазами с лежащим на телеге партизаном. Но приходилось, несколько раз. И когда он лежал в крови у колодца связанный, а в хате кричали, плакали женщины — туда уже побежали «люди Сурова». И когда возвращались, а маленький Циммерманн смешно учился сидеть в седле, и его хвалили, поощряли, заодно издеваясь над «конокрадом» Сироткой.

Не было больше деревенского парня с неловкой простецкой улыбкой, лежал и молча смотрел в небо, время от времени дико скашивая белки глаз на карателей, тот, кто ждет не дождется тебя в лесу. Да, Белый уже увидел глаза, которые встретят его и его адвоката Сурова, когда они наконец все умненько организуют и прибегут к партизанам...

* * *

В Печерске, когда взвод после бани, после именинного, со шнапсом, обеда по случаю «поимки Циммерманном бандита», малость утихомирился, Суров отыскал Белого и, пряча глаза, предложил «пойти куда-нибудь и обсудить положение».

— Может, международное?! — гаркнул на него гауптшарфюрер Белый и прошипел: — Поведешь снова щупать в сукне твою совесть?

Чуть не плача от ярости, предупредил:

— Ты на глаза мне не попадайся!

Отвел душу, но легче не стало. И уже не станет. Да, самое паршивое, когда уже не на что надеяться, рассчитывать.

И в лагере самое страшное было это, хотя что там не страшное было!

Вот это ты, неужели ты вот этот, ползающий среди источенных голодом полутрупов, обглоданных крысами оскаленных тел, которые не успевают вывозить на телегах, на машинах — существо, мечтающее сейчас об одном: поймать неуверенными слабыми руками толстую, теплую и злую тварь? И потом варить, варить в ржавой

банке за уборной, зная и совсем не думая о том, что место это давно пристреляно с пулеметной вышки. Выковыриваешь, выдираешь из затоптанной тысячами ног, исковырянной пальцами, изгрызенной зубами земли оставшиеся еще корешки, траву — тебя вроде и нет давно на свете, но ты все еще существуешь. Вцепившись вместе с десятком таких же костлявых и бессильных, тащишь, толкаешь телегу, доверху груженную трупами, а за тобой идут, тебя сопровождают, злобно понукают немецкие и ненемецкие голоса — откуда-то из другого совсем мира. Выстроив всех, кого вывозить на этих телегах не сегодня, а завтра, послезавтра, какие-то люди говорят речи, читают листовки о том, что военнопленные — предатели, которым нет и не будет прощения и пощады. Это было так все далеко, а лагерная погибель — вот она, рядом, но и это ложилось на душу, еще больше сгущая чувство беспросветности. Набирали людей сначала в «украинские формирования»: за спиной у ораторов-вербовщиков стоял стол, на котором разложены ломти хлеба, куски колбасы, хлеб с мармеладом, стояли кружки с кипятком…

В сибирской деревне, где прошло детство Белого, хватало переселенцев с Украины, и он знал и песен много, и слов, фраз, но чисто говорить по-украински не мог. А чтобы добраться до стола, если ты даже решился на еще одну безнадежность и бызысходность — самую последнюю, надо было доказать, что это твой язык. «Скажи «макытра», — весело злобствовали хозяева бутербродов. — Ну-ну, кацап, як воно у тэбэ получится?» У Белого получилось легко, и он тотчас все получил: хлеб с мармеладом, винтовку, Касплю, а за ней и все, что потом было и что продолжается… Как с горы понеслось! А сначала охранял тот же Бобруйский лагерь в крепости — тех, кто не захотел немецкого хлеба с колбасой и винтовкой и продолжали вымирать — по полтысячи в сутки. Город над Березиной еще тяжело спит, а пленных, кого еще можно поднять окриками и ударами, выталкивали с третьего, со второго, с первого этажей огромного и мрачного, как замок или тюрьма, здания и гнали на работы. Больше всего колонн движется в сторону реки, деревообрабатывающего комбината, по-здешнему — форштата.

Да, слово это, форштат, в Бобруйске для всех привычное, обжитое, еще довоенное. Ну, а война привела, вместе с армией немецкой пришли и все другие слова, без которых, как без выстрелов, ни одна колонна не доползала до места работы: цурюк! хальт! арбайтен! ферфлюхтер! шайзе! швайн!.. И пленные тащатся на работу, они «арбайтен», как неживые, — что почти соответствует их состоянию, но немцам все кажется, что над ними едва ли не

издеваются, что их дурачат эти упрямые полутрупы с пылающими глазами. А чем голоднее, тем ярче глаза, и тем с большей лютостью бьют, бьют, а палка, а приклад отскакивают от близких костей, и охраннику снова кажется, что сопротивляется, что мешает, не дает достать как следует!..

Охранников-ненемцев Белый делил на несколько гадовских категорий. С одними не хотел ничего общего иметь. Других считал такими же, как и сам: они тоже спрятались в немецкие шинели от лагерного ужаса и неизбывной голодной тоски, а сами все еще хотят верить, что это не окончательная погибель: надо только удержаться, хотя бы на самом краю — не свалиться назад, откуда выбрались, но и туда тоже, где самые гады. Все, что им приходилось делать, проделывали с внутренним ужасом, тоской и при этом вели свою безнадежную, но такую необходимую им бухгалтерию: а вот этого я не стал делать! сделал, но не так, как хотелось немцу! вот, я даже помог человеку! без меня ***нашим людям*** было бы еще хуже!..

У каждого свой чистюля Суров, бухгалтер и хитрец Суров, но где-то внутри, в кишках. Оттуда ты и выполз — из моей требухи, золотой чистюля! Друг с другом пошептаться боялись, так хоть с собственной кишкой. А что, она и есть самый надежный друг человеку! Раньше этого не знали, не верили, а немец показал, поверить заставил. Не в такое поверишь и еще не это увидишь — времена такие пришли, что на собственной земле сделался «иностранцем», ауслендером. И по немецким спискам, по их бухгалтерии, а для своих тем более!

Вон их сколько за спиной у тебя, целый взвод «иностранцев», разбавленных «майстэрами». Вроде бы по собственной земле шагают, да только нет земли, которая бы нас теперь признала своими. Это только Суров еще убежден, что не топчет ее немецким сапогом, а летает над ней невинным младенцем.

* * *

Как бы и что бы ни думал сейчас Белый, до тошноты отравленный самим собой — каким стал, каким его сделали, но жила и даже старалась укрепиться в нем все та же изначальная человеческая потребность верить, что он не самый худший. Что как раз он и есть не самый худший: он столько помнит случаев, когда мог сделать зло, другие делали, а он нет или не так охотно, как другие!

Но быть не худшим среди тех, там, куда попал Белый, совсем не сложно. Хотя бы не старайся сам, не лютуй сам, без приказа, и вообще не мсти вчерашним товарищам по голоду и лагерным мукам

за грязную свою сытость, колбасу немецкую и мундир немецкий — и ты уже лучше многих.

И совсем не сложно, не трудно было хотя бы помнить, как было тебе самому два месяца или две недели назад, когда тебя вот так же гнали на форштат работать и подыхать. Прежде чем сделал хотя бы одно движение, сначала должен показать себе, проявить в гаснущем сознании всю операцию, все действие руками, ногами, телом — от начала до конца. Представил, и уже кажется тебе, что проделал то, что громко, матерно приказывают, а сам, оказывается, все еще лежишь на земле или неподвижно стоишь над носилками, над бревном, над лопатой. Тебе кажется, что ты что-то делаешь, а им — что упрямишься, придуриваешься, вот он на тебя уже налетел, набросился, уже вбивает, вколачивает через твои кости, в твое ватное сознание боль, муку. И пристреливает. Нет, это не тебя, это другого, рядом. Но сейчас и тебя, сейчас!.. Тех, кто у воды, кто должен вытаскивать бревна, тех сталкивают с кромки льда в Березину длинными шестами, и они выползают на берег, облепленные почерневшими шинелями, но вылезти имеешь право лишь с бревном: волокут осклизлые, как трупы, или уже оледеневшие и тоже скользкие, тяжеленные бревна на берег, вцепившись синими руками, прильнув — слизь к слизи, а глаза все равно пылают...

А ты здесь, по эту сторону, где все гады, но где тепло, сухо, где сытно и тебя не убивают, не бьют, не сталкивают шестом туда, откуда недавно выкарабкался... Нет, сам ты не станешь ничего делать и даже, что прикажут, не все выполнишь, как хочется немецким командирам, но ты по эту сторону, и все, что тут происходит, делают, что задумывают делать, — все ляжет и на тебя.

* * *

Из показаний на суде бывшего заместителя коменданта Бобруйского лагеря для военнопленных № 2 Карла Лангута — 1946 год:

Вопрос*: Расскажите, как был подготовлен с провокационной целью поджог лагеря, в результате которого погибло большое количество военнопленных.*

Карл Лангут*: 4 или 5 ноября 1941 года ко мне пришел комендант лагеря полковник Редер и сказал, что со мной он должен побеседовать. Прежде всего он потребовал, чтобы я дал слово, что никому больше об этом разговоре не расскажу. Такое слово я дал. После этого Редер говорил, что командование отказалось давать транспорты для отправки военнопленных в Германию. Все*

военнопленные умирали с голода. Поэтому полковник Штурм, он был тогда представителем штаба по делам военнопленных, дал приказ уничтожить военнопленных лагеря № 2. Лагерь имел тогда 18 тысяч человек… Ко мне 6 ноября должен был прийти руководитель одной из зондеркоманд, которому я должен был показать казармы. Он должен был подготовить и осуществить поджог, причем сделать так, как будто военнопленные сами подожгли лагерь с целью побега. Руководитель этой зондеркоманды пришел ко мне 6-го. Я ходил с ним по казармам, затем на чердак третьего этажа. На чердаке находилась вентиляция. Руководитель зондеркоманды сказал, что 6-го ноября он привезет материал для поджога, а также горючее. Я пообещал, что буду при этом, когда он приедет. 6-го ноября он вернулся и привез материал для поджога. Он был еще с двумя человеками и сказал, что 7 ноября он все устроит и что моя помощь ему больше не нужна…

* * *

Суров находился на втором этаже «цитадели». В тот день, 7 ноября, на работу не выгоняли. И даже не вытаскивали во двор трупы, и машины забирать их не приехали. Трупы еще с вечера стаскивали, сносили к лестницам: живые отвоевывали себе место на нарах, под нарами, в проходах — на всех не хватало загаженного пола. К утру лестницы с третьего и второго этажей были завалены мертвыми настолько, что обычно с расчистки их и начинался день: иначе невозможно было выгнать на работу еще живых. Специальные рабочие команды разбирали завалы, возня продолжалась часами — с сопением, матерщиной, ударами палок. Казалось, что на лестницах натужно борются живые с мертвецами, а охрана их подгоняет, поторапливает.

В это утро никто не возился там, не слышно было немецких команд, не хлопали наружные двери, не ревели машины. Еще с вечера было объявлено, что «по случаю большевистского вашего праздника работы не будет, но и пищи не будет — можете отдыхать!..». Утро не наступало долго, в окна-дыры залетали мягкие хлопья снега, как бы загоняемые яростным светом вспыхивающих прожекторов. Снег таял на мертвых и живых от холодной духоты — и то и другое ощущалось одновременно: нечистое, больное дыхание многих тысяч тел и озноб сквозняков. Суров с вечера добыл себе местечко на нарах, ради этого пришлось повозиться с мертвыми. Потом лежал в нескончаемом голодном полубреду, пока не пошел снег и не стали залетать в окна мокрые хлопья снега: к ним потянулись,

поползли — вода! Неумело и жадно ловили яркий, злобный луч прожектора — десятки шарящих, летающих над головами рук. Потом снова лежал, но уже на полу, на чьих-то холодных ногах, спинах. Очнулся от толчков, от сиплых криков: «Горит над нами!..», «Пожар наверху!..»

В оконных проемах был уже день, и все так же шел снег, а вместе с ним опускался и дым, откуда-то сверху. Где-то левее слышен был человеческий гул, странно ровный, бессильный.

Те из пленных, кто были у окон и могли что-то разглядеть во дворе, сообщали: «Крыша, там, слева!..»

А в коридоре, у лестницы люди уже сбились в бессильно-яростный ком. Через мертвые завалы живая шинельная масса медленно сползала вниз. Толпа напирала, протискивала сама себя сквозь щель, которая не расширялась от этого движения, напора, а наоборот, сужалась — как полынья от наледи в трескучий мороз. Суров снова почувствовал себя живым, это всегда вспыхивало заново, когда гибель была особенно близка и казалась неотвратимой. Он ничего не ощущал, кроме бессильно-яростной гримасы на собственном лице, ничего не слышал, кроме своего голоса, — и то и другое сливалось в одно: «Что ж вы, сволочи, кто там не идет, кто держит, да отбросьте его, гада!..» Дым через окна глубоко проник в здание, забивал глотки, проникал в самую душу, и казалось, что несокрушимо тяжелое здание огромной «цитадели» раскачивается, как корабль на воде — от тысячетелого движения, тысячеголосого крика.

* * *

Из показаний Карла Лангута *(продолжение). «7-го числа в 15 часов фельдфебель доложил, что правое крыло казармы горит. Я позвонил зондерфюреру Мартынюку в пожарную команду, и Редер мне приказал по телефону, чтобы я вместе с Мозербахом, который являлся вторым лагерным офицером, и двумя переводчиками пошел в казармы и выгонял всех военнопленных во двор. Я с Мозербахом туда пошел и увидел, что третий этаж горит. Я пошел в барак военнопленных, который также горел, и вместе с переводчиком гнали людей сверху вниз. Понятно, что 18 тысяч человек не могли сразу сойти вниз. Люди с первого и второго этажа стояли на лестнице и загородили собой выход для пленных, размещавшихся на третьем этаже. Погода была очень плохая, никто из военнопленных не хотел выйти на улицу, в силу чего выход военнопленных из казарм продолжался очень долго. Таким образом, только несколько тысяч военнопленных вышли на улицу…»*

* * *

Белый стоял на крепостном валу из красного кирпича, отгороженном от двора колючей проволокой. Два ряда проволоки внизу, а красный вал, стена над ними. Снег мягкими беззвучными хлопьями ложился на рукава немецкой шинели, мокро прилипал к железу и дереву винтовки. Впереди чернело из-за снежной пелены высокое, как замок, огромное здание — центральное в крепости. Главная казарма, «цитадель», выстроенная по-тюремному, буквой «П», всегда так грузно сидела в центре огромного двора, крыльями своими выгораживая еще один двор, поменьше. А сегодня Белому даже чудилось, что это не снег рябой пеленой опускается, а «цитадель» медленно-медленно отрывается от земли вместе с тянущимся к небу дымом и криком.

В этом здании в 1940 году «квартировал» младший лейтенант Николай Белый. В крепости тогда располагались два полка 121 дивизии: гаубичный и его, Белого, пехотный. Как раз вон там, над котельной — рядом с квадратной трубой, на которой цифра «1925», было его окно. Горит его этаж, уже и на левое крыло здания перебирается пламя, а дым становится все смолистее, чернее, а жуткий человеческий вой все нарастает. Во дворе толпятся пленные, их пока немного, до жути мало их, если знать, сколько остается там, в горящей «цитадели». Из дверей вырываются, выдавливаются еле-еле, а здание такое огромное, а дверей с этой стороны только две!

Когда военнопленный Николай Белый жил в этом здании, ему доводилось ночевать и на втором, и на третьем этажах, и в том и в другом крыле... Где он был бы сейчас, если бы не стоял здесь — в немецкой шинели, с русской (но теперь тоже немецкой) винтовкой? Где-то и Суров там, если еще жив. Пламя из окон третьего, а справа — и второго этажей рвется клубами, черно-красными, жирными, жадно трещит, тошнотно-сладкий, близкий запах гонит слюну, выворачивает желудок. А тут еще икает кто-то рядом — толстый, краснощекий немец.

— Краски горят, — упрямо поясняет какой-то идиот в желтоватой «добровольческой» шинели, такой же, как у Белого, — краски немцы сложили для Красного Креста, а коммунисты залезли на чердак и подожгли.

— Какие краски, что ты плетешь? — не выдержал Белый.

— А такие, что я видел, как носили. Комиссия Красного Креста приезжает, хотели ремонт «цитадели» делать к Новому году...

Смотрит, видит, даже носом обоняет страшную правду, а все

равно бормочет какую-то чепуху и трусливо ищет поддержки, согласия в глазах тех, что рядом стоят на валу крепости и тоже все видят и знают. А ты, ты сам что пытался делать, когда скомандовали «фойер!» и у ног заработал немецкий пулемет? Целился и стрелял в квадратную трубу котельной? В знакомую цифру «1925» — в трубу, в цифру, в цифру?! Я, Белый, не виноват, не я виноват, я не стреляю в своих, в своих, в своих!.. Куда только не залезет, за что только не спрячется человек от правды, когда она вот такая!

Скомандовали стрелять не сразу, а когда огонь уже яростно пожирал второй этаж и дым тяжело пополз на город, а во дворе, охваченные каменной буквой «П», столпились уже тысячи пленных — тех, что как-то выбрались, вырвались из «цитадели». Пленные, которые оказались ближе к ограде, проволоке, к крепостному валу, уже ощущали, сознавали, что для них самое тревожное не позади, не там, где с яростным трещанием пылает «цитадель», а здесь — вот эта зловещая тишина по другую сторону колючей ограды. Прямо перед ними стояли немцы, «добровольцы», чернели пулеметы…

Так и стояли по обе стороны двойной ограды, тех и других разделяло пять метров — два ряда колючей проволоки.

Горящие глаза, темные и мокрые от тающего снега лица, вычерненные грязью, сажей и неизвестно чем шинели и гимнастерки, у многих босые или в тряпье ноги — все это колыхалось, перемещалось, зажатое крыльями «П»–образной «цитадели». Те, что ближе к проволоке, к красному кирпичному валу, глазами встречались с немцами, с «добровольцами»: «Что же это вы делаете? Что еще задумали? Вы же задумали еще что-то!..» — «Нет, это вы и ваши коммунисты! Гляди, чего надумали!..»

А когда скомандовали «огонь!» и на крепостной стене заработал пулемет — хлестанул в упор, людская масса на миг замерла, казалось, что это удивление ее удерживало в неподвижности, но тут же сместилась, хлынула вправо, потом влево… А пулемет бил, бил в упор, по толпе, которой деваться некуда, люди падали, падали и оставались на земле, как камни после внезапного отлива. Белый вместе с другими стрелял. Посылал и посылал выстрелы в цифру «1925», высоко поднимая винтовку. Потом он часто повторял, мысленно — себе и кому-то еще, не зная кому, — что стрелял в трубу, она и сейчас там, с цифрой… Точно на свидетеля ссылался. Какие уж тут свидетели! Особенно после Каспли. Да и разве одна была Касплян? Сладкий, тошнотный запах, смолисто-жирный дым не отстает, тянется следом — по всей Белоруссии. Он уже кругом, посмотри! Посмотри, Суров.

* * *

Когда ударил пулемет, сразу заглушив смолистый треск пожара, Суров был далеко от крепостного вала, ограды. Он в числе последних выбрался из удушливо черного дыма. Целую вечность выбирался и не раз уже готов был поверить, что все, конец, и ничего больше не надо, не хотелось ничего, только бы не слышать этого стона вокруг и в самом себе — ползущего вниз стона и воя, рвущегося к спасительному выходу. И вдруг, раздавленный, с выбитым плечом выброшен под задымленное, но все равно такое просторное, широкое небо. Страшный двор лагеря показался свободой, спасением. И тут ударил пулемет, и толпа отхлынула, понесла и его куда-то влево, к воротам. Пулемет грохотал сбоку, справа, но вдруг замолк и точно забежал наперед — от лагерных ворот ударил. Пули мокро, обиженно, без разгона и взвизга хлюпали, задерживаемые стеной из человеческих тел. Оставляя под ногами и позади убитых и затоптанных, людская масса хлынула в противоположный конец двора. Теперь пулеметы гремели сзади и слева, и тут же, еще один, опять встретил бегущих огнем в упор. Бежать было некуда, да и некому уже: повалились живые среди мертвых, раненых, в окрашенный кровью грязный снег. Еще метались, бежали, ползли люди по заваленному телами плацу, а Суров лежал и ждал, когда вздрогнет и его туловище, его голова, нога, рука от удара, как вздрагивают, дергаются у тех, что рядом и на нем лежат. Стрельба не утихала. Лежал, и ему делалось все теплее — от подтекшей крови. Коленям, рукам было совсем тепло. Руки, лица лежащих под ним, рядом, на нем были мокро-холодные, а кровь все равно теплая, живая — он еще удивился, еще подумал об этом.

Он потерял ощущение времени, забывал и снова вспоминал, где он и что с ним, к нему приходила мать в белом больничном халате, щупала голову, озабоченно брала руку, а перед этим привычно грела свои руки дыханием и прикладывала к худенькой своей шее — она всегда так делала, когда с холода входила к больному. А когда в сознание снова возвращался лагерь, трупы вокруг, ярко пылающая, как смолой налитая, огромная «цитадель», сын пугался, что и она, и она здесь, спешил расстаться с видением — открывал глаза и смотрел на клубящееся, подсвеченное заревом вечернее небо. Черный дым уносил в небо зловещие, мечущиеся отблески. Еще стреляли из винтовок, иногда потрескивали автоматные очереди. Трассирующие пули втыкались в клубящееся небо и сразу гасли. Удушающий запах горелого мяса забивал нос, рот, жирно налипал в глотке, тошнотой заполнял пустой желудок…

Утром он очнулся, услышал живые голоса, стоны, всхлипывания.. Трупы закаменели, и он под ними закоченел на осолодной, как железо, земле. Где-то разговаривали по-немецки, а кто-то, поднявшись, жалобно попросил: «Переведите нас в первый лагерь», и Суров понял, зачем это говорится. Будут сейчас добивать, достреливать, уже машины подгоняют — будут вывозить трупы, а уцелевших добьют. Они уже поднимаются, кто живой, не все сразу, но когда поняли сами, что их еще много, и догадались, что, может быть, в том и спасение, что их много, слишком много, подниматься стали и раненые, тяжело раненные. Вылез из-под убитых и Суров, долго не мог разогнуться, встать на ноги, должен был сначала посидеть на ком-то. Сидел, как на сваленном дереве, и смотрел, а перед ним неоглядные груды тел и кое-где поднимающиеся, пошатывающиеся фигуры в обвислых, рыжих от подпалин шинелях.

Господи, да сколько же может вынести человек?!

Он вынес еще и бесконечную дорогу от Бобруйска в сторону Глуши, Слуцка. Живых было, набралось все еще много, хватило почти на сто километров — по тридцать — сорок трупов на каждый километр. Весь город задыхался от трупного угара, жители провожали колонну уцелевших военнопленных с каким-то новым ужасом в глазах, а немцы, охрана, будто застеснявшись, впервые за все месяцы организовали даже подводы для тех, кто не мог идти сам. За городом подводы протащились — не больше пяти километров. Колонну остановили, часть немцев побежала в лес и сразу же стали гнуть березки и ломать, выламывать палки. А другие сгоняли, сбрасывали с подвод ослабевших, раненых. Люди старались показать, что могут, что и они смогут идти на своих ногах, прорывались в колонну, а их отталкивали, швыряли в канавы. И стреляли. Длилось это с полчаса. А дальше погнали колонну уже без обоза, но зато в руках у каждого немца была толстая березовая палка. Любят они березу: и на могилках немецких обязательно березовые кругляички, оградки, и тут все выбрали только березовые палки.

После, вспоминая страшную «варшавку», асфальтовую дорогу на Слуцк, Суров яснее всего видел не убитых, достреливаемых, не выбегающие к шоссе деревни — через поле бегущих баб с хлебом и чугунками, детишек, по которым охрана открывала пальбу, — а тот момент, когда немец вдруг останавливался, точно решив что-то для себя, бросал на грудь автомат и брал в обе руки свою палку. Люди шли к нему, а он опускал, поднимал и опускал на головы тяжелую палку, крякая, как лесоруб, а на распаренном лице, в налитых красной слезой глазах было: «Это вам за пожар, за поджог, за то, что

вас так много и мне надо вот это делать — бить, бить, бить!..» А ты шел к нему и не мог не идти.

Потом было голое поле, огороженное в два ряда проволокой и еще без пулеметных вышек. Охрана ходила снаружи, мерзла и дожидалась, когда наконец вымрут все еще живые две тысячи пленных. Люди, кто мог, зарывались в землю, процарапывая мерзлую пахоту и заодно съедая корешки и все, что попадалось. Там и остались они, спрятавшись в норах-могилках от холода и немцев. А Сурова кто-то растолкал пинками, поставил на ноги рядом с кем-то еще. Он услышал: «Кто хочет жить?..» — и еще что-то, потом их повели, он оказался в теплой бане, и когда, все еще не веря в реальность происходящего, стаскивал, обрывал с себя сопревшие клочья гимнастерки и уцелевшие ошметки брюк, вдруг вспомнил, вяло схватился пальцами, стал искать: «Здесь! Здесь она!» Кусок рванья, в котором прощупывалась помятая книжечка, унес с собой, как бы вместо мочалки, а потом незаметно сунул в карман своего нового, «добровольческого» кителя.

Только тут дошло до него, на что решился и как это называется. Но он знал, знал себя, знал точно, что стрелять в своих не станет.

* * *

Как знали точно и Белый, и другие — сотни, тысячи других.

Самое гадостное состояние, когда ты уже ни на что не надеешься, а тебя снова поманила судьба, снова вдохнула в тебя надежду — будто с петли сорвался и дышишь, дышишь, дышишь! — но тебя схватили, подняли и снова тянут к удавке. К «вдове» тянут. Как последний раз было в Печерске, когда вешали командира украинского взвода Куксенко «за оскорбление фюрера и райха» матерным разговором с портретом «Гитлера-освободителя». Со стенки казармы взирал выпученными глазами на возню с казнимым пострадавший — тот самый «освободитель», смотрел с гордым поворотом головы и плеча и, пожалуй, неодобрительно и как бы готовый разгневаться. Повесят еще одного и разойдутся по своим делам, а ему торчи целый день напротив преступника, который все дразнится, язык показывает! Но немцы, если это происходило в Печерске, «вдову» устанавливали всегда в этом конце двора. Чтобы фюреру хорошо видно было. Процедура отработана в деталях, повторяется, как церковная служба. Батальон, выстроившись прямоугольником, замирает, как перед молитвой, а потом немецкий голос и следом переводчика голос сообщают, что такой-то есть агент, что он распространял, выражал, хотел, пытался... И вдруг голос

самого Дирлевангера — как с неба: «Фортретен!» Все иностранцы и без переводчика знают, усвоили, что это означает: «Шаг вперед!» Казнимый, который одиноко стоит (если еще в состоянии стоять) в квадрате шеренг, делает шаг по направлению к дожидающейся его «вдове». И снова зачитывается приговор, опять прерываемый дирлевангеровским: «Фортретен! Марш!» Пока не подойдешь так близко, что «вдова» сможет тебя обхватить за шею…

Большой он фантазер, этот Дирлевангер. Любит всякие штучки. Даже и для немца небезопасные. Весь батальон знает, что живет у него, при нем, привезенная еще из Польши молоденькая Стася: говорят — еврейка! А за компанию и еще пятерых в подвале держит, но эти специалисты, незаменимые сапожники. Давно гром мог грянуть над штурмбанфюрером, не выручат и классные сапоги, которыми он одаривает могилевских генералов. Но пока сходит с рук. А доносы, наверное, идут, эта система у них отлажена не хуже, чем боевое снабжение и все прочее.

На фантазии, на штучки штурмбанфюрер неистощим. Хотя бы эти вот страшные, бесконечные Борки! Вел он себя последние недели непонятно. Партизаны сожгли на шоссе неподалеку от Борок две машины, перебили ехавших в Кировск бобруйских полицейских. За это выбили, выжгли деревеньки, которые расположены от шоссе дальше, чем Борки, а их не тронули: сказано было, что это полицейская деревня. Гауптштурмфюрера Барчке Дирлевангер едва не застрелил за то, что он по собственной инициативе нахватал в Борках молодежи, а когда стали убегать, многих перестрелял. Барчке неделю ходил с синяком и без очков — хорошенько саданул ему штурмбанфюрер рукояткой «вальтера». Под горячую руку охотника, у которого едва не спугнули крупную дичь, угодил старательный Барчке. Похоже, что для Дирлевангера деревня эта значила больше, чем другие, которые сжигали не задумываясь, убивали с налета. Здесь он не спешил, даже вроде бы растягивал всю процедуру. Долго вокруг да около ходил, обнюхивал, примеривался…

Штурмбанфюрер этот, не поймешь, нормальный или псих. То совсем не смотрит ни на что, не слышит ничего — стоит или сидит, как идол, то вдруг начинает трястись, орать, размахивать длинными руками, даже колени, выпирающие на тонких ногах, как у огромного кузнечика, начинают друг дружку обстукивать. Длинный, тощий и неутомимый, он на самом деле напоминает нескладное и неожиданное в движениях насекомое с пронзительными и недобрыми голубыми глазами.

На этот раз он даже речь держал — перед офицерами, немцами

и «иностранцами». Такого еще не бывало. Собрались в офицерской столовой, но все не начинался инструктаж, Дирлевангер сидел за отдельным маленьким столиком, тянул пиво, которое перед ним поставили, и смеялся неожиданно громким смехом. То, что ему рассказывал сидевший за его столиком сердитый с виду толстяк с дубовым листом штандартенфюрера в петлицах, судя по всему, не было ни веселым, ни забавным. Но Дирлевангер нервно вскидывал прямыми плечами и пугающе громко смеялся. Говорили, что гость прямо из Берлина приехал и что они старые приятели, хотя толстяк на два ранга выше штурмбанфюрера. Потом подозвали штурмфюрера Муравьева, Славу Муравьева, который в батальоне помогает Дирлевангеру командовать «иностранцами». И переводчика-латыша. Муравьев подошел по всей форме: каблуками щелкает не хуже немцев, но языку ихнему все еще толком не выучился. О чем-то говорили с ним, а латыш-переводчик помогал, отвечал Муравьев как-то даже неохотно, с лицом спокойным и хмурым. Без подобострастия. «Иностранцам» нравится, что их командир такой независимый, а потому он для них «наш Слава», «наш Муравьев» — еще одно утешение для дураков. С удовольствием шептались про случай, после которого штурмбанфюрер взял его из ротных в батальонные командиры и повысил до штурмфюрера. На Дирлевангера и такое находит: вдруг нальет зельтерской стакан и поднесет младшему чину. Растерявшийся, обрадованный таким уважением, вниманием дурачок возьмет и выпьет, и бормочет «данке». А штурмбанфюрер наливает еще. Кто посмеет отказаться? А хозяин уже пододвинул, собственноручно, другой сифон... Укатать может одной только улыбочкой своей, голубоглазой! А Муравьев сразу нашелся, не принял стакан и будто бы сказал: русский не немец, а вода не шнапс!

Заговорил, начал речь свою Дирлевангер сразу, едва лишь от стула оторвался, длинное туловище еще и распрямиться не успело, тяжелый рыжий переводчик еле поспевал — испуганно подхватывал, выкрикивал фразу штурмбанфюрера:

«Я еду в Берлин... О нас знают... Получим тяжелое вооружение, в каждой роте будет тяжелый взвод... Эти Борки будут учебой и экзаменом... Радость участия в исторических акциях... Наш опыт бесценен... Что значат какие-то инструкции! (Ткнул пальцем в небо, но без всякого уважения.) Мы разведка, дальняя разведка. Думают (посмотрел на потолок), что главное на фронте. Вражеских солдат в России осталось на один хороший удар. А врагов — все еще десятки миллионов! Мы первые солдаты главных сражений, будущих. Ваши дети будут говорить: мой отец прокладывал путь! Хо, инструкция!

(Презрительно махнул рукой куда-то вдаль.) Их списывают с наших отчетов. Завтра в Борках мы покажем, что умеем. И сами увидим, чему научились. Берлин ждет…»

* * *

Теперь Дирлевангер носится по поселкам, появляется то там, то здесь, собирает урожай для своего Берлина. Приказал, передали, чтобы все взводы, которые освободились от работы, стягивались к центральной усадьбе. Туда и направляется Белый, сняв свой взвод из оцепления. На «его» поселке, самом большом, сегодня работала немецкая рота. Белый прикрывал ее от леса.

Все делается сегодня основательно, даже торжественно. Еще до рассвета начали окружать Борки: путаница, метания по полевым дорогам на машинах, чтобы заткнуть все дыры. А когда все замерло на поселках, Дирлевангер проехал на бронетранспортере через все Борки. Он стоял в бронированном ящике, как в гробу. А кругом — ни души. Засветились ракеты, одна, вторая, там, здесь, ближе, дальше — и началось, приступили. В поселке, за которым закрепили и взвод Белого, немецкая рота действовала способом «обслуга на дому». Веселые, гады! Немцы ходили по дворам и не спеша осматривали сараи, погреба, загоняли всех в хаты («Нах хаузе, матка!»). Выстрелы звучали во всех концах деревни, но заглушённые стенами домов.

Взвод Белого располагался на опушке так, чтобы и от партизан отбиваться, если подойдут, и не упустить убегающих из деревни жителей. Немцы чисто работают, внимательно, но и от них всегда кто-нибудь спрячется, уползет, убежит — для этого и раскидывают оцепы со стороны леса или болота.

Конечно, побежали, и твой взвод (а скоро будет и рота, твоя рота!) стрелял, ловил и делал со своими людьми то, что нужно Циммерманну, Дирлевангеру, немцам. Только кто вам свои и кому вы свои? Это Суров все еще убежден, что его примут как своего. И тебя почти уговорил верить. Словно ты все тот же Николай Афанасьевич Белый. Прежний Белый от тебя так же далек, как и Коленька, у которого в детстве всегда болели уши, которому мама обвязывала на ночь голову мягоньким своим платком и защищала «младшенького», «слабенького» от насмешливых братьев. Перерос их всех, вымахал почти в двухметрового Николая Афанасьевича. Но нет никакого Николая-Коленьки, и нет у нас матерей, разве что «вдова», вот она и приласкает, если затоскуешь! Думал, что со своим здоровьем и характером действительно и царь, и бог, и воинский начальник, а что получилось? Куда вышел, куда вынесло? Какой-то псих-немец, откуда-

то из-за Эльбы, а сам ты с другого конца света — из-за Енисея, знать его не знал и не хотел бы знать, но чужая сила вас свела, и делаете одно дело, и нет, не бывает дел страшнее, гаже! Эта жаба широкоротая даже не искала тебя, сам нашелся, прямо к нему тебя вынесло. И в Каспле он ни слова не сказал, даже не командовал, стоял и смотрел, а делалось само. Тебя подобрали на дороге, как потерянный винтик, примерили, смазали маргарином, сунули в свою машину. И сидишь, как на своем месте. А на чьем же, если сидим? Только тот дядька, смешной и нелепый со своим громким криком: «Што вы, люди? Да што вы, люди? Я ж не сумею, каб дитё ды забить!», — вот он не ввинтился, не подошел, его засунуть, ввинтить не удалось — тут же застрелили и столкнули в общую яму. А ты все прикидывал, решал: «Кого? Себя, в голову? Повернуться и в немца! Пока успеют прострочить...» Глянули детские, молящие глаза, из-за сведенных лопаток выглянуло личико перекошенное: «Дядя, скорей!..»

Скорей ввинчивайся, потом пойдет легче, проще, а не пойдет — есть шнапс, все равно не пойдет — есть «вдова»! Или как немцы ее называют — «витвэ».

Сделали дело и бежим дальше, как гончаки! Куда хозяин направил. А может, ты в партизаны бежишь? Давай жми, расскажешь им, как вешали их разведчика и как тебе жалко было, что у него заплывшие от побоев, запухшие глаза, и он не мог тебя разглядеть. А ты — подбодрить, помахать ему ручкой.

А ведь что получилось, получается? Всякий теперь имеет право сказать, что Белый очень старался, когда ловили партизана. За так второй серебряный квадратик обершарфюрера и «русскую роту» в придачу не дают. А Циммерманна и отпуском наградили. И Сиротку повысили — в холуи к Барчке. В одной с ними компании! Зато Суров и на этот раз в сторонке.

Чистенький остался.

Ну, и далеко ты забежишь, все такой вот чистенький?..

Взвод Белого подходил к зеленому, в садах поселку, который вспОлз на пригорок. По голосам, перекликающимся во дворах, на огородах («Пэтро, мэду хочешь?..», «Привяжи, привяжи пчолок, а то, гадовки, покусают!»), понял, что здесь мельниченковцы работают. Машины вдоль пустой улицы выстроились, шоферня, наверное, по погребам шарит, орудует, а сама рота слышна где-то за горкой. Гудит за селом, как во время молотьбы, когда в поле перемещаются деревенский гул, голоса, крики. А коров, скот уже угнали. Не знаешь, как ступить, чтобы не влезть в свежее дерьмо, не наступить, не поскользнуться. Заохали, заприплясывали «майстэры» — немцы, ищут

щепочку, дергают, ломают ветки вишен, чтобы соскрести с сапог лишнее. Другие, кто попроще, просто стряхивают, дергая ногой.

— А ну, подтянись! Что задергались, как кот на дожде? Чистюли!

Глянул на Сурова. И добавил:

— Влез, так не трепыхайся!

Уходить, смываться побыстрее. Работа в разгаре, того и гляди немец какой налетит, завернет, заставит помогать. Выстрелы пока одиночные: загоняют в тот, наверное, сарай, только крыша и виднеется отсюда.

Слышно, как за спиной кого-то на воспоминания повело, и все боится, гад, что не поверят, громко убеждает:

— Романенко соврать не даст, мы с ним были, послали нас разведать. А там прошел уже батальон, не наш, говорили, что Зиглинга, так ничего не осталось от деревни, один только сруб без крыши, обгорелый. Амбар или сарай. Романенко подсадил меня, я глянул сверху — ну, не поверите! — как кочаны белые. Дожди прошли, сажу смыло, а их столько набито, что стоят, не упал никто — только головы, как капуста. Я говорю: «Романенко, глянь ты!..»

— А ну, кочан дурной, заткнись!

Уходить надо правой стороной, через поле. Сюда и улочка убегает. Чистая, незаляпанная — «майстэры» обрадуются, решат, что ради них, оберегая их сапоги, свернул сюда.

А крики, завывания, выстрелы слева за горкой становятся громче, сильнее. Уже пачками выстрелы. Не ладится, видимо, у мельниченковцев, не хотят люди добром заходить в сарай. Уже видно, как бегают там, мечутся. Сразу слышнее, громче все делается, когда глазами видишь толпу. «Майстэры» морщатся и вздыхают. Где их дом, их Германия, фюрер, а им тут надо быть — среди «иностранцев». А что, если не пожелают дальше их работу делать? Неужели не боятся, не думают? Самый старый из немцев, прихрамывающий Отто Данке машет на каждом шагу головой. Как лошадь в жару. Огорчен, в осуждение?

А может, хочет убедиться, на месте ли его кочан.

Уже вышли на картофельное поле и прошли метров сто, удаляясь от сарая и криков, винтовочных выстрелов, когда там что-то случилось. Загрохотало, застучало и понеслось к лесу эхо пулеметной и автоматной стрельбы, а по полю уже бегут — черным крылом устремились к лесу люди. Сорвались, побежали — видно, все до конца поняли и не удалось мельниченковцам затолкать их в сарай. Чего доброго теперь и взводу придется участвовать! Бронетранспортер откуда-то выкатился, густо пыля, понесся по полевой дороге, сечет из

крупнокалиберного пулемета. А свои гады даже команды Белого не дожидаются: схватились за автоматы, сдергивают с плеч винтовки, уже стреляют. Поймал взгляд Сурова, и показалось, что нехороший он, мстительный и запоминающий: вот что твои делают, твой взвод! Суров тоже снял с плеча винтовку, куда-то высоко направил — как Белый когда-то в трубу, в цифру «1925»! — выстрелил и снова глянул на Белого. Ну-ну, поиграй, посмотрим, что дальше будет, как у тебя без Белого, без моей опеки получится!

А гадам уже весело: там впереди всех бежит высокий мужик в нательной рубахе — мишень заметная, и каждому хочется проверить свой глаз, руку, опередить своим выстрелом соседа. Даже толкают друг дружку от нетерпения. Как на том хуторе, когда стаей шли следом за партизаном к его лошади... А у высокого мужика еще и ребенок на руках: несется к лесу, держа перед собой, высоко вскидывает колени, а трассы пуль обтекают, обгоняют его, пронизывают бегущую толпу, прореживают...

Вдруг что-то произошло, даже стрельба поутихла. Серый конь пронесся по полю. Конечно же тот самый, что забрали у партизана, а на нем Мельниченко — этот дурила и летом не снимает казацкую папаху! У Циммерманна перекупил коня, за золотые часы. Носится Мельниченко по полю, на котором снопиками лежат люди, никто уже не бежит, и рослого дядьки с пацаном на руках тоже не видно. Видно только, как ползут в черное и белое одетые люди, переползают с места на место, а туда уже бегут от сарая мельниченковцы — следом за своим кавалеристом –«фюрером».

— Николай, — снова по имени обратился Суров, — немец Поль сюда катит, на бронетранспортере.

— И что?

— Как бы не погнал и нас.

— Погонит, и пойдешь! А ты что думал?

Все его Полем называют — гауптшарфюрера Тюммеля, мельниченковского шефа: все с ним запанибрата, наверное потому, что пропойца, каких среди немцев поискать. «Пьян, как Поль» — высшая оценка в батальоне. И вечно с ним всякие истории приключаются. Однажды его чуть не украл какой-то дядька. Проезжая мимо, шибанул санями по ногам, тот и ввалился, грузный, как кабан, а дядька по коню, по коню — еле догнал и выручил дружок Мельниченко. А может, и сочинили пьяные герои!

Вон катит в своем грязно-зеленом железном гробу, сюда устремился. Пистолетом тычет, толкает водителя в спину, как сибирский купчишка ямщика, и матерится по-русски так, что за сто

метров слышно.

Крупнокалиберный снова ударил в сторону леса — вот бы залепил, залепить бы по дураку в папахе, что носится на белой лошади! Поль метнулся от водителя к пулеметчику, долбит по каске своим пистолетиком. И вот уже на Белого орет: так-разэтак вас, варум нихт арбайтен, почему-распочему?..

А водитель уже развернул свой гроб позади взвода, и Поль теперь как бы гнал взвод Белого впереди себя к сараю. У Поля глаза навыкате — фюрерские, в придачу и усики себе завел фюрерские, а при его широкой красной физиономии и коротком теле фюрер получился совершенно как мясник!

Возле длинного, с провисающей соломенной крышей сарая несколько немцев и мельниченковцев стоят у подпертых задним бортом машины ворот: видимо, когда люди бросились бежать, тех, кого все же загнали в сарай, заперли таким вот способом. А один щенок стоит среди двора и палит из винтовки в поле — туда, где немцы и мельниченковцы, пьяно пошатываясь, бродят среди разбросанных по всему полю тел и стреляют в землю, добивают. Белый выхватил из-за пояса длинную гранату-колотушку и с удовольствием огрел мельниченковца по потной голове:

— Куда стреляешь, падло? Куда, спрашиваю?

Сарай с подпертыми воротами молчит, запертым людям хочется надеяться, что о них забыли, и они молчат. Только несколько плачущих детских голосов доносится из-за стен.

Немец-шофер подает из кузова бронетранспортера канистру с бензином, а Поль, бешено выкатывая фюрерские глаза, показывает, чтобы кто-нибудь из солдат Белого принял ее и облил стены. Пьяные мельниченковцы ничего не видят, не соображают, а взвод Белого тоже не приучен за других стараться. Ждут, гады, чтобы приказал шарфюрер! Там, на поле, не ждали, настрелялись в охотку. Но они сильно недолюбливают мельниченковцев, от которых лишь недавно отделились, и никто не спешит опередить бандеровцев, подменить, работать за них. Должен Белый приказать, чтобы приняли канистру и облили стены сарая, в котором заперты люди. На него смотрят. И Суров тоже. Вот и еще одна Каспля, которую Белому брать на себя. Поль, таращa глаза, размахивая пистолетиком, фюрерским криком перебирает все «мать-перемать», какие только знает, помнит.

— Суров! — назвал Белый. Голос его (сам услышал) прозвучал коротким выстрелом. — Суров! — повторил, как нашел, обрадованно. И все, и конец! Давно всему конец. Да, да, ты! Не смотри, точно ослышался или оглох. Кажется, другого Сурова здесь нет!.. — Я,

кажется, ясно приказал? Чего ждешь?!

С радостной злостью глядел на золотые стекла. На посеревшем лице растеклись близорукие, но разглядевшие что-то ужасное, последнее глаза Сурова. Да, да, ты не ослышался — я приказал! Не обознался — это я, Белый, перед тобой! Вот твоя Каспля, Суров. Ну, решай. Теперь ты. В кого выстрелишь прежде: в Поля, в меня? Решай порасторопнее, а то Поль лопнет скоро от крика и гнева или сам пальнет из пистолетика.

— Действуй, Суров, ручками, ножками!

В лицо краска, кровь вернулась, просто видишь, как перекачивается она по нему: из головы в ноги, из ног в руки — давай качай, решай давай, Суров! Твоя Каспля подступила. В руках оружие у тебя. Сделай; если сможешь, и за меня. Чего я не смог. Только куда тебе — с такими-то глазами, с лицом таким!..

Поль уже сосредоточил свое пьяное внимание на Сурове: на него орет, в него тычет парабеллумом. Но разлившиеся за вспотевшими стеклами суровские глаза ничего не видят, не слышат, а только Белого. Кажется, оглушен человек, заранее оглушен тем, что он сейчас сделает, — и потому делает.

Цепко схватил канистру, будто век шофером работал и точно в ней все спасение его. Но сначала поставил ее на траву, чтобы закинуть за спину винтовку. Не нужна Сурову винтовка, мешает. То-то же, такие мы, мой дорогой поп! Еще раз, последний раз на Белого глянул. И схватил канистру.

Прогнутая собственной тяжестью длинная соломенная крыша, сухие бревенчатые стены, подпертые машиной ворота прячут и удерживают тех, кому гореть. Они там смотрят в щели и уже увидели человека, бегущего с канистрой, — крик навстречу Сурову, женский, детский ужас! Плеснул на сухие бревна, и они сразу сделались черными, точно обуглились. Но бензин упал и на зеленое шинельное сукно, зачернил и его, потек по сапогам Сурова. Вот что значит без практики! Вытягивая руки, чтобы не обливаться, не измазаться, Суров побежал вдоль стены воющего сарая и все плескал на бревна, а за ним оставалась неровная, расползающаяся чернота. Она вместе с запахом бензина вползла и в сарай, потому что оттуда уже несется крик страшный, стучат, ломятся в подпертые ворота. Немец соскочил с бронетранспортера и побежал к сараю, на ходу щелкая зажигалкой. Наклонился к стенке и сразу отпрянул: бесцветное пламя нежно блеснуло и как бы пропало, но тут же рванулось вслед за Суровым. Как бы выследив, молнией метнулось к нему, поливавшему остатками бензина угол сарая. Он уронил канистру. Белому показалось, что из

рукавов, из-под полы суровской шинели вырвалась, затрепетала красная тряпка. Суров побежал по полю и все пытается оторвать ее, отбросить. Машина, подпиравшая ворота, отъехала, крупнокалиберный пулемет, автоматы и винтовки бьют по сараю, пронизывая и ощипывая стены, заглушая и покрывая все…

ПОСЕЛОК ЧЕТВЕРТЫЙ

Из показаний Тупиги И. Е. в 1960 году:

«Мельниченко Иван Дмитриевич командовал ротой, ее называли у нас „украинской“. Командиром роты был немец Поль, но назывались „мельниченковцы“. А Мельниченко откуда-то из-под Киева, он грамотный был, он и раньше лейтенантом был. Черный, как цыган. В общем пустой человек, с коня не слезал и вечно пьяный. И все мельниченковцы такие, вот и в Нивках — сразу кинулись по сундукам да погребам. Мы бы всех партизан припутали, если бы не эти мародеры. Один Мелешка молодец, не растерялся, установил пулемет и… Я про то, что никакой дисциплины, одна самогонка и грабеж. Потом, в конце войны, он и еще сколько-то убежали в лес…»

* * *

… Пьяный, «как Поль», Мельниченко носился по огородам, среди побитых, пострелянных его ротой жителей. «Диты мои! Соколики!» — фразы, обрывки из какого-то кино, или песни, или самим придуманные копошились в памяти, на языке. Он — батька, атаман на коне-звере, а кругом басурмане, и он кличет свое войско на геройство и смерть. А сам с поднятой плетью налетает на своих мельниченковцев, замахивается в воинственном гневе, но при этом помнит, что и «майстэры» бродят по полю и заняты тем же — пристреливают, и что даже командир, если он не немец, не имеет права их пальцем тронуть. Зато своих достает плетью с удовольствием: «Не журись, казачура!», а они удивленно охают, скалятся, как улыбающиеся волки, и выкрикивают что-то вслед. А он все кличет: «Диты! Соколики! Мельниченко завжды с вами!»

Конь под ним — картинка, дорогой конь. («Сволочь, Циммерманн, такой годинник, золотой весь, увез в свою Германию!») Но этот зверь прежде носил на себе партизана — Мельниченко не забыл, не простил. Хлещет его плетью со смаком.

— Вовче мясо, ты у меня потанцуешь! Бандюга!

Лупит, сечет плетью коня, достает и своих пьянчуг, носится меж трупов (бабы и дети больше кучками лежат, они будто сползаются

друг к дружке), конь всей кожей дергается, ногами перебирает по воздуху, оттого что вот-вот наступит на тело, бросает желтую пену, дико косит глазом.

— Ах ты, банда, будешь як миленький! Я навчу под Мельниченко ходиты! Узнаете, кто такой Мельниченко!

Даже штурмфюрер Муравьев не был в Германии, а Иван Мельниченко был, посылали. Поль брал его в Фатерлянд — показать немцам-родителям своего спасителя: не окажись его тогда рядом, уволокли бы Поля, как барана, бандиты.

Да, было что порассказать, когда вернулись из Германии. Хотя бы про Лейпциг, немецкий город. Оказывается, это немцы Наполеона разгромили, а не под Москвой. И тут набрехали москали. Есть памятник в Лейпциге — специально по этому случаю. Каменная громадина, похожая на домну. Зенитки наверху кажутся спичками — такая высота. И как раз начали палить по американцам, плавающим над тучами. Эхо, как в громадной бочке, перекатывалось. Ревела каменная домна, как медведь.

Мельниченко спас немецкого офицера, и семья захотела повидать, поблагодарить его. Этот Поль мало на немца похож. Того и гляди влипнет спьяна куда-нибудь. На минутку отвернулся и не понимает: куда Поль девался? Сани деревенские удаляются, дядька в желтом кожухе нахлестывает коня, оглядывается, злодюга, а на санях кто-то ногами по воздуху бьет... Мельниченко стал палить из автомата, побежал, крича, следом: бандит и столкнул Поля, отпустил. А Муравьев по-своему перевернул: шатаются, мол, пьяненькие неизвестно где, сами падают в чужие сани. И пошли всякие анекдоты: дескать, бросило в сторону по льду полозья и стукнуло Поля под коленки, он и завалился, а дядька гнал коня с перепугу, пока не потерял немца. Муравьев в кутузку засадил Мельниченко. На Поля, на немца, руки коротки, так он — Мельниченко. Вот была физиономия у Муравьева, когда пришло письмо от родителей Поля с просьбой разрешить их сыну привезти в отпуск «того русского, который, жертвуя жизнью, спас германского солдата», их единственного сына. Вот так-то, штурмфюрер Муравьев-Хильченко! Приклеил к кацапской фамилии какого-то «Хильченко» и считает, что теперь ему можно командовать и «украинской» ротой. А немцы никак его не раскусят. Мельниченко уже сражался с бандами, когда этот «штурмфюрер» в Бобруйском лагере вшей кормил, еще и сам не догадывался, не помнил, что он — «Хильченко». А Мельниченко в числе первых пошел против Советов, жидов и москалей. Знал Бандеру, знал Войновского, был в Косове, когда они только начинали формировать первую

«украинскую дивизию». Правда, далеко это не пошло — с дивизиями. Немцы вдруг увезли руководителей в Берлин, а дивизию раскрошили на роты, взводы и разбросали кого куда. Взвод Мельниченко попал в Белоруссию, его нарастили до роты, — это когда уже появился Дирлевангер. Ядро — «галицийцы», а еще два взвода из военнопленных — «восточники». «Западники» тверже, идейнее, послушнее, но темные, как бутылка пивная, многие и расписаться не умеют. Со своими, с «восточниками», больше мороки и всяких неприятностей (с Горбатого моста эти сбежали!), но зато они не святоши и не куркули. Те дисциплинированнее: навытяжку и глазами ест. Но готовы слопать и взаправду. На рожах написано: «Все вы тут — москали, бога продали!» И попа, еще косовского, таскают за собой везде. Хоть бы бандиты его утащили, как Поля пытались. Окрестили Мельниченко с его конем «Суворовым» — знают, куркули, чем позлить!

Со своими проще, но тоже хватает забот. Дисциплину с них и не спрашивай. Будто колхоз им тут. А с Мельниченко немцы спрашивают. Муравьев только и дожидается, ловит случай, чтобы в глазах немцев унизить.

А, вот он где лежит, тот дядька, что бежал первый! Ноги-руки раскинул, и нет ему дела до того, что спугнул деревню, своим криком дурным погнал на поле: «Бабы, гореть будете!» Набегался, лежишь теперь! И пацан его здесь, в борозду откатился: поджал голые коленки к тому месту, раскровененному, где у него подбородочек был... Бывало, задремлешь вот так на жнивье, пахнущем теплой пылью, проснешься от холодных, как бы чужих ног, а тебя уже ищут, за вишнями матери голос: «Иванку, сынку, дэ тэбэ носыть, бовдура!»

— Куда пятишься, бовдура, куда, я спрашиваю? Я тебе навчу родину любить!

Уже пена кровавая слетает с оскаленных конских зубов, с удил, раздирающих храп, но конь все уходит в сторону, чуть не по воздуху ногами сучит, чтобы не наступить... Наразбрасывали пацанов по всему полю! Плетью погнал коня к березняку. Надо снять оцепление. Нечего им прохлаждаться, пусть идут к сараю — кончать дело. Мог бы послать кого другого, но ему надо куда-то скакать, кому-то что-то кричать — такой у него настрой. Оглянулся несколько раз на сарай: кто это там? Чьи? Не подослал ли помощничков Муравьев — специально чтобы показать, что мельниченковцы не справляются? Ничего, придет и на Муравьева капут, неважно, что штурмфюрер. Сколько веревочке ни виться... Мельниченко захохотал. Представил Муравьева делающим трусливые шажки к поджидающей среди плаца «вдове». Громко захохотал среди поля, даже пьянчуги за своими

выстрелами услышали, удивленно оглядываются — что это с их командиром?

Вот бы заманить штурмфюрера Муравьева «в партизаны». Как тех дурачков, которых специальные «связные» по цепочке переправили из Могилева в деревню, а там их поджидало СД: сюда, сюда, соколики!

Это ж надо, забрал из роты Мельниченко целый взвод, чтобы сколотить кацапскую роту. Этих немцев уже не поймешь. Сначала было понятно, а теперь и черт не разберет. Вот бы и Муравьева так — по цепочке и в лапы СД: это ты не давал жить честным патриотам?

До поездки в Германию многое мог стерпеть Мельниченко, а теперь дудки, Муравьеву придется поубрать свои лапы, если не хочет, чтобы ему их оторвали. Большое к себе уважение привез из Германии гауптшарфюрер Мельниченко. Но и смущение некоторое. Сидит оно в душе и памяти, как заноза. Но про это не расскажешь, как про лейпцигский памятник.

Добирались до Германии поездом долго, как на край света. Впервые ощутил по-настоящему, сколько у этих немцев врагов — и не только России. Такое было чувство, что не в тыл, а от фронта к фронту едешь. Поезда не идут, а ползут, бандиты прямо за колеса хватают. Уже за Бобруйском, проехали какой-то Ясень, и паровоз вспорол себе брюхо о мину. Пока до Минска доползли, дважды обстреливали. Немцы вынуждены вырубать леса вдоль дорог. Дым по всему пути, военнопленных и жителей гоняют лес валить. Но партизаны могут и вот так: возле Барановичей подстрелили паровоз из противотанкового ружья, издали. Как куропатку. Паром окутался и стал. Где тут паровозов, вагонов набраться! Еще спасение, что захватили их в первые недели войны так много.

В Польше поехали быстрее вроде бы, но тут же голова поезда свалилась под откос. Полмира у них в руках, а всякий может по ногам их лупить из-за куста. Жгут, палят этих белорусов, этих поляков, а они своего не кидают. Сами не живут и другим не дают!

Только Поль, очумевший от шнапса, ничего не замечал. Остановка среди леса, рельсы бандиты утопили в болоте, а он рвется «на вокзал», чего-нибудь прикупить. И все тычет пальцем за окно: райх! орднунг!

Слово «орднунг» Мельниченко слышал по всей Германии, у них это как «хай живе!». Порядок, что и говорить, во всем. Даже устаешь от него. Только среди развалин и чувствовал себя человеком. И уже радовался воздушным тревогам: ничего, побегайте, и вам не помешает!

Первые дни гостеваний в Лейпциге, пока был шнапс в привезенной канистре, проходили в каком-то желтом тумане, из которого выплывала то белая огромная прическа, голова «муттер», то красный и широкий, как плотницкий карандаш, рот невесты Поля. Орднунг в доме (двухэтажном, с внутренними лестницами, лесенками) держался на «муттер», на ее тихом ровном голосе. Рядом с нею и лысенький батька Поля и грузный Поль, оба излишне болтливые, суетливые, походили, в лучшем случае, на «фольксдойчей». «Муттер» со своей огромной белой прической высилась над всем и всеми: зенитки можно устанавливать, как на том памятнике–«домне».

Работала у них украинка Оксана. Ко всему еще — с ихней Николаевщины, совсем землячка. Кость широкая, деревенская, но лицо исхудавшее, бледное, и только глаза молодые, темные, как вишня украинская. Ну, немцы, ну, сильны, не зря говорят, что они обезьяну выдумали! Это ж надо, человек из одного только трепета перед взглядом и тихим голосом хозяйки не дотронется до пищи, голодает, как в лагере, хотя целыми днями жарит-варит!

Оксана очень поразилась, что ее земляка не насильно привезли, что он в гости в Германию приехал. Никак это не могло в ее деревенской голове вместиться. Мундира эсэсовского словно и не замечала — так подействовал на нее сам голос земляка Мельниченко. Конечно же наведался в чуланчик под лестницей, куда Оксану на ночь запирали. Замкнут в конуру и ключ повесят возле уборной. Отомкнул и, не закрывая дверь, чтобы доставал свет из уборной, вошел, сел на ее ящик-кровать. Испуганно и жалко ему улыбнулась, закрывшись какой-то тряпкой. Но не давалась яростно, как они это умеют — деревенские, не произносила ни слова в ответ на его «дура!», «для немцев бережешь!». Но когда отступался и брал ее руку, она не выдергивала и даже отвечала пожатиями. Ушел обессиленный и мокрый — от ее слез. И так было еще две ночи. Плакать начинала потом, когда он оставлял ее в покое и только ругал «дурой» и «немецкой шлюхой!». Даже грозился, что пожалуется фрау, и Оксану отправят в лагерь. А она слушает и плачет, но как-то непонятно все у нее. Пока не догадался, что не его самого, а речь украинскую слушает, и это она заставляет Оксану и улыбаться, и плакать, и даже пальцы ему робко пожимать. Понял, как с дурой этой надо себя вести. Стал жаловаться на ненавистную, вынужденную службу у немцев, вспоминать Николаевщину, Киев, батьку и мать, школу, даже пионерское свое детство. Все, что и у нее когда-то было. Туманно намекал, что не ради немцев он напялил эсэсовский мундир. Она хватала его за руки, заставляла замолчать: тут и моль подслушивает! А

он уже и сам почти верил, что вот только заедет домой, предупредит, спрячет стариков, а дальше начнется то самое… Он им всем покажет: и Муравьеву и Дирлевангеру! Оксане пообещал, что наведается к ее неньке, передаст матери весточку. Оксана плакала и беззвучно смеялась, сделалась послушной, ласковой, и все пошло, как надо. Все они, дуры, одинаковы, что дома, что в Германии. А все равно здорово получилось: приехал в Фатерлянд, а там тебе приготовили целенькую украиночку! Орднунг!.. До немки, даже если бы можно было, Мельниченко и не дотронулся бы. Что Эльза — Полева невеста, что другие: птичьи ножки, птичьи носики! Нет, машины в этом Фатерлянде все-таки самое лучшее.

Про своего командира Поля узнал все, чего не знал прежде. Оказывается, попал он в батальон прямо из концлагеря, что-то вроде урки немецкого. Узнал и еще нечто, над чем посмеивались в доме, но прямо не говорили. Да, при таких невестах чего только в башку не полезет. Обнимешь — плакать хочется! И на козу начнешь посматривать! А вот фюрер действительно не дурак. Сообразил, кто в Германии главный элемент. Скажи такой с птичьими ножками и клювиком, что она лучше всех на свете, — пойдет за тобой в огонь и в воду. Фюрер и старается: что германки самые-самые, а все другие — недобабы и все такое! Будь немки покрасивше, не было бы и немецких побед на фронте. Мельниченко в этом уверен. На них, таких вот, все и держится. Зенитки можно на голове устанавливать!

Вытащил Поля из концлагеря Дирлевангер, они дружки давние, еще по учебе, хотя Дирлевангер годами побогаче. Его фотография наклеена на второй странице семейного альбома Тюммелей (на первой — фюрер). Впервые Дирлевангера увидел на снимке: высокие залысины, ввалившиеся щеки, глубокие провалы глаз. Похож и не похож на себя самого — как черный череп на белый. Поль привез в семью новые фотографии, муттер угощала ими соседей, гостей. Ахи, охи, ужас, смех: какие страшные, злые эти «русские»! Даже когда уже не опасны, лежат или висят. Особенно женщины, женщины особенно! *А нашим сыновьям приходится жить там среди них. И дети наши, смотрите, даже улыбаются!..*

Часть этих ахов, охов перепадала и Мельниченко. (Он уже почти понимал по-немецки, будто вода из ушей вылилась и стал слышать.) О, этот русский гость, бедняга. Он так предан Полю, так поражен, просто порабощен его храбростью и честностью, жизнью рисковал ради Поля, когда бандиты выследили, похитили его!..

Фотографии, которые Поль не оставил дома, Мельниченко выкрал у него в поезде и выбросил через туалет на рельсы. Чего

доброго, и киевской «муттер» стал бы показывать.

Невеста Поля чуть в обморок не падала от тех снимков. Поль хохотал, хватал ее за худые коленки, а она старается, она падает. Но ни разу не упала. С такой прической-абажуром находиться в обмороке удобно лишь стоя или сидя. Она, гадина, сразу учуяла, что гость жалеет Поля, у которого такая невеста. И возненавидела Мельниченко. Откровенно, опасно. Когда рассказывала, как подружки ее писали фюреру и предлагали себя на одну ночь, на первую ночь, и сама при этом разрумянилась, засветилась, даже похорошела, Мельниченко неосторожно хрюкнул от смеха. Представил, сколько их, фюреровых невест, и беднягу Адольфа за такой сверхурочной безрадостной работой. В комнату будто покойника внесли: все уставились на гостя. Мельниченко показал на играющих в углу котят, чтобы невинно объяснить свой смешок. Эльза быстро-быстро залопотала, злобно поглядывая на него. Но Поль только рукой махнул.

Ко многому в доме Тюммелей Мельниченко привыкнуть не мог. К тому, например, что Поль и дома, в семье, такая же свинья, каким привык видеть его в Белоруссии. Сам он, Мельниченко, не смог бы матери показаться таким, каким стал в батальоне. Как-то зашел на кухню, к Оксане, она кролика потрошит, муттер что-то пересыпает из коробочки в коробочку, а Поль стоит над кухонной раковиной, откинувшись, и мочится, разговаривая с матерью. У них и не такое возможно. Поль за обедом подложил Эльзе нечто в тарелку, гости захохотали, а у Мельниченко глаза на лоб полезли. Не сразу и сообразил, что дерьмо не настоящее, не человеческое. Из резины, фабричное. Как-то специально делал, отливали веночек, да так аккуратно, похоже!

Ну, а Эльзу при всех хватать за ляжки и приглашать Мельниченко сделать то же самое и в чем-то убедиться (что мослы да жилы?) — это каждую минуту происходило, а сама невеста только обиделась на гостя, что он ни разу не воспользовался разрешением. Почуяла, гадина, что не из-за скромности или уважения.

— Иван либт унс нихт!

И с какой угрозой сказала это: «Иван нас не любит!» Нет, не на моторах и стали, на немецких бабах Гитлер держится и побеждает, никто не переубедит Мельниченко!

Перед самым отъездом Поль вдруг пришел в клетушку под лестницей. Сел на ящик-кровать, пьяно оттолкнул Мельниченко. Оксана вскочила, прижалась к стенке, прячась за Мельниченко. А тот стряхнул ее, как кошку: «Не убудет тебя!» — и ушел.

Назавтра Оксана подавала завтрак вся в синяках, а у Поля на

шее, на лбу белел пластырь. Муттер молчала, как грозовая туча. Появилась невеста, удивилась, муттер ей все объяснила. Эльза заплакала и выскочила в другую комнату. Но тут же вбежала. Ну, клочья полетят с Поля! А она на Оксану налетела и щипать, бить! И выкрикивала, что та сдохнет в лагере.

В Киев въезжал с волнением. Родители знали, что их Иван в немецкой армии. Для тех, кто в немецких формированиях служит, почта работает, и Мельниченко даже от стариков весточку получил: живут, где жили, старший брат и младший неизвестно где сейчас... Братья, видно, не сообразили вовремя, что рухнуло все, позволили затащить себя к Москве — если, конечно, целы. Да, была жизнь и поменялась: как рубли на марки. Уже и не верится, что бумажки деньгами казались. Что с того, что и верили, и песни пели. Как-то умели все забывать. Зато теперь Мельниченко все помнит. А голодуху особенно, когда скот весь перерезали, а люди высохли, как выгоревший на полях подсолнечник. Пьяненький батька, пристроившийся дворником в Киеве, бывало, вспоминал Николаевщину и свою должность «головы колгоспу».

Одну и ту же историю много раз пересказывал на разные голоса, будто сам не веря, и всякий раз удивлялся своей простоте и глупости — как он под конец спросил прокурора: «А вы, може, и правду не знаете?»

«Почему люди не работают? Будешь за это отвечать!» — «Так опухли вси, помирають». — «Как, почему помирают? Будешь отвечать!» — «Так голод же. Навкруги. Та и у вас тут лежать. На вулицях. Все вымокло, а потом высохло. Ни зерня, спориш тилько и застався. А запасы, яки теперь запасы у людей!» — «Опять за свое! Будешь отвечать!»

Батька до двери уже добрался, но не выдержал, вернулся и — шепотом начальству: «А вы, може, и правду не знаете?»

Как же, не знали! Все знали. Но так умели, так научились ничего не видеть, не помнить! По себе знает Мельниченко.

Как встретят его старики, старался не думать: радовался, и только. Увидит снова их, свой домишко, накрытый кусками толя поверх побитой черепицы, садик, сползающий к Днепру. Войдет в жалкую халупу и выложит из большого, красивого чемодана подарки. Почти все из Белоруссии, только чемодан немецкий, и это хорошо, что такой он немецкий. Как бы из Германии подарки. И марок привез, хотя пришлось их располовинить: в Германии гость хорош, если за угощение платит. Пошел с Полем и положил на сберкнижку Тюммелей пять сотен. Эльза даже поцеловала на прощание. Губы у нее оказались

теплые.

Киев после Германии поразил не развалинами и пожарищами (этого и в Германии насмотрелся, не говоря уже о Белоруссии и Польше), а безлюдьем. Казалось, что одни немцы да полицаи заселили город, их только и видишь и слышишь. Неужто правду говорила Оксана, что всех, кто с руками и ногами, вывозят? Совсем оголеет земля: то мор голодный, то вот это!

Но все равно это Киев, золотой, голубонебый. И куда ни глянь — Днепр! Пилотку сунул в рюкзак! Какой дурак придумал эти черепа с костями?

Нет, они не скажут ему ничего, батька с маткой — тихие они, только пошепчутся. Старший брат в глаза их «старосветскими помещиками» обзывал. «Вас еще Гоголь раскритиковал! Ну чего вы сидите всю ночь у окна? Кому нужен батька наш? Берут врагов, а не кого попало».

Мельниченко с Полем пешком добрались до киевской окраины, матеря здешние порядки. Мати с глиняной миской стояла на пороге, три курицы толкались у ее босых ног. Она с беспокойством смотрела на двух немцев, которые задержались у калитки. Испугалась по-настоящему, когда в одном признала сына.

— Батька, батька! — закричала громко и обидно. Будто на помощь кликала. А тот выскочил из сарайчика — худющий, с обвислыми усами, без очков (спал), ничего не понимает.

— Що ему трэба? — спросил он. — Нэси там яйки, чи що! А то курэй похватают.

Сын сказал:

— Добрыдэнь, мамо.

Подошел и привлек ее растрепанную голову, прижал к мундиру, чтобы не пялилась на него так. Но мать мягко его оттолкнула и сама взяла, боязливо притянула его обнаженную голову. И заплакала.

А Поль стоит напротив, распаренный жарой и шнапсом, широко улыбается — и черепа на его рукаве, на пилотке скалятся. («Нашли, черти, чем играть!») Совсем напугал старуху, когда схватил ее руку, все еще зажимающую сырой куриный корм, и неожиданно поцеловал.

А батька и того хуже! Совсем бабой сделался. Повернулся и побежал в халупу. Оказалось, за очками. Так и не поцеловались. И потом все косился, все не мог привыкнуть к мундиру. А сам про то все, что кого-то забрали, а еще повесили, и еще увезли в неметчину. Забыл, старый хрен, как ночей не спал, сидел у окна, дрожал — про то небось начисто забыл!

— Усэ ж нэ чужие, свои.

— Сыскали «своих»! Тем хуже, когда свои. И что немцам делать? Вы бы посмотрели, сколько всюду бандитов.

На это батька — пока пьяный Поль спал — обрадованно взялся шептать про партизан и про то, как дрожат немцы. Прямо на Крещатике застрелили двух офицеров. Немецкую столовую взорвали. И кинотеатр, клуб. А в селах что делается! Везде партизаны!

— Яки цэ партызаны? Сталинские бандиты! Вы бы побывали в Белоруссии…

Но что там, рассказывать не хотелось. А батька все гудел, что Украину вывезут, семени не оставят — ни людского, ни пшеничного.

— Нас богато, — отбивался сын, — хоть свет посмотрят, працувати немцы научат.

Будто и не слышит, хрыч старый, расспрашивает, правда ли, что в лесном краю, на Черниговщине, людей живьем палят, целыми деревнями…

А мати про то, как убивали евреев, — еще прошлым летом. Гнали по улицам, а их столько: «Як ти дэмонстранты!» А одна женщина-еврейка забросила в огород ребеночка.

— И таке тямуще, так все разумило! Лежит, хотя и вдарылось, не плачэ. Я поклыкала: «Сюды бежи, дитятко!»

Мельниченко аж похолодел: прячут, этого еще не хватало! Нет, умерла, мати и число помнит. Тиф привязался, но никому сказать нельзя было: подопрут хату и спалят вместе с больными!

— Дезинфекция така у вас! — буркнул батька.

Стал злиться и сын, кричать про то, как до войны было, и про евреев все, что сам батька, бывало, говорил, когда с дружками выпивал. Нет, все забыл! Талдычит свое:

— И нэ кажи! По всему выдно, що евреи им на один зуб. На евреях тильки расчинять, замисять, як на дрожжах, а з нас спечуть. На уголь зроблять. Як з тых, што на Черниговщине. И в Белоруссии. Думаешь, мы ничого не знаемо, не чулы!

Совсем разбрехался старый, рад, что сын его не какой-нибудь «Павлик», не побежит в комендатуру. Ходили туда с Полем, но для того, чтобы обрадовать стариков, переселить в хороший дом. Все-таки не у каждого здесь сын — гауптшарфюрер СС!

А за это сын получил последнюю порцию обиды. Тут уже что-то сделалось с матерью. Закричала, залилась злыми слезами — будто на ту самую «немецкую каторгу» сын их гонит.

— Ни-ни! Хочь рижь — не пидем!

И видно было, что, только связав их, можно переселить в еврейскую квартиру.

— Ничого нам не трэба! За що, господи, за що!

А когда уже прощались — все эти разговоры велись, конечно, когда Поль спал пьяный или уходил куда, — батька вдруг выпалил:

— Нехай тэбэ нимци краще убьют, сыну, нэхай лучше вони! Чым свои, так краще нимци.

А мати тут же стояла и плакала, и видно было, что согласна, что давно про это шептались они. Сговорились, как дети.

— «Краще»! «Свои»! Какие «свои»! Породнились!

— Ты, сыну, дослухай. Нам все одно плакать. То краще — хай нимци.

— Забыли все! Мало вам було Сталина, мало с голоду сдыхал, дрожал? Забыли!

Но что им объяснишь, если они тебя живого хоронят! Чешут, как по бандитской листовке…

* * *

— Ну ты, бандюга! — Мельниченко хлестанул коня, который сбился с ноги. — И ты еще!

Из кустов вышел навстречу усатый шарфюрер, Мельниченко крикнул ему, чтобы вел взвод к сараю, немедленно! И помчался туда сам, стороной, краем поля, где не мешают убитые, не пугают коня. А возле сарая уже пальба, и дым встал, уже подожгли. Поль распоряжается там. Но солдат стало намного больше. Кто такие? Может, и правда, вмешался Муравьев. Подскакал, и первый, кого увидел, — Белый! Тот самый москаль, которого Муравьев тащит в гауптшарфюреры. Который целый взвод увел от Мельниченко. И он набрался наглости прийти помогать, распоряжается тут…

— Кто звал? Кто прислал?

Ах ты! Он даже не смотрит! Мельниченко привычно поднял плеть, еще не думая, что ударит.. Поднятая рука аж заныла сладко от ожидания, как он его сейчас охлестнет, с потягом, по-казацки. Достал! И красный, горячий рубец вспыхнул на щеке Белого!

Пока конь, бандитская морда, плясал, отступая от пламени, выбросившего черный дым, Мельниченко потерял глазами своего врага, а когда снова к нему повернулся, у того в вытянутой руке уже чернел пистолет. Что он хочет делать, боже? Что это он! Как это может быть? Это он выстрелил в меня? В руку удар! В бок! В меня, боже?.. Боли нет, только немота и ожидание нового удара, и ужас, и неверие, что это происходит. С ним происходит! Ну, ось, мамо, ось хотила ты! Вы хотилы того! Як хотилы, так и выйшло, сын ваш помер…

Белый вгонял пулю за пулей в своего недавнего командира —

будто все в нем собралось! — всю обойму разрядил, пока тот клонился, падал с коня. В общей пальбе, криках, треске черного пожара никто, и Белый тоже, не услышал выстрела, которым бородач–«западник» в упор свалил Белого.

Из стального кузова бронетранспортера бил по сараю из вздрагивающего, но почему-то онемевшего пулемета Поль — это еще увидел Мельниченко…

* * *

Из документов известно, что Иван Мельниченко лежал в немецком госпитале почти полгода, а когда вернулся в батальон, вместо роты получил взвод — ротой командовал уже другой гауптшарфюрер. В 1944 году увел двадцать человек в лес — когда уже фронт подходил. Из партизанского отряда тут же убежал, скрывался в Карелии. Затем перебрался в Киев. Прятался на чердаке своего дома. Пришел уполномоченный с понятыми делать обыск, полез на чердак — Мельниченко выстрелил в него и убежал. Жил в балках, выходил на дороги и забирал, что у кого было съестного. Набрела на него спящего женщина с козой (Надя Федоренко), он выдал себя за дезертира. Много раз приводила козу, доила в балке, приносила хлеб. Через нее переправил властям письмо-обращение: «Я виноват, ловите меня. Родители за детей не отвечают!» Сочинил автобиографию и тоже переслал. Очень чувствительно описал, как весь мир перед ним виноват за все, что он, Мельниченко, делал, приходилось ему делать. Очень поверил в силу своей логики, правды и сам явился в НКВД — следом за письмом. Из поезда, когда его перевозили, удрал. Еще месяц жил, двигаясь по направлению к лесным краям. Был убит в Белоруссии.

ПОСЕЛОК ПЕРВЫЙ. 11 ЧАСОВ 53 МИНУТЫ ПО БЕРЛИНСКОМУ ВРЕМЕНИ

Гриша сорвал черную тряпку и смотрится в зеркало. Я так и знала: там зеркало, и ничего больше! А что еще может быть? Почему я все думаю, жду, что вот-вот страшное должно открыться? Он смотрит, смеется, зовет меня. Почему он смеется: ведь это она, та женщина, я так и знала! Та самая… Ползет по снегу, поднимается на колени, упадет и ползет, разбрасывая пятна крови. Ничего не может выговорить, рот у нее разбит, разорван, лицо заплыло кровью. Что-то написать на снегу пытается, пятнает его кровью, вскидывает красную руку, показывает туда, откуда прибежала…

ПОСЕЛОК ПЯТЫЙ

Из показаний Муравьева Р. А. (1971 год):

«Август Барчке был фольксдойч, из местных немцев, командовал ротой местных полицаев. Ядром роты Барчке стал кличевский гарнизон, которым он прежде командовал и который убежал от партизан в Могилев, был разогнан ими. Как я уже сказал, Барчке был фольксдойч, невысокий такой, толстоват и в очках, возраст — лет сорок, не более…»

* * *

… Август Барчке, или, как называют его полицаи — Барчик, страдал. Его постоянно мучил стыд, постоянно. Стыдом одержим человек, как другие постоянным насморком. Непреходящее это чувство в нем — смущение, стыд перед Германией, которая пришла как бы специально ради него в Кличев, в Могилев. Вот и сюда, в Борки. И теперь видит его среди тех, с кем он жил, кем командует, а с ними только стыда наберешься, конфуз на каждом шагу. Обязательно не так все сделают или вовсе ничего не сделают, не выполнят, нарушат. Не знаешь, от кого больше зла, беспокойства: от тех, кто в сарае, не хотят выходить, не слушаются, или от своих полицаев, которые все не так, все по-дурному, по-пьяному!.. Не кончили, второй, самый опасный, «мужской» сарай еще не очистили, а многие уже смылись, побежали к ульям — «пчелок бомбить», как это у них по-дурному называется. Барчке бросился за ними — гнать, лупить, и его же искусали пчелы. Щека как деревянная, губы вывернуло, сделались, как у деревенского дурачка, глаза не видят… Теперь похихикивают со стороны. Нашли себе забаву, только бы не работать. А тут, как нарочно, штурмбанфюрер нагрянул, стоит там у песочного карьера, куда мужиков гоняют стрелять.

Таким его и увидел Тупига — своего гауптшарфюрера. Как очки еще держатся! Носик провалился, пальцами не вытащишь из распухших, глянцево-красных щек. Медку попробовал, господин Барчик? На здоровьице!

— По вашему приказанию явился, господин гауп…

— Тебе во сколько было приказано? А ну иди к яме!

Туда, к яме, выстроены две шеренги немцев, по этому коридору и водят из сарая. Немецкая рота работает, а Барчик в придачу. Его люди заняты амбаром, доставкой «снопов» к яме. Нет, не амбар, скорее мастерская тут была, ремонтная, наверное. Шестерни, железки

валяются в вытоптанной траве, стены в мазутных пятнах, кривые надписи: «Не курить», «Курить только свои» и какой-то «Федя» — два раза. Тупига постучал носком сапога по ржавому колесу, ковырнул торчащий из земли кусок приводного ремня. Вот таким когда-то свернуло шею Тупиге: почти беззвучно ремень лопнул, когда он наклонился к мотору, обожгло под ухом, взвилась черная змея перед глазами, и стало темно-темно и затошнило... А Барчик, когда в Кличеве работал, тоже с ключами и в мазуте бегал, отличался от всех лишь тем, что носил деревянную обувь — трепы. Оказывается, это немецкое слово: трепы. Цок-цок-цок! — шустренький, старательный, а чтобы выпить, даже в праздник — ни-ни-ни! Потом стал начальником районной полиции. Когда пугнули, когда с печи всех полицейских кличевских согнали партизаны, был уже в сапогах. В трепах своих не удрал бы. А Тупига не дурак, он заранее перебрался из Кличева в большой город, в Могилев, в настоящую полицию. Ни печи, ни стен у него никогда не было — не цеплялся до последнего, как эти куркули. Вот улепетывали!

Огонь уже долизывает дома, заборы, сараи. А пылало, наверное, сильно: каски, пилотки, спины, мундиры немцев и полицейских — все как мукой посыпано. Там, где карьер, яма, ахнул залп, прострочил автомат. А возле мастерской мечется Барчик с гранатой-колотушкой, лупит ею своих работничков по спинам, загоняет в приоткрытые ворота, чтобы они вытаскивали мужиков — следующую партию. Другие полицаи подпирают ворота, держат, чтобы не ломанули изнутри. Держи, держи, так ты и удержишь, если они надумают там! А они что-то задумали, потому что над проломанной крышей торчит высунувшаяся голова парня, наверное, подняли мужички и держат, чтобы он им рассказывал, что делается и как все снаружи. Тупига встретился с глазами парня и даже подмигнул ему: давай, я вижу, но это не мое дело! Барчик бегает, суетится, а что над головой у него, не замечает. Пусть, даже интересно, если что произойдет! Как раз и пригодится пулемет Тупиги. У парня шея длинная, как у черепахи, он все смотрит — оторваться не может! — в ту сторону, куда гоняют мужиков, где яма...

А из ворот уже вышли двое, еще одного выбросили, следом вытолкнули еще троих. Молодой бородач вышел — похоже, что сам, громко сказал:

— Пойдем, дядьки, раз люди так просят. Что там высидишь!

И даже Барчика пожалел:

— Хто ж гэта цябе так отделал? Пчолки? Яны у нас сердитые. А ты и не знал?..

Ух, как взвыл гауптшарфюрер, как поперли, колотя, погнали всю семерку по немецкому коридору — почти бегом! А Барчик уже пищит сорванным голоском:

— Выводи следующих! Выходи добром, а то гранату кину! Сейчас кину!

Тупига вдоль немецкого коридора пошел по направлению к ямам, к выстрелам. Ямы желтеют старым, сухим песком, истоптанным и в смолистых пятнах — не мазут, кровь. Но убитых не видно, они где-то внизу. А наверху, над карьером стоят семеро с винтовками, дожидаются следующей партии. И смотрят кто вниз, а кто по коридору, откуда гоняют. А в сторонке — он, штурмбанфюрер! Стоит один, никого рядом.

Тонкие, в высоких сапогах ноги Доливана узнал раньше, чем серое, с черными усиками лицо.

Даже спина зачесалась у Тупиги: мог налететь прямо на Доливана!

И тут появился в немецком коридоре Барчик: он и еще двое полицейских гонят следующую семерку, а шеренги немцев помогают, прикладами проталкивают мужиков вперед, к яме... Ну, ну, еще Доливан твою рожу не видел, покажись, господин Барчик!

Чуть не плачет гауптшарфюрер, голосишко у него совсем пропал:

— Пошел, кому говорят! Туда — и ложись! Туда — и ложись!

Зачем-то и сам за ними побежал вниз, в яму, заскользил по песку и крови, упал и кричит лежа: «Туда — и ложись!»

На него заорали сверху, что не то делает: мужички должны стоять, пока в них будут стрелять. Тогда стал хватать их и поднимать, ставить на ноги, а руки красные, как у гуся лапы. Уже не может разобрать, кто живой в этой яме, а кого застрелили, наклоняется и хватает всех подряд, пытается поднять, поставить на ноги и мертвых... Совсем одурел под взглядом Доливана. А тот стоит и, похоже, ничему не удивляется. Кто-то засмеялся — он глянул туда, и снова стало слышно, как догорает деревня и копошится в яме Барчик.

Что такое? Не семеро, а одиннадцать стоят! Барчик не понимает, отчего наверху забеспокоились, зашептались. Молодой немец-обершарфюрер, который командует расстрелом, побежал вдоль строя, неся перед собой кулак и ругаясь «ферфлюхтером». Не понимаете, в чем дело? Попросите, Тупига вам объяснит: затесался и среди вас сачок или француз! Немецкий, собственный. Палит в белый свет, как в копейку. Только бы не попасть.

И Барчик наконец тоже понял. Он чуть не заплакал по-настоящему. От стыда. Уже за немцев. Стал выбираться из ямы и от волнения не может: песок плывет, ползет под ногами…

Рассыпанно ударили два залпа, один за одним. И снова в яме все лежат. Только Барчик, наклонившись, стоит, пережидая пальбу.

Вдруг послышалось снизу, из ямы:

— Болит! Немец, добей!..

Барчик испуганно повернулся к яме:

— Ты где? Подними там руку!

— Болит…

— Руку, руку покажи!.

Над трупами слабо, как живой дымок, заколыхалась тонкая обнаженная рука. И все, кто стояли наверху, начали яростно палить вниз, бить в яму…

ПОСЕЛОК ШЕСТОЙ

* * *

Из показаний Майданова Михаила Васильевича — родом из деревни Ольговка Киреневского района Курской области — в 1960 году:

«В этом селе немцы и наши были построены в две шеренги. Как я помню, впереди стояли немцы, а за ними — мы. Немецкий офицер через переводчика (фамилии их я не знаю) приказал, чтобы мы выполняли все распоряжения немецких солдат, а кто не выполнит, тот будет расстрелян…»

* * *

Штурмфюрер Слава Муравьев поджидал своего шефа. Должен заглянуть и сюда, в поселок Пролетарский. Было приказано не начинать без него. Борковская операция не совсем обычная — очень уж сложный «ритуал».

Взводы, немецкий и «иностранный», уже выстроились, стоят в положении, которое изобрел для «посвящения новичков» сам штурмбанфюрер. Парами стоят: ненемец немцу в затылок, а затем пойдут по деревне и для тридцати ненемцев это произойдет впервые. И они уже знают, зачем их привезли, почему стоят так и что произойдет. Все тридцать очень разные, и различные обстоятельства заманили или затащили их к Дирлевангеру. А делать им придется одно. Прикажут, и будут делать — Муравьев уверен, что будут. Как миленькие! «Не пойду, не буду убивать, меня стреляйте!» — может, думали так многие, могли так рассуждать где-то там, вчера, далеко.

Ну, а здесь попробуй, не вообще, а когда знаешь точно, что выволокут тебя к этому вот забору, прислонят, как чурбан, и застрелят! Одни отупело, пойманно смотрят на каски немцев, на немецких офицеров и Муравьева, другие на деревню посматривают — с идиотским молодым любопытством. По пустынной улице лишь патрули прогуливаются, чтобы не бегали бабы из хаты в хату, не переползали в погреба, в сараи. Меньше будет паники, и больше будут надеяться, что самое страшное с ними не случится, не произойдет. Да, горят соседние поселки, и стрельба там, но люди многое могут объяснить не самым страшным образом, если только не подхватит их и не понесет паника. Даже дым утренний кое-где над хатами, эти даже завтракать собираются: *мы, как всегда, а потому не произойдет сегодня это, не случится! Не может случиться!..*

Как все-таки верит человек, что его, именно его, минует самое ужасное. Вот даже на некоторых лицах под черными полицейскими пилотками с белым «адамовым» черепом это ползает — бледное и потное «не может быть!».

Может, может, милый! Случится это сейчас — и именно с тобой!..

Через такое прошел и Муравьев, и он знает, как все будет. Никому не позволят уйти, увильнуть, для того вас и построили. Не знал ты всей правды о себе — сегодня узнаешь! И будешь на ней, на правде этой, оседать — как на колу. Собственной твоей тяжестью тебя и доконают. Но не сразу. Вот и штурмфюрер Муравьев все еще жив-здоров, а уже сколько месяцев, дней, минут опускается по тому колу. Вчера ночью, после дикой пьянки, кричал во сне туда, где был когда-то Слава Муравьев, чей-то сын, чей-то муж: «Не верь, не верьте, я не палач, я солдат, я в стане врага, но я солдат!» Во сне, помнится, до слез красиво звучало это: «в стане врага».

Но проснулся — и ничего! Ни матери, ни Людмилы, нет никого у Муравьева, потому что нет больше на свете и Славы Муравьева. Тот, кто вместо него, — другой некто, совсем другой.

«Как ты мог, Слава? — с каким ужасом, наивным, древним, спросила женщина в круглых очках — его мать: — Как мог ты позволить своей жене убить ребенка?» Жена — молодая, на удивление белотелая женщина по имени Людмила — сделала аборт. Потому что мужа ее — Славу Муравьева — забирали в армию, в военное училище — со второго курса пединститута, и ей «стало тревожно».

Только во сне штурмфюрер Муравьев подпускает к себе этих женщин — мать, жену. Только во сне: там он не властен не впустить, отвернуться, уйти. Но зато там еще возможно что-то назад повернуть,

вернуть. Там, но не здесь.

А жить надо, пока живой.

Когда-то «жить» — означало побыстрее вбежать в завтрашний день: вырасти, из села поехать учиться в большой город, найти дело, которое не наскучит за целую жизнь, и такую же, на всю жизнь, женщину... И все это было тогда впереди. И вот оно что впереди ждало!..

Когда-то собирался стать учителем. Правда, еще раньше мечтал стать военным. В пединститут поступил потому, что все Муравьевы — не только отец и мать, но и две тетки — учителя.

А тут стали забирать из институтов в армию, взяли и его, в училище, и он пошел охотнее многих.

Когда ахнуло: «война!», Слава Муравьев не мог скрыть молодого возбуждения, почти торжества: кто сейчас нужнее горячих стойких лейтенантов?! Кадровых военных осталось маловато, да и доверие к ним подорвано.

Но их училище все держали под Москвой, все доучивали, как будто они не умели, не сумели бы главное сделать: умереть, чтобы врага не пустить дальше. Уже Минск, уже Гомель пали, сводки называли цифры вражеских потерь в людях и технике, и невозможно было понять, как немцы все еще способны наступать.

В конце августа курсантов собрали, они сидели в большом зале бывшего института и дожидались какого-то важного сообщения. Ну, наконец-то!.. А им зачитали странный приказ: об ответственности семей военнослужащих за перебежчиков и сдающихся в плен... Муравьев помнит, что он никак не мог связать этот приказ с собой и своими близкими. Плен? Что за ерунда! Как это возможно?

Наконец лейтенантов и младших лейтенантов распределили по частям, только что сформированным, погрузили в эшелон и ночью повезли на запад. Без конца просыпался. И не от ожидания новых бомбежек (они его совсем не напугали), а от волнения, что наконец едут — навстречу загадочному и грозному, что называется «фронт», «бой». Уснул, и показалось, что поезд тут же остановился, за окном тяжело пробежали, прозвучала команда: «Высаживаться! Быстро! Быстро!» Утро тускло озарялось вспышками, совсем недалеко погромыхивало. Даже пулемет слышен был. Посыпались из вагонов, стали стаскивать с платформ орудия, сводить лошадей. А кто-то уже распорядился, и командиры молодыми зычными голосами уводили людей в поле, растягивали в цепь: «Вперед! Вперед!» Прямо в бой въехали на поезде — вот чудеса-то! Слава Муравьев нетерпеливой подбежкой вел свой взвод навстречу бою, врагу, зная, что это высшие

мгновения его жизни: не обошла судьба, не обделила!

Тяжело было с полной выкладкой двигаться по овсу и вике, полегшая от недавних дождей зелень вязала ноги, ее рвали яростно мокрыми от росы сапогами и ботинками: так и должно быть, так тяжело и должно быть, и такое общее, грозное дыхание, именно грозное, и уже крик — далеко справа, слева: «За Сталина! За Родину!» Побежали. Лейтенант Муравьев, опережая политрука роты, подхватил, распростер над цепью, как знамя: «Впе-ред! За Сталина!» Закричали «ура!».

Тут бы навалиться на врага, смять, растоптать и гнать, гнать! Но впереди лишь кустики темнели, редкие полевые груши да конь — его все увидели, казалось, одновременно — спокойно стоял под деревом, дожидаясь, когда ему снова захочется опустить морду в росную зелень.

Уже что-то поняли, снова перешли на шаг, но команды зазвучали резче, требовательнее. Шорганье голенищ и обмоток, звяканье металла, торопливое дыхание сотен людей все еще отталкивали правду, отдаляли миг общей догадки и стыда, неловкости и, как ни странно, облегчения... Эти длинные и несуразно торчащие штыки, эти молодые выкрики командирские, — а до немцев, до передовой, может быть, пять километров! — вот-вот разрядится все смехом и разносом «при подведении итогов занятий». Но подводить итоги должен был бой, который никуда не делся, поджидал впереди.

Навалился он в этот же день, шесть часов спустя, ошеломил неожиданный, хотя, казалось, ждали, готовились к нему, и длился не то пять минут, не то сто суток. Что-то выкрикивали люди, отдавались команды, но на самом деле командовали грохот и рев железа, крики боли и ужаса, а когда окончилось все и немецкие танки ушли куда-то в сторону, к железной дороге, Слава Муравьев лежал в полузасыпанном окопчике, ощущая на ногах и спине жуткую, но спасительную тяжесть сырого песка, и слушал вырывавшийся из земли — из других окопчиков и по всему косогору — разноголосый крик, из которого свечкой — как из детского больного бреда — вставало одно слово: «Мама!»

Восемнадцати-двадцатилетние, раздавленные гусеницами, разорванные железом, звали на помощь одного-единственного человека, все — одним словом. Других слов уже не помнили.

Странно, но это никогда потом не вспоминалось с насмешкой, горьким презрением, — первый бой и детские крики: «Мама!» Хотя многое, очень многое помнится именно так.

Бойцы и лейтенанты с винтовочками, редкими полуторками,

сорокапятками, откуда-то выныривающие и пропадавшие старшие командиры с «эмками», танкетками — вот и все, что запомнил Слава Муравьев, что металось перед мощно накатывающейся чужой силой.

Немецкая армия захватила не только половину европейской России, она в душу вломилась, тесня, вытесняя то, что было (думалось — навсегда!) в нем, Славе Муравьеве. Первый бой был лишь началом, и даже не самым нелепым и бестолковым. Какое-то барахтанье, жуткое и беспомощное, в неверном, в кровавом болоте. Остался без взвода, потом командовал ротой, чужой, а потом снова без людей, никто, и тут же, через три дня, уже исполнял обязанности начальника штаба полка. Он все пытался быть командиром и искал, чтобы кто-то сильнее его, опытнее, дальновиднее, кто-то был бы над ним, ну, хоть кто-нибудь! Как истово верующий к богу, тянулся он всей душой туда, где привычно всегда находился человек, от которого исходили порядок, власть, воля, порой непонятно жестокая, но такая желанная теперь. Но как раз теперь она и не ощущалась, зато привычное бессилие перед чужой волей осталось, и оно лишало многих, слишком многих желаний и готовности брать на себя ответственность.

А накатывающаяся сила, казалось, распоряжалась самими обстоятельствами. Она действовала методично, направленно и широко — по всему фронту. Сила эта накапливалась то там, то здесь, и там и здесь одновременно, и била, гнула и снова перла вперед.

Четкой, отлаженной машины, для которой его шлифовали, Слава Муравьев не обнаружил, не мог никак ее отыскать и лишь цеплялся за какие-то колеса, колесики ее. И вот последний его бой. Если это может называться его боем. Немецкие танки навалились, настигли, как и в первом бою, неожиданно. Господи, сколько она длилась, та первая внезапность, — не часы, не дни, а все время, пока воевал лейтенант Слава Муравьев, несколько месяцев! Внезапность — не в нем ли самом она гнездилась?..

На этот раз танки двигались в сопровождении автоматчиков, огонь трассирующими был такой, что, казалось, трещал, пылал сам воздух. Это уже было какое-то автоматное хулиганство. Начштаба полка Муравьев (какой там полк — ошметки взводов!) выскочил прямо из-под разлетающихся бревен, из-под падающей крыши — в его штаб угодило сразу два снаряда, в два угла — и пытался задержать бегущих бойцов, полз вместе с ними, пластался в грязи под сумасшедшим огнем. Вдруг коня увидел за сараем, кавалерийского, оседланного, на привязи. Задом так и ходит, дрожа всей кожей, черналоснящейся, взбил копытами землю, пытаясь порвать поводья. Замелькало в памяти, в сознании измазанного грязью лейтенанта

Муравьева знакомо прекрасное, волнующее: черное крыло бурки, отрывающее от земли, поднимающее из грязи!.. Подполз, вскочил на ноги, еще выстрелил из-под коня по мелькнувшей на огороде немецкой фигуре и бросился к стременам. Одной рукой за луку, второй, в которой пистолет, за гриву, оттолкнулся правой ногой от земли, а левая вместе со стременем ушла коню под брюхо. Не затянута подпруга! Беспомощно повисший, он слышал, как пули с плотоядным чмоканьем впивались в конское брюхо — с противоположной стороны. Падая и опрокидывая на себя коня, он еще заметил невысокого немца, который откинулся на полусогнутых ногах и сечет, сечет из автомата...

Тут его и взяли. Немец появился откуда-то из-за спины, крадущейся походкой — точно он все время выслеживал именно Славу Муравьева. Муравьев лежал, как прижатая сапогом лягушка — животом к земле. Теплая кровь из лошадиной туши натекла под задравшуюся гимнастерку, липко намочила спину, бока. Он вертел головой, поднимал лицо, чтобы не пропустить, когда в него выстрелят, не прозевать свою смерть — большего ему уже не дано было. Немец, обидно маленький, в очках, похожий на аптекаря или бухгалтера, носком сапога потрогал вытянутую морду коня, но глаза его и дуло автомата неотрывно смотрели Муравьеву в лицо. «Ну что, убьем тебя?» — Муравьев может поклясться, что немец это сказал, хотя голоса его не помнит. Чужой согнутый палец лежал на крючке автомата, готовясь это проделать. Но зачесался вытянутый острый нос немца: он поправил очки, потрогал себя за кончик носа. И тут рука немца рванулась назад к автомату, глаза испуганно отпрянули. Сапогом со всего маху ударил лежащего по локтю — в голове у Муравьева заискрило, а когда нормальный свет к нему вернулся, у немца в руках был его ТТ. Близоруко поднес пистолет к очкам, рассматривает. Значит, пистолет все время лежал под ладонью у Муравьева, но он и не вспомнил об оружии, придавленный, распластанный, как лягушка.

Состояние полной раздавленности, беспомощности не кончилось, оно осталось и после того, как немец, видимо, заинтересованный командирскими знаками Муравьева, помог ему выбраться из-под лошади. Как из сна в сон переместился — в безнадежные толпы, колонны пленных, гонимых на запад. Плен! Это был конец, крах всего. Где-то на Волге, куда еще до войны переехали, жили, о нем думая, на что-то надеялись мать, Люда, отец, но для них лучше было бы узнать, что он мертвый. Только бы не дошло, что Муравьев Ростислав Александрович все еще жив. Даже если убежит (думал про это неотступно), ничто не отменит факта — лейтенант Муравьев

живым сдался врагу! Навсегда выброшен из *той* жизни, где остались все, кто ему нужен. Он — пленный, он *сдался* , и от этого не убежишь, не уклонишься: это произошло, уже настигло. Не затеряешься, не спрячешься в шинельной массе — не заслонит. Потому что все отброшены, вся многотысячная масса. И не только жестким приказом, который своими ушами выслушал курсант Муравьев, не придав ему *личного* значения.

Отброшены, отброшен всем, что было и как было до войны, перед войной.

Семью Муравьевых можно было считать удачливой — по довоенным временам и меркам. Как-то обошло их в предвоенные годы. Но оказывается, даже то, что не задело тебя лично, на самом деле входило, проникало и в тебе оставалось, даже если сам того не замечал. И когда пленному лейтенанту показалось, что мир, без которого себя не представлял, мир этот, отступая, рушась, тем не менее с прежней нетерпимостью и даже гадливо оттолкнул его, Славу Муравьева, мстительно и навсегда от него отрекаясь, он с этим как-то сразу согласился. Будто иначе и быть не должно. Все, что он знал о жизни (тут уже не только своей семьи), не оставляло надежды. Терял он особенно много, больше других, и именно потому, что до войны их, Муравьевых, не задело, обошло. У других пленных, многих, такого ощущения личной катастрофы, возможно, не было. У тех, кто к положению виноватого — за отца, или брата, или еще за кого — притерпелся, привык. Хотя кто знает, что испытывали, как чувствовали — и думали они, на ком уже были «пятна». Новые для них были еще опаснее, но разве об этом беспокоиться человеку в такое время?

А Муравьева это сосало, изводило не меньше, чем голод. А тоже — и наяву, и в снах.

Правда, тот мир, который мог спросить с него за плен, за такую беспомощную, неумелую войну, отступил и все дальше откатывался на восток. Муравьев не мог не желать его возвращения, пусть не для себя, так для других — для матери, отца, Людмилы… А потом о себе вспоминал, и все чаще злобой наполнялась его опустошенная душа: да, там ты нас встретишь все такой же непрощающий, но где ты был, где воля твоя жестокая была, когда она была так нужна, когда дикий хаос засасывал нас, целые армии?!

В Бобруйске, куда их пригнали, сначала всех затолкали в крепость, но здания, бараки, двор крепости не могли всех вместить. Спешно расширяли расположенный неподалеку Первый лагерь. Перегнали туда. А Муравьев обнаружил, что охрана обоих лагерей может не только по-немецки ругаться, а и по-нашему материться,

когда замахивается прикладами или палками. Кто-то наплевал на все и решил жить, а не сдыхать. Можете от них отказываться: им и самим ничего это не стоит — отречься от всех и всего! Надели форму победителя и содрали с себя пыльную, обгорелую форму безнадежности, плена, голодного поноса, поражения. Еще вчера ты гордился им, своим стройным, в ремнях, лейтенантством, а сейчас твоя форма в глазах стольких людей стала знаком плена: *это гонят пленных, это работают пленные! Убили пленного, серым шинельным комом лежит на обочине... Нечеловечески отощавшие, какие-то ржавые — это мы! С женскими огромными глазами — это мы!*

Уже не верится, что когда-то о чем-то кроме хлеба, теплой похлебки мог мечтать...

О немцах и о той машине, что перемолола армии многих стран в серое лагерное месиво, уже думалось как-то издали. Это какая-то стихия, четко организованная и отлаженная, но стихия.

И ненавидишь ее настолько же, насколько и собственное свое бессилие и существование...

По тифозному лагерю, заваленному трупами, которые не поспевали вывозить, шныряли какие-то существа-крысы. Глаза хищно нацеленные, безумные. Серые существа эти опасно подвижные, опасно живые — гораздо живее других пленных, бродящих, как во сне. Люди-крысы что-то варили в дальних углах лагеря, наклонившись, закрывая котелок или консервную банку, огонек. В любой дымок сразу же стреляли с вышек, и они падали, и почти всегда на котелок. Однажды Муравьев — Слава Муравьев, учитель Муравьев, лейтенант Муравьев, — прячась за трупами, прополз к только что убитому, стал шарить, искать возле него, нашел опрокинутый котелок: то, что варилось, теперь с шипением дожаривалось на залитых угольках. Запах пищи пронзил — ударил по всему существу, как током. Он схватил что-то скользкое и, уползая, жевал, глотал. Ожидая выстрела, конца, смерти, старался хотя бы успеть: сжевать, проглотить! Господи, сколько в одном человеке разных существ! Целое кладбище. Но все, даже глубоко погребенное, запрятанное, живет. Попробуй избавься, попробуй выбрось того Славу Муравьева, который жрал и не знал что... Когда подожгли соседний лагерь — Бобруйскую крепость, и черный тяжелый дым пополз над Березиной, над городом, и когда он дополз, сладкий, жирный, до лагеря № 1, где всех пленных выгнали из бараков и держали под пулеметами, — вот когда Муравьева начало рвать, выворачивая пустой желудок, только тут он догадался, вспомнил по запаху и позволил себе до конца понять, что он тогда сжевал и

проглотил…

А ведь привыкать стал Слава Муравьев, послужив у Дирлевангера, к поджаренной человечине! Если бы знакомый сладковатый запах по-прежнему на него действовал, тогда хоть не ешь ничего. Вот и сейчас густо тянет из-за свежего березнячка. Там первая немецкая рота работает.

«Везде можно остаться человеком!» — отец повторял это по поводу и без повода. Можно, да, можно! Муравьев уверен, что он все же лучше других, многих, кто оказался бы на его месте. «Лучше других на моем месте» — это утешает и даже рождает чувство правоты. Даже чувство обиды на всех, кто «разбираться не станет…»

Очень много о себе, если не хорошего вполне, то не самого плохого, знал и постоянно помнил штурмфюрер Муравьев. Вот хотя бы то, как долго он даже мысли не допускал, чтобы пойти и служить победителям. Хотя он человек военный, профессионал и понял раньше многих других, что войну немцы выиграли. А когда плелся к столу, который немцы и вербовщики–«добровольцы» накрыли и выставили за проволокой у лагерных ворот, он тоже не думал о службе: еще бы только раз досыта поесть, попробовать нормальной, *человеческой* пищи, а там пусть убивают! Но у ворот его еще раз остановили: «Как, как твоя фамилия?» — «Хильченко». — «А не Иванов?» — «Нет, Муравьев…» Так по-детски попался, что когда захохотали и оттолкнули его и он упал в снег, он заплакал. В первый и, уверен, в последний раз на этой проклятой войне. Сотни голодных глаз, а издали и тысячи смотрели на нарезанный серый немецкий хлеб, на круглячки красной колбасы и налитые стаканы чая — подходи и ешь, пей горячее, снимай свою вшивую и надевай чистую, выжаренную *немецкую* форму!.. Девятеро стояли у ворот, согласившись выйти за проволоку, жрать у всех на виду и уйти — от смерти в жизнь. Пусть не свою, неизвестно какую, но жизнь. Вдруг немецкий офицер, который, видимо, любил круглые цифры, показал на бессильно осевшего в грязь Муравьева, и тогда ему крикнули: «Кажи: данке! И становись десятым».

Он им этого не простил: ну, нет, сдохнуть поспею всегда! Я вас отблагодарю. Вы еще подо мной походите! Ходят теперь, бегут на его голос вприпрыжку — тот же Мельниченко и все его «самостийники». Морщатся, по-собачьи щерят зубы, а ходят как шелковые! Этот Мельниченко, ого, как показал бы себя, окажись он на месте Муравьева. Спит и видит, как заменит его…

Конечно, и Муравьев ездит в такие вот Борки, и он делает то, что по его немецкой должности и чину делать обязан. Но не больше

того! И штурмбанфюрер терпит, прощает многое, чего другому не простил бы. С партизанами — не с бабами да детьми! Вот где нужен им Муравьев, который совсем не по-немецки на партизан смотрит. А потому и немцев кое-чему научить может. Немцы слишком верят в партизанскую всезоркость и неуязвимость. Им, чужим всему здесь, слишком трудно, сложно вообразить себя на месте противника. Тем более такого противника, который ни в немецкой натуре, ни в их истории никогда и не ночевал. Ну, а Муравьев всему цену узнал — разным и всяким побасенкам и легендам. На собственной шкуре познал, как все на самом деле. И его не пугают эти колхозники, да школьники, да учителя с винтовочками, листовочками, комиссариками. Есть там и кадровики-окруженцы, но что могут сделать они здесь, если на фронте — армия! — не смогли, не сумели?..

Сначала Муравьев присматривался к немцам с профессиональной завистью военного: вот это машина! Нет, не их листовки, не газетки на немецком и русском языках, не пропагандистские слова о «национал-социалистской идее», «новой Европе», «величайшем гении и полководце» его интересовали — обыкновенная смазка, какой все пользуются. Даже более грубая и безграмотная, плохо усваиваемая. Но его влекло вблизи рассмотреть, как ходят, как отрегулированы рычаги машины, в которой и сильный, и трус, и храбрец — все действуют, как это необходимо командирам, командованию. А что немцы далеко не храбрецы, не «зигфриды» в большинстве и, как все люди, хотят живыми остаться, а не умереть — даже за фюрера! — он разглядел очень скоро. В первом же бою — на их стороне. Даже скучно, тошно сделалось, когда увидел, что это так. Но, может быть, так и надо. Зато если приказано — трусят не трусят, но все будут делать, чтобы командирский приказ выполнить...

Его тоже учили, готовили быть частью грозной машины, он всей душой поверил в самоценность дисциплины, исполнительности, стойкости. Война, так обидно начавшаяся, оторвала его, швырнула под колеса чужой машины, он чуть не размозжил голову о чужой металл, но уцелел. Теперь с него стирают старую смазку, смазывают заново, другой. Но не в словах дело. Муравьев не какой-нибудь белорусский дядька с четырьмя классами и не «самостийник», вроде Мельниченко, чтобы ему жеваное в рот запихивали. Он, раз уж так получилось, избрал место «солдата в стане врага», и пошел на это с головой холодной, не дурача себя новыми словами. И даже уважает себя за эту трезвость, даже немного гордится собой. В командиры он не напрашивался, но выправка уважающего себя военного сразу заметна, и Дирлевангер обратил на него внимание. Сначала только о

звании спросил через переводчика и прошел дальше, но вдруг вернулся: «Какое образование?» Сказал и об учительском институте. Штурмбанфюрер оглядел лейтенанта-учителя с недобрым любопытством: «Любите детей?» Двойная фамилия — назвал себя все-таки «Муравьевым-Хильченко» — тоже понравилась. «Гут!» — и назавтра дали цуг — взвод. С первого же дня стал надраивать свой цуг до блеска. Всех, кого отдали под его начало. Какой национальности, военный ты или из местных полицаев, Муравьева не интересовало. Это «мы», а это «они», и «мы» должны показать, доказать, что можем быть не хуже «их» — в строю, в стрельбе, а в бою особенно! Пусть хоть так, хоть теперь зауважают нас. Взывал к чувствам: «Покажем, ребята, а? Шаг покажем!» Или: «Галю молодую» запевай! Покажем?»

Еще в дни, когда он отчаянно цеплялся за откатывающуюся и распадающуюся машину, ему этого мучительно хотелось: быть, почувствовать себя впаянным в устойчивую, надежную, победоносную! И в бесконечных колоннах военнопленных, бредя навстречу их мотопехоте, все еще присматривался: что это за сила такая, кто они, какие? Теперь он видел их вблизи — немцев. Даже сам командовал по их уставу. Что ж, обычный устав, который когда-то пруссаки подарили всей Европе. Но для других он так и остался скучным учебным пособием, а для немцев — это точный рентгеноснимок их сердца, их позвоночника. Действуют по уставу потому, что существо их так организовано. А не так: схочу — буду, не схочу — хоть кол на башке теши! И он тесал, обтесывал. Поддавались, старались, тогда и он для них не цугфюрер, а «Слава», свой в доску, пожалуйста! Не для себя старается, а чтобы людьми себя могли чувствовать, снова уважать себя.

Сначала дотягивал своих до немецкой выправки, автоматизма, дисциплинированности. Да и просто надо было мышцы намотать на тощие тела тех, кто прошел лагеря. Но присмотрелся к немцам поближе, и даже презрение к ним возникло и делалось все злее. Разве можно уважать эту бабью мелочность, жадность в еде и к посылкам, всякому барахлу — и это при их несокрушимой убежденности, что нет на свете честнее, богаче и достойнее их? Мир распотрошили, и куда же все подевалось, если им надо посылать в Германию белорусского гуся или еврейское белье? Обидно видеть, как те, кто пленил тебя и кому пошел служить, как они всерьез трусят перед одной лишь тенью партизана — эти берлинские шуцманы, которые присланы, чтобы страх нагонять на «бандитов». Ну, тогда Муравьев вам покажет, как надо воевать с партизанами и не думать о своей шкуре, а уж про гуся тем более. Эх, будь он своим при *такой* машине, да разве так он воевал бы, Слава Муравьев! Тогда пусть уважают в нем солдата, если

русского уважать не хотят. А там, гляди, и дальше пойдет, изменится что-то...

Был случай, который мог окончиться для него скверно, но Муравьев показал, что он и немца уважать не будет лишь за то, что он — немец. Если хороший солдат — пожалуйста! Но не за то лишь, что ты — немец. Возможно, что и Дирлевангер про тот случай знает, но ни разу и виду не подал. А иначе должен был бы женить своего «русского дублера» на «вдове». Еще бы: «иностранец» ударил немца! Немецкие офицеры имеют право, и солдаты даже привыкли к пинкам и оплеухам. Но чтобы ненемец! Даже если он и командир.

Было это в начале мая. (Больше месяца носил бинт, а потом привыкал к своей руке без двух пальцев — безымянного и мизинца, — розовая кожица, прозрачная, как вощеная бумага, вот и сейчас все чешется...) Две роты направлены были забирать по району молодежь. Сами в Германию ехать не хотят — посылай повестки, не посылай.

Муравьев вдруг принял решение: сделать на бронетранспортере бросок в непуганую глубинку. Километров шесть промчались. Немец-шофер и два других «майстэра» явно не одобряли его рискованной затеи. Да и почему бы им не подумать, что Муравьев собирается (как когда-то Загайдака с Горбатого моста) утащить всех в лес, в лапы к «бандитам»? Чем страшнее становилось немцам, тем веселее было Муравьеву. Ворвались в деревню, а там как раз свадьба. Вся молодежь в сборе. То, что надо. Прихватили и жениха с невестой, и дружков-шаферов. Конечно, со скандалом: выпившие все, да и когда это у нас на свадьбах не бузили? Согнали в кучу, заперли в двух избах. Другой на месте Муравьева погнал бы в чем стоят, он же разрешил теткам толково собрать их в неблизкую дорогу.

Кто знает, сколько людей там, в России, будет спасено — да и здесь тоже — такими, как Муравьев, да, каратель Слава Муравьев, да, палач штурмфюрер Муравьев! «Человек в любых условиях человеком может остаться...» Конечно, отец не имел в виду *такие* условия, не допускал даже, да и не поверил бы, что его Слава может стать, кем стал, делать то, что он делает.

Но разве то, что происходило, что случилось за этот год, кто-нибудь мог вообразить вчера? Раз уж так сложилось, кто-то должен взять на себя самое страшное, тяжелое: среди палачей оставаться солдатом, быть примером и в конце концов помочь своим. Нет, совсем не так, как сделал Загайдака: ну, увел он отделение, девять человек, ну, убьют они десять немцев. Пока их самих не прихлопнут. Война-то все равно проиграна. Только распаляют лютость победителей. Теперь самое главное — судьба и жизнь не моя и твоя, а

многих и многих миллионов, тех, кого народом именуют. Что может Муравьев, такие, как он? Да, они в стане врага, врагу помогают побыстрее закончить уже выигранную войну. Были и такие головы, мысли: мол, у нас оружие, незаметно нарастим целую армию русскую, и немцам придется считаться с нами. Чепуха! Фантазии! Путь один: завоевать у немцев уважение. Делать приходится черт знает какую работу. Но везде можно остаться человеком, которого будут уважать. Показать, чего мы стоим — хотя и проиграли войну. Переубедить, убедить, что с нами можно иметь дело — и в работе, и на войне. А у них впереди еще полмира. Такие мы им будем нужны. Убивая вместе с ними какие-то тысячи, потом спасем миллионы. Главное — впереди. Главное — там.

Пока с плачем, воем бабы тащили к бронетранспортеру одежду для «навербованных», харчи им на дорогу, Муравьев решил пройтись по деревне. Он любит зайти в хату, поговорить, послушать местных жителей. Смотришь на себя их глазами, со стороны, и лучше, острее ощущаешь, что у тебя внутри и кто ты, что ты на самом деле. Для них ты предатель, враг, но к ним не испытываешь ответной злобы, ненависти. Не можешь им сказать, почему ты в форме немецкого офицера, эсэсовца, а если бы и сказал, не смогли бы, не захотели бы они понять. Потому что умирать надо им — ради других, которые далеко. И понять их можно. Но другие когда-нибудь, может быть, поймут и тебя...

Зайти в хату, посидеть в той деревне не пришлось. Ахнуло, даже увидел, как на огороде грязью плюнулась земля, — ого, пушечка у них завелась! Муравьев весело выбежал со двора на улицу, скомандовал: «К машине все!» А над деревней озорно повизгивали пули — два пулемета взахлеб лупили откуда-то из-за горки. И тут Муравьев похолодел: увидел, как бронетранспортер сорвался с места, только чьи-то ноги над бортом по-жабьи задергались. Броневая машина умчалась, водитель-немец бросил всех, даже одного «майстэра». Побежали через огороды, не слушаясь командирского голоса Муравьева, ни немецких, ни русских его ругательств не слыша. Били уже и с другой стороны, оттуда, где кладбище. Впервые ощутил, что не только под немецкими бомбами и пулеметами можно чувствовать себя беспомощным, слабым, никчемным. Рвануло, куснуло пальцы — вскинул руку к глазам: что-то красное вцепилось и держится!.. Не сразу понял, что это его собственные пальцы, висящие на кожице... Четверо остались на том поле, некому было их тащить — мертвых, а может, только раненых. Муравьева и еще двоих перевязали уже в лесу, почти на бегу. Страх и ярость гнали Муравьева, пока беглецы не

выскочили прямо к мосту и не увидели возле полицейского дзота свой бронетранспортер. Немец-водитель покуривает и нагло-весело смотрит им навстречу. Муравьев знал, чувствовал, что если он *этого* не сделает, то потеряет к себе уважение навсегда. И потеряет все. Все добытое с такими усилиями после лагеря.

Немец с любопытством смотрел на обернутую окровавленным кителем руку Муравьева — точно ему подарок несут. Ну, Муравьев и поднес ему! Отпустил правую, левой, здоровой, двинул его по уху так, что немец тюкнулся виском о стальной угол своей машины и сел в песок, голубые глаза в лоб ушли.

Это был момент особенный для Муравьева. Нет, не просто труса, дезертира ударил, а немца-труса, немца-дезертира. Служить я вам служу, но уж отныне знаю всю цену — и вам и себе!

Немца этого потом наградили — как раненного «бандитами». На этом с ним поладили. И он, конечно, считал, что сделка в его пользу. Не знает, какую свободу, какое радостное распрямление, освобождение подарил он Муравьеву — своим немецким бегством и своим немецким согласием на награду. Да, да, человек везде человек! Если он человек. И еще неизвестно, кто спасет, а кто загубит. Боркам вот этим все равно не выжить на партизанской земле. Думать надо о миллионах других людей и завтрашнем дне и не растравлять победителей. Раз уж войну проиграли, воевать не умели, не смогли. А почему не смогли — легко за это с Муравьева спрашивать! Беги, беги там и не оглядывайся так грозно, ревниво, непрощающе!..

Нет, не такие уж дураки были те князья и воины, которые шли на службу к чужим ханам. Да, приходилось русскую лить кровь, жечь и казнить своих в непокорных княжествах. Но народ сберегли. Россия не на год и не на десять — на века. А если бы и после разгрома все поперли на рожон, да голым пузом, не имея сил, — что было бы и что осталось бы? Вырезали бы всех подряд...

Дирлевангер возит с собой книгу «Чингисхан», показывал и Муравьеву, видимо, потому, что есть на ней автограф рейхсфюрера Гиммлера. Штурмбанфюрер не сказал, а всезнающий Циммерманн раскрыл, откуда и как попала книга с надписью Гиммлера в могилевскую библиотеку Дирлевангера. Не он один таким вниманием отмечен. Всем гауляйтерам и командирам крупных зондер — и айнзатцкоманд Гиммлер эту книгу дарит или от его имени вручают.

Немцы читают «Чингисхана» со своим прицелом. Ну, а Муравьев, когда увидел, полистал, о своем подумал. Нет, не дураки были «изменники»–князья! Где теперь тот Чингисхан и его победы, караван-сараи? А Россия стояла и стоит. Благодаря Куликовской битве? А

дожили бы до нее, не возьми на себя бремя измены те, имена которых забыты или прокляты?

Думано об этом, передумано, а поговорить не с кем! Вот разве что с Циммерманном, если ближе сойдутся. Ему тоже не легко среди своих — белая ворона!

Обершарфюрер Циммерманн уже после третьей рюмки лезет в книги. Как другие — «в бутылку». Очень обидчив, потому что и чином и ростом ниже других. Почти детский на нем мундирчик с эмблемами-черепами, а начитанностью, грамотой выделяется среди всех офицеров Дирлевангера. Книги в большой могилевской квартире Дирлевангера выставлены в гостиной, наверное, чтобы все могли их видеть, чтобы не забывали об университетском прошлом штурмбанфюрера. Дирлевангер и сам любит напомнить: «Вот с этим кретином (о Поле) мы вместе учились в Лейпцигском хохборделе. Я кончал, а он только начинал, но кончил раньше — выгнали». И расскажет, очень рассеянно (такое всегда впечатление, что он плохо слышит даже самого себя), как студенты по давней традиции ковыряли друг дружке физиономии студенческими шпагами и как Поль любил расписываться в пивных не на стенках, а на потолке.

— Любимая обезьянка господа бога! — подмигивает Муравьеву своим пенсне маленький Циммерманн. Муравьев хоть и старше его эсэсовским чином, но он русский, а значит, несравненно ниже, и за это Циммерманн готов разговаривать с ним на равных. Истерзанный безуспешными попытками вклиниться в общий громкий немецкий разговор, Циммерманн уводит Муравьева к полке с книгами и уже оттуда обстреливает пьяный стол язвительными замечаниями. Вновь прибывающих или тех, кому надо уходить, встречает и провожает обязательным:

— И пришел (ушел) осел, прекрасный и мужественный!

Муравьева лишь в последнее время стали приглашать на товарищеские ужины — единственного из «иностранцев». Все-таки он растопил Дирлевангера. Штурмбанфюрер однажды привел его к себе на квартиру одного, и там он увидел Стасю — загадочную служанку Дирлевангера. Худенькая, как подросток, белозубая, а улыбка ее поразительно кого-то напомнила: Муравьев даже растерялся, и Стася смутилась…

— Битте, — сказал и усмехнулся широкорото и криво Дирлевангер, — прошу кохать и шановать!..

Дирлевангер всегда говорит только по-немецки. А тут такой немецко-славянский винегрет. Польское «кохать» и «шановать» прозвучало у него как слова домашние, обжитые. (Стасю привез

откуда-то из-под Люблина.)

Нет, все-таки можно их заставить уважать «иностранцев». Не унижаясь, а показывая умение, дело, и когда не дрожишь за свою шкуру. Вот и Циммерманн. Увлеченно, старательно проделывает умственную гимнастику перед Муравьевым. Значит, хочется ему, чтобы этот «иностранец» его оценил.

— Читали? — спрашивает Циммерманн, проводя влюбленно, даже сладострастно маленькой рукой по корешкам книг. Выхватит нужную с полки, быстро, быстро пролистает, клюнет носиком и шпарит, почти не глядя на страницы.

— «Быть может, я лучше всех знаю, почему только человек смеется: он один страдает так глубоко, что принужден был изобрести смех. Самое несчастное и самое меланхолическое животное — по справедливости и самое веселое...»

Точно большую рюмку опрокинул в себя, так счастливо заблестели у маленького немца глаза за профессорским пенсне.

— Вот! Вот так умел писать Ницше. Которого вы, конечно, не читали. Впрочем, они (кивнул туда, где гогочет и пытается петь застолье) не читали ничего. С чужих слов заучили, что великий германец проклял евреев за христианство, изобретенное для нас. Подсунули специально, чтобы лишить другие расы воли к власти и отдать власть больным и сирым. Чтобы, кроме них, не было сильных рас, народов. Но какая будет жалость и ошибка, если Библию тоже сожгут в каком-нибудь пожарном депо! Жечь книги — любые! — это по меньшей мере неблагодарно. Неумно и неблагодарно. Они (опять, скривившись, глянул на застолье) уважают только действия и не знают, не подозревают, сколько полезного сделал Гуттенберг и его дети — книги. Та самая Библия, если ее с умом читать, нашими глазами. На нас работали и за нас многие — даже те, кто думал, что с нами борются. Потому что если смотришь в пропасть, то и пропасть начинает смотреть в тебя, погружаться в тебя. Мы лишь подобрали ножи, которых много наразбрасывали и давно. И неважно, для кого Ницше или другой кто точили ножи своих жестоких парадоксов. Важно, что наточили. И это сохранили, донесли до нас они, книги! У моего дедушки, католического священника, книг было больше, чем в нашей роте патронов и гранат. Кстати, дедушка мой в Риге жил, прежде чем переехал в Германию, в наш Гале. Вынужден был отречься от сана. Из-за служанки, от которой родился мой отец. И еще — он слишком внимательно читал Библию.

Схватил с полки Библию, немецкую, поставил назад, взял русскую (рядышком стоят).

— Вот...

Но заинтересовался чернильными каракулями на полях книги: такого-то числа водили корову к быку на случку, «за быка пуд жита», и еще какие-то хозяйственные заботы...

— Бесподобно! Нет, вы — язычники. Немцы верят добросовестнее, по-протестантски, из них это труднее вытрясти! Фюреру, думаете, легко с нами?

Тут же выкрикнул Полю про жито и быка, никто, кроме Муравьева, его не понял да и не услышал. Муравьеву объяснял: «Я спросил, чем Поль платил за козу или свинью. Или ему платили — как быку?» Все знают, что Поля держали в концлагере за какие-то штучки, чуть ли не скотоложство. И тема эта никогда не приедается на вечеринках у Дирлевангера.

Листая книгу, Циммерманн легко находит и зачитывает полюбившиеся ему места: про то, как бог-предводитель, бог-воитель отдавал чужие народы в руки своему, «на съедение»: убейте всех, и мала и велика, и землю врага посыпьте солью! («Тут так и сказано: «на съедение!», «посыпьте солью!») «И взяли в то время все города его, и предали заклятью все города, мужчин, и женщин, и детей, не оставили никого в живых... Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было: и Бог воззовет прошедшее». И как ревниво присматривал за собственным народом, избранным, и карал детей за вину отцов до третьего и четвертого колена. А если слепят, смастерят себе идольчика, хотя бы каменного: «Ага, отлепиться от меня задумали!» И приказывал самым избранным из избранных: «Возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего». «Да ведь наш дьявол милостивее!» — когда-то кричал моему деду сосед, аптекарь-пакистанец. Моего дедушку очень обижали противоречия Ветхого и Нового заветов, старой и новой морали. Идите, говорит старый бог народу избранному, к фараону и попросите того-то и того-то, серебра и золота, а я ожесточу фараоново сердце, и он откажет вам, а за это я нашлю град, мор и саранчу на его людей и землю! Сделаю так, чтобы он отказал, и его же народ за это покараю! И как могут в одной книге рядом стоять: «зуб за зуб!» и «не убий!», «до седьмого колена месть» и «прощай врагов»? Мой дед не читал Ницше, век девятнадцатый вообще плохо слышал (а немцы — хуже всех!) человека, который разрубил этот христианский узел. Он первый, кто так громко и открыто осмелился сказать: а ее и не надо, никакой морали! Не нужна она людям, избравшим себя. Ни старая, ни новая: природа морали не знает! Прямо в сердце, в

мускулы било током: «Боги умерли! От вас, избравших себя, произойдет народ избранных, а от него родится сверхчеловек!» Надоела дряблая болтовня о добре для всех. Сколько можно? Но выхода не видели. Фюрера еще не было. А книги были. Были! Вот эти. Но прочли их, как надо, только мы! Всегда и навеки: прекрасно то, что полезно для нашего движения. А что полезно — это открыто фюреру.

Опять ласково, почти сладострастно, погладил маленькой рукой разноцветные корешки, даже привстал на цыпочки, чтобы повыше достать.

— Он подсказал, что делать. Не в теориях, не в политэкономиях ищите — в себя загляните, да не трусьте, поглубже! Себя выпустите, дайте живому проявиться! Не стыдитесь себя! Отбросьте шелк! Ощутите радость ножа! Помните, у вашего Достоевского убийца обертывает бритву лоскутом шелка. Кого спас стыдливый лоскуток? Одно лицемерие! Христианское. Буржуазное. Марксистское.

Перебрасывая с ладони на ладонь книги, как ловкий печник кирпичи, переворачивая страницы слюнявым пальчиком, эсэсовец в пенсне и в детском мундирчике надсадно пробивался к ушам и сознанию Муравьева сквозь пьяное гоготание и пение других немцев:

— Жалость, сострадание к ближнему, доброта — ох, как это ново! И как удобно! Все это шантаж со стороны слабых, низших. Природа не лжет, говорит откровенно слабым, больным: вы должны погибнуть! А они адвокатов наняли, и те, болтая века и тысячелетия о жалости, сострадании, лишь удваивают, утраивают на земле страдание. Я жалею тебя, и нас уже двое несчастных — вместо одного. Это как зараза. Страдающих надо изолировать, как прокаженных. Циклоп смеется, когда его щекочет нежная рука, — так и великая идея, когда ее дразнят моралью. Вся культура выросла из одухотворенной жестокости. Но именно одухотворенной, а не просто жестокости. (Презрительный взгляд на застолье.) Великая цель достигается лишь великим преступлением — против так называемой морали. Но нельзя упрощать, как делают у нас. Доброта не противопоказана и новым людям. Вот, читаю... Ну, здесь про полезность стадной морали, инстинкта стадного, даже религии, но если это отдать низшим расам. Этим подготавливается порода людей, которая должна будет сама восхотеть нашей руки. Сама — в этом высший гуманизм! «Следствием было бы презрение к самим себе слабых: они постарались бы исчезнуть сами, сгинуть...» Так сказать, от неловкости. Как видите, мы тоже за мягкие методы. Каждому свое, но лучше если по доброй охоте. Когда с нас, голодных, драли

репарации прожорливые версальские победители, похитившие нашу победу с помощью евреев и красных, они не церемонились. Вы знаете, чем нам грозили французы, англичане? Вывезти немецкую молодежь в рабство, в Африку, если не заплатим. У победителя всегда была своя мораль! Но у них была чисто торгашеская, без всякой идеи…

Всего лишь четыре дня назад происходило это — в квартире штурмбанфюрера. Хмельную болтовню Циммерманна слушал Муравьев с удовольствием. Не все позиции — нет, не все! — сдал Муравьев. Ему, может быть, тяжелее, чем другим: он в стане врага, он вынуждает победителей менять свои представления о побежденных. А от этого польза разве для одного Муравьева? Ему, в конце концов, мало надо, ничего не надо!..

А потом в комнату тихо вошла с подносом Стася, служанка Дирлевангера. Стол обычно накрывала пожилая женщина. Молча приносила еду, испуганно говорила «данке» за грязную посуду, снова появлялась, исчезала. Стасю перед гостями Муравьев увидел впервые. Внесла поднос с чашечками кофе. И снова поразился Муравьев, насколько похожа, как напоминает она Берту, его школьную любовь. Если перекрасить ее белые волосы в темный цвет… Или вернуть им цвет первоначальный? Отрастающие волосы Стаси предательски чернеют у корней. И невольно начинаешь думать: а глаза, такие голубые — ее, настоящие? У еврейки Берты, молоденькой школьной учительницы, глаза были как уголь черные. Но улыбка такая же «громкая» — полный белых, красивых зубов рот. Это было бы даже некрасиво у другой — не такой молоденькой, живой, веселой, как Берта. Вот и у Стаси: скромно или упрямо закрытый рот некрасиво выпирает. Но зато когда улыбается! Ждешь, когда…

— И воззвал Иисусе громким голосом: «Лазарь, иди вон!»

На этот раз в наступившей тишине Циммерманна услышали даже самые пьяные. Потому что услышал Дирлевангер: он внимательно рассматривал маленького обершарфюрера, очень внимательно. Лазарь! — так зовут и старшего сапожника, одного из подвальных евреев. Все еще живые, потому что считаются и называются «полезными», сидят прямо под квартирой Дирлевангера, делают классные сапоги могилевским «фюрерам». Полгода назад их было семеро, осталось поменьше. Как раз про старого, чернобородого Лазаря шепчутся, что он отец Стаси. «Погорел твой отпуск в Германию!» — подумал Муравьев, глядя на побледневшего Циммерманна. Маленький обершарфюрер никак не поставит на место книги. Ну, вот, испуганно посыпались на пол! Стася —

худенькая, вся почти ребенок! — стояла, опустив глаза. Вся такая скромно-немецкая, в чистеньком передничке горничной, служанки. Тут бы Циммерманну — заодно уж! — процитировать еще и штурмбанфюрера: «Я не против, если вы спали с русской девкой, но вы обязаны тут же, своей рукой, застрелить ее». Специально для «иностранцев» заповедь. На них законы о расовой гигиене не распространяются. Но чтобы с еврейкой! — этого даже «иностранцам» не позволят. Нет, все-таки сорвиголова этот Дирлевангер! По канату ходит!

А он вдруг пошел на Циммерманна, нет, не на него — к книжной полке, снял голубую немецкую Библию, поискал страницу и молча подал книгу Стасе. Та засуетилась, куда поставить серебряный поднос, его забрали у нее, а Дирлевангер неверной, сердитой рукой пьяного усадил ее в неудобное мягкое кресло:

— Дизес да, лис эс дизен швайнен фор![5]

* * *

Негромкий, какой-то непривычный немецкий язык рассказывал историю Юдифи — с сочувствием, с гордостью за еврейскую женщину, которая, не щадя своей вдовьей чести, проникла в стан врага и осталась на ночь в палатке грозного военачальника, а когда он уснул, отрубила ему голову. И тем посеяла панику среди врагов, осаждавших ее родной город, спасла народ. Эту библейскую легенду Муравьев помнил со школьных лет — по веселому пересказу, читанному, кажется, в подшивке «Безбожника». И картина запомнилась: красавица на красивом подносе держит красиво отрезанную голову с аккуратно завитой ассирийской или вавилонской бородой…

Да, чьей-то голове падать! Это почуяли даже пьяные за столом. Поль испуганно таращился. Дирлевангер слушал стоя и заставлял слушать всех.

Беловолосая девушка-ребенок кончила читать и подняла на штурмбанфюрера глаза. Глаза были ясные, голубые. Мягко присев, схватила серебряный поднос с остывшим кофе.

— Я принесу горячий, — сказала, почему-то глядя на Муравьева, белозубо улыбаясь. Совсем как Берта.

* * *

---

[5] Вот это читай этим свиньям! *(нем.)*

Две шеренги — немцы и новички — «иностранцы» — застыли от испуганно громкой команды молоденького немецкого офицера. Из-за близкого кустарника следом за бронетранспортером показался черный «опель» штурмбанфюрера. С этого момента время жизни и смерти поселка Пролетарский — трехсот шести человек, которые никогда не слышали и не услышат имени Оскара Дирлевангера, — зависело от того, как скоро он доедет, выберется из машины при его длинных, как у насекомого, тонких ногах, и когда, переждав инструктаж офицера, наставление новичкам-карателям, даст команду приступать…

* * *

Из показаний Майданова Михаила Васильевича (продолжение):

«Каждый немец предложил стоящему за ним „иностранцу“ следовать за ним к дому. Когда около каждого дома встали по два человека, немец и наш, то офицер дал команду зайти в дома. Я вместе с немцем зашел в пятый или шестой дом, а всего в этой деревне было двадцать пять или тридцать домов. В дом я вошел первым и увидел сидящих за столом старика и старушку в возрасте семидесяти лет, и рядом с ними сидел парень лет пятнадцати. Немец мне сказал: „Стреляй“ — и показал рукой на сидящих за столом людей. Я из своей винтовки сделал три выстрела, в каждого по одному выстрелу. Стрелял я в упор, и они упали на пол. После моих выстрелов дал по ним очередь немец и сказал «капут».

* * *

Шинкевич Степан Анисимович — уроженец села Николаевка Николаевской области:

«Впереди шел немец, а я за ним. Войдя в дом, я увидел три человека: мужчину лет сорока, среднего роста, он сидел около стола, женщину-старуху лет шестидесяти, которая лежала на кровати, и стоявшую недалеко от кровати женщину средних лет. Немец рукой показал мне, чтобы я стрелял в мужчину. И я выстрелил. Стрелял из винтовки в голову. Мужчина упал на пол и некоторое время содрогался. Немец короткой очередью застрелил двух женщин, и мы из дома ушли. Входя и в этот дом, мы с людьми не разговаривали ни о чем. Сразу застрелили и ушли».

* * *

Из показаний Грабовского Феодосия Филипповича — уроженца деревни Грабовка Винницкой области:

«После того, как мы сошли с машины и построились, Дирлевангер через переводчика нам поставил задачу, что мы обязаны заходить в дома, всех расстреливать, а дома сжигать, что нами было и выполнено. Все каратели украинского взвода по одному, с одним или двумя немцами, стали заходить в дома…»

* * *

1946 год. Ответы на суде немецкого солдата Ганса Йозефа Хехтля — австрийца, уроженца города Сан-Пельтен, бывшего ефрейтора 718-го полевого учебного полка.

Ответ: *Теперь, конечно, я знаю, что это нехорошо…*

Вопрос: *Когда была вторая карательная экспедиция против партизан?*

Ответ: *Вторая операция против партизан была проведена в 1943 году в феврале месяце, между Полоцком и станцией Оболь. Во время операции я лично поджег 40 домов и 280 человек расстрелял. Всего наш взвод расстрелял более 2000 человек мирного населения… Я неправильно делал, но если бы я не выполнил приказ, меня бы наказали.*

Вопрос: *О чем вы думали, когда стреляли мирных людей?*

Ответ: *Я ни о чем не думал.*

Вопрос: *Сколько вам было лет тогда?*

Ответ: *Восемнадцать.*

* * *

Из показаний Иванова Афанасия Артемьевича — уроженца деревни Скриплица Кировского района Могилевской области:

«Немцы и мы стояли полукольцом у ямы, в которой находились мирные граждане деревни Вязень и Селец Кличевского района, и стреляли в них из имевшегося у нас оружия. У меня лично в то время была винтовка. У Ворончукова Демьяна и Романовича Владимира ручные пулеметы, у Барчика Августа, Изоха Василия и Борисенко Архипа Петровича автоматы…»

* * *

Хильченко Павел Иосифович — уроженец деревни Крутики Чернобаевского района Черкасской области:

«После поступила команда расстрелять жителей деревни… С нами в деревню прибыли немецкие офицеры из нашего батальона, и они отдавали распоряжения о сборе людей, а их распоряжения передавали командиры взводов и отделений рядовым карателям.

Немцы и барчиковцы небольшими группами и поодиночке пошли по деревне, и в разных местах Студенки слышалась стрельба. Я также пошел по улице и встретил одну женщину, которая на руках несла ребенка дошкольного возраста. Женщина с ребенком свернула с улицы на огород. Я пошел вслед за ней и на огороде выстрелил из имевшегося у меня нагана в женщину. Когда я стрелял, я был от нее в нескольких метрах. В женщину я выстрелил один раз, и она упала. Потом я выстрелил в ребенка. Я это сделал потому, что было распоряжение Барчика и немецких командиров расстрелять всех жителей деревни Студенка. Кажется, человек пятьсот»

* * *

… Его же показания:

«… Около сруба в деревне Маковье находились немецкие офицеры Сальски и Роберт — имя это или фамилия, я не знаю. И еще другие немцы. Сальски приказал открыть огонь по людям, которых загнали в сруб недостроенного дома. Сальски умел разговаривать по-русски и давал команды на русском языке. Я установил ручной пулемет на ножки против проема для дверей в срубе — метрах в десяти от него, и мы открыли огонь… Немецкие и офицеры и командиры взводов стреляли в людей из автоматов. Тупига через окно. Это я помню, потому что еще боялся, как бы он сюда не завернул свой пулемет, потому что стрелял в боковое окно».

* * *

Из показаний Карасева Григория Семеновича — уроженца деревни Неговля Кировского района Могилевской области:

«В противоположном от входной двери конце комнаты мы обнаружили двух пожилых женщин, которые сидели на кровати. В чем они были одеты, не помню. С ними мы ни о чем не разговаривали. Смурович выстрелил из карабина в одну женщину, и она упала на пол. Затем я из своего карабина с трех метров выстрелил в грудь другой. Она тоже упала. Помню, что, не обращая внимания на убитых женщин, мы открыли сундук…»

* * *

Из его же показаний:

«Я зашел в один дом и увидел в первой его половине убитыми женщину и мужчину. Проходя во вторую половину, я увидел люльку, подвешенную на веревке к потолку, в которой лежал ребенок в возрасте примерно одного года. Был ли это мальчик или девочка, я не

разобрался, выстрелил в упор из винтовки и убил его».

* * *

Из показаний Багрия Мефодия Карповича — родом из села Михайловка Полтавского района:

«Мне хорошо помнится такой случай. Я проходил по деревне, называлась она, кажется, Нивка, и я видел немца, который нес мальчика лет шести-семи, держа его за рубашку, а затем три раза его о землю ударил и убил».

* * *

Его же показания:

«Парень, лет, может, десяти, вцепился немцу в ремень: „За что ты убил маму?" Тогда я выстрелил. А немец снял с кровати грудного ребенка с подушкой и положил на пол. Поднес ствол винтовки к самому лицу и выстрелил. И приказал вытаскивать тех, кто под кроватью.»

* * *

Бывший каратель Силин Александр Иванович — уроженец деревни Точище Кличевского района Могилевской области:

«Когда возвращались из Борок домой, кто-то из карателей рассказал, что Русецкий Андрей расстрелял по приказанию Иванова Афанасия целую семью. Тогда же все смеялись, что, когда Русецкий расстреливал людей, у него тряслись руки».

Из письма-заявления Муравьева Ростислава Александровича (после приговора к расстрелу):

«В этом письме речь не обо мне, а о моей семье и моих родственниках.

2 сентября 1945 года я добровольно возвратился из Франции и в Советской зоне явился в контрразведку, считая, что моя фамилия и мои преступления ей известны. Но на меня, к сожалению, посмотрели с изумлением. Обо мне не знали. Тогда я поставил перед собой цель — наказать себя, но так, чтобы можно было трудом доказать правительству: мои преступления перед родиной совершены не из ненависти к Советской власти, а растерянностью в начале войны, страхом перед голодной смертью и возмездием со стороны карательных органов, трусостью перед смертью в момент пленения. Наговорил на себя «достаточно», судом был приговорен к 15 годам и направлен на шахты…

Никогда никому (а тем более семье, родственникам) я не

рассказывал о своих преступлениях и думал, честно говоря, что уже не придется.

Я вас очень прошу — не передавайте огласке через газеты, радио, телевидение и другие каналы информацию о предстоящем процессе.

Вся моя семья и родственники — истинные труженики и порядочные люди в лучшем смысле этого слова. Я преступник, в 1945 г. наказал сам себя (к сожалению, недостаточно), а в 1971 г. объективно выходит так, что больше наказывается моя семья. Машина «Волга», гараж и 4,5 тысячи денег — это принадлежит моей жене. Тем более, что в 1945 г. у меня была конфискация. Таких женщин, как моя жена, не так уж много на Руси, будьте милосердны к ней. Она, интеллигентная женщина, врач-гинеколог, добровольно приехала ко мне на поселение, самоотверженно разделив трудности, переживаемые мужем.

Я каким-то образом оказался среди них уродом, так пусть же весь мой позор падет только на меня.

Будучи в плену, я во многом заколебался и считал, что навсегда потерял Родину. Я был совершенно обессилен и убит. Уже тогда я считал себя преступником и не понимал, почему так случилось. Я не могу точно сказать, почему оказался в стане врага. У меня не хватило сил сопротивляться, и я стал врагом по стечению обстоятельств. Всему виной война. Попав в плен, я считал себя конченым, потерянным для страны человеком. Я пошел на службу к немцам, т. к. у меня было одно желание — выйти из лагеря. Меня преследовала мысль, чтобы только выжить.

Все происшедшее со мной в 1942 — 1944 гг. я расцениваю как большое горе, причиненное Родине, а также мне и моей семье… Я не стараюсь защитить себя, однако я хочу сказать, что мы сейчас не такие, какими были тридцать лет назад… Но несмотря на все это, я считаю, что ко мне должна быть применена высшая мера наказания. Только прошу не обижать мою семью и не конфисковать имущества.

Я не отрицаю своей вины, не прошу снисхождения, но не могу принять на свой счет ряд преступлений. Я занимался укомплектованием кадров, рекомендовал офицеров и унтер-офицеров, устройством семей полицейских, конфликтами между немцами и русскими — был просто офицером связи.

Я предал свою Родину, я изменник, я подлец, но я был солдат в стане врага, а не изверг и палач!..

В то время я был в основном солдатом, которому была

противна такая жизнь, я лез всюду, где меня могли убить, но, к сожалению, пуля не нашла меня тогда.

Разве я знал, куда попал, когда из плена «добровольно» поступил в команду СД? Только через месяц узнал. Желание выжить, а также узнать, что же это за сила, которая смогла сломать Советскую власть (тогда казалось именно так), и привело к падению, а потом немцы окончательно связали одной веревкой с собой…

Только я лично никого не убивал, не истязал. Это наговоры. Зачем мне это было, если у меня было под командой столько людей? Уже за то, что я ими командовал, я больше, чем они, заслуживаю высшей меры. Какой мне смысл теперь отрицать?..»

* * *

Из будущих исследований, источников о гипербореях XX столетия:

«В эпоху долгожительства воистину редкой добродетелью среди гипербореев стала готовность прекратить собственное существование. Даже когда жизнь теряла всякое человеческое оправдание и становилась опасной для чужих жизней. Гипербореи живут восклицая: «Лучше ты умри сегодня, а я — завтра!» И в одном они талантливы, все без исключения гипербореи — в искусстве самооправдания. И тем искуснее здание, чем меньше у них материала».

РАЗГОВОР УМЕРШЕГО БОГА С ПРОСТИТУТКОЙ

Она. Что означают все эти часы, Господи? Или это какая эмблема, знак? Собираешь старые часы и развешиваешь среди звезд.

Он. Ты снова пришла, женщина! Спасибо, добрая душа. Я тебе кажусь старым часовщиком? «И времени больше не будет…» Это все иконы времени, они остались, музей, назовем это так. От потопа — водяные, от сотворения планет — солнечные, от сотворения вселенной — эти, с черными дырами там, где привыкли видеть цифры…

Она. Значит, они вместо икон здесь?

Он. Не вешать же мне свои портреты! Ни у кого нет такой коллекции, правда ведь? Песочные, механические, электронные, радиоактивные… А эти знаешь какие? Расщепляют время: секунду растягивают на многие годы. Об их существовании человек догадывается, но смотрит на них обычно лишь в самые последние свои мгновения, перед концом. Потому что и дальше жить в полусне, как вы живете, уже некогда.

Она. Одного только петуха здесь нет. Меня в детстве, в моей

деревне петух будил. В окно заглядывал — одним, другим глазом, сердито так, такой желтый.

Он. Ему здесь было бы одиноко, живому.

Она. Ты об этом снова... Будто Ты можешь умереть на самом деле!

Он. Это не я говорю. Помнишь, как радовался твой студент: «Боги умерли! вперед, высшие люди, гипербореи! Умерли боги — пришло время сверхчеловека!»[6]

Она. Ты тоже считаешь, что я повинна в его безумии. Я столько раз об этом читала... Вернее, мне читали: не пропустят, покажут! Не слишком ли много на мои слабые плечи?

Он. Ты подошла, ты погладила его по щеке, а он убежал, а потом все-таки вернулся... Так и было на самом деле?

Она. Да, вернулся, отыскал меня. Я его предупредила о своей болезни. Потому что увидела: он меня любит. Представляешь — меня!

Он. Значит, он был ужасно одинок, ужасно! Есть у меня знакомый, он пишет...

Она *(не слушая)*. Значит, все-таки я, во всем одна я повинна! В безумии его, а значит — и всех.

Он. Я этого не говорил, женщина. Есть у меня знакомые и среди историков. Приходилось слушать их громкие споры. Так вот, твой бедняга студент лишь помог болезни определиться. Он лишь выразил красиво — и может, это главный грех его! — совратительно красиво прояснил то, что происходит в мире. И тем самым повесил вину времени себе на шею... (Хорошо умеют иногда написать мои знакомые.) Ничего не скажешь, словом владел и он, твой огнепоклонник, антихристианин: «Отвратить свой взор от себя захотел Творец и создал мир...» Да, имел буквы, как он выражался, «чтобы и слепые их видели». Слепых оказалось больше, чем он даже мог рассчитывать, когда звал действовать ножом. Во имя «новой любви» к человеку. Тщеславное зеркало — вот кто твой велеречивец! «Смотрите, люди, как я вас беспощадно отражаю! А для этого — смотрите на меня». На меня! — в этом вся штука. «Знать вас не желаю, презираю вас, ничтожества, смотрите, смотрите, как я вас знать не хочу! Сюда, на меня, в меня смотритесь!» Густо же вас на этом замесили — на злом, не добром тщеславии. Унизить — чтобы возвыситься!

Она. А мне он показался таким добрым и сострадательным —

---

[6] Фридрих Ницше.

похожим на женщину. Глаза, как у больного ребенка. Я у него первая была, я сразу поняла.

Он. Первая женщина — и сразу сифилис! Можно обидеться, рассердиться на целый мир.

Она. Я даже денег не взяла. Зачем он не ушел, вернулся, господи, я же предупреждала его?

Он. Свое хотение поставил превыше всего. Это с вами бывает. Нет, я в высоком, в бытийном смысле!..

Она. А потом, на фотографиях, он стал носить эти противные солдатские усы. Такие были у солдат, что поймали меня на отцовском лугу и затащили в лес. Они все лошальми воняли. Вот они и заразили.

Он. Они — тебя, ты — его.

Она. А он — всех?

Он. Мы с тобой уже говорили: не так все просто. Вот у меня физик есть знакомый, так он предлагал такую модель...

Она *(не слушая, о своем).* Если моя вина, так не с меня же началось. А кто-то и тех солдат...

Он. «В начале было Слово, и Слово было Бог...» Так, кажется, у Иоанна? Но Сына зову в свидетели: не того я хотел! Я вообще ничего не планировал, не задумывал. Твой студент угадал: я не из глины создал вас — из вдохновения! Вы удались мне в особенно счастливый миг. Такого не бывало *до* , не повторялось после. Может быть, и впрямь: стало одиноко и захотелось иметь равного себе. Вот вы все в небо всматриваетесь, по-вашему, Космос. С первого дня своего. Даже подпрыгиваете от нетерпения. Как дети: все хотите убедиться, что вы не одни, не одиноки. И вас очень обидела бы догадка, что вы могли и не возникнуть. Даже моего хотения или нехотения было недостаточно. Нужна была та минута, озарение.

Она. Кажется, ты жалеешь уже о своей щедрости, удаче, Господи? Да, мы жестокие и неблагодарные дети. Но ты же мог и подрисовать свое творение, подправить.

Он. Исправлять, улучшать вдохновение? Доделывать, переделывать. «С холодным носом» — как любит выражаться один мой знакомый режиссер! Которому никак не удается осуществить свое вдохновение. Потому что другим заранее известен результат. У меня комитета по делам вдохновения не имеется. Ну, а если серьезно, так ведь я отдал вам все: и тот инструмент, которым вас сотворил, — Природу. Продолжайте, заканчивайте. И самих себя — тоже. И вы черт знает что смогли, сумели — нельзя не поражаться! Планету, которая вам была дана на вырост, сделали маленькой. Хотя начинали, как муравьи. Физик, тот самый, как-то вывел — специально для меня!

— формулу исторической энергии, разрушительно возрастающей... Тут уж впору действительно вмешаться, «из Космоса» посылать сигналы: холодно, холодно... тепло, тепло!.. жарко! А какими я вас видел вначале, как жалко вас было порой, когда человек уступал всякому, у кого клыки и когти. Подальше от саблезубых и поближе к смирным, как коровы, динозаврам! (Впрочем, эти прошли по земле раньше.) Скромно пользовались тем, что уже завоняло и не привлекает никого. Вас было так мало в большом, в огромном мире, что себе подобных убивать — на это разума еще не хватало.

Она. Но Каин?..

Он. Это позже, гораздо позже. Когда человек познал радость наслаждения властью, жестокостью. Радость ножа!

Она. Почему же, почему? Это обязательно, Господи?

Он. Хотелось бы верить, что не обязательно. Но мне труднее: я больше помню. Я все помню! Как бы не пришлось и человека, уже мне, вносить в Красную книгу! И еще неизвестно, по чьим формулам — физиков или поэтов, таких, как твой студент, Землю взорвут...

Она. А значит, нельзя нас оставлять одних.

Он. Не все так считают. Студент твой лучше знал людей: «Бог, который все видел, даже человека: этот Бог должен умереть! Человек не выносит, чтобы такой свидетель жил!»

Она. Я женщина, и я особенно чувствую, как тяжело человеку одному.

Он. Кто знает, возможно, мне действительно не хватило твердости до конца. Или любви. Тоже до конца. Не знаю. Как у моего знакомого хирурга. Нужно было сделать операцию, а он — самый крупный специалист — отказался. Не решился. Перепоручил. Ведь на столе лежал его сын. Это не жестокость, поверь, женщина, это другое что-то.

Она. Я знаю. Это любовь. И что, сын умер?

Он. Умер отец!.. Ну, я, кажется, делаюсь высокопарным. Да, у него все прошло благополучно... А у меня... Увы мне! Я устал миловать!.. Злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи злодейски!.. Устал я! Враждуйте, народы, но трепещите!.. Вооружайтесь, но трепещите!.. Будут жечь оружие, а спасения не будет!..

И сломлю гордое упорство ваше, и небо ваше...

Она. Теперь ты страшен мне! Не узнаю Твоего голоса, лица.

Он. Небо ваше сделаю, как железо, и землю вашу, как медь... Мясо будете есть, пока не пойдет оно из ноздрей ваших!.. Ибо господь, бог ваш, есть огнь поядающий, бог ревнитель...

Она. Ты ли здесь сейчас, Господи? Разве не о тебе сказано:

«Когда он замечает, что мир заслуживает уничтожения, тогда, встав с трона суда, он садится на трон милосердия»?

Он. А потом пришел он. И воздвиг арку мира между мной и вами. В облаке гнева явилась радуга. Жалость к вам — жестоким. Сострадание — к безжалостным. И это пересилило даже к отцу любовь, веру в обязательную его справедливость. Он возжелал — на глазах у отца! — перетерпеть ваши муки. Мне в укор: «Не делай другим, чего не пожелал бы себе — сыну своему!» Вот как против меня поставил мою же заповедь. Каплю за каплей испил, со страхом, с человеческим страхом: «Отче мой! если не может чаша сия миновать меня…» Через собственную, через родную роль я ощутил, каково и вам — да, недобрым, да, жестоковыйным, но от самих себя и страдающих. Я в ад спустился — к сыну. Впервые вошел туда. И ад широко раскрылся, чтобы уловить бога. Не стало адского огня. И бога прежнего — опоясанного огнем и гневом — не стало. В ваши руки отдана судьба ваша. И огнь поядающий — в ваши руки. Ну, чья десница тяжелее? Бога небесного или божков земных? Тех, что обожают управлять миром. С молодых ногтей готовы уверовать, что мир для того создан, чтобы они имели это удовольствие — управлять.

Назовите мне жертвоприношения, каких не возродили они! Отцы детей, дети родителей отдают на заклание — идолам. Которых сами потом низвергаете. Чтобы освободить место для новых?..

Она. Господи, у меня не такие ноги, чтобы шагать за тобой с вершины на вершину — по притчам твоим.

Он. Неужели нужно быть распятым, чтобы тебя услышали? Или огнем опоясанный должен вернуться я?

Она. Пожалей их!

Он. А вы, вы хотя бы испугайтесь! Пока не поздно.

Она. В них твое дыхание.

Он. Хочешь сказать: они такие, какими из моих рук вышли. Но я уже объяснил. А мне один физиолог попытался и научно разъяснить результат моего вдохновения — феномен человека. Оказывается, в зверюшек я вложил их самих. И ничего больше. Они изначально равны себе. А человек равен тому, что из него еще сделают. Условия сделают и другие люди. В волке заложен «волк», в овце запрограммирована (как выражаются мои знакомые) «овца», и они ролями не поменяются. Как это происходит у вас — палачи и жертвы!.. Ни при каких условиях. Из нормального кузнечика всегда получится кузнечик, из воробья — воробей, из тигра — тигр. Не то, совсем не то человек! Если его вырастят обезьяны, будет обезьяна, хотя и в человеческом обличье. Если волчица вскормит своим

молоком и воспитает, будет волк. Пустота, которую я оставил в человеке, может заполниться чем угодно. Я лишь сосуд изваял — особенный, не могу не гордиться! — и вручил вам. Сами собой наполняйтесь. Всем, что накопили, накопите. Друг другом наполняйте себя. Собою — других. Род ваш неделим. В тебе — все, и в каждом — ты. Сами себя делающие, творящие — вот кто такие люди!

Она. Но мы так хотим счастья! Больше всего. Все хотят счастья.

Он. Хотят все. Но почему же так часто — это я у себя спрашиваю — желание и обещание добра кончается злом? Даже крест, на котором умер мой сын во имя любви, сумели превратить в символ раздора, ненависти.

Она. Кончится тем, что ты нас возненавидишь!

Он. Даже у богов есть свой ад: это их любовь к людям! Тут прав студент твой... О, если бы я знал, перед кем стать на колени. Если бы знал, перед кем. Просить, молить: не загубите случайное и лучшее мое творение! Не сотрите живые письмена! Никто не сможет — и я тоже не смогу! — повторить. Никогда больше.

Я молить готов!..

Она. Господи, что ты сделал? Господи! Что со мной теперь будет, с нами? Ты меня (такую! меня!) поцеловал? В самые губы! Совсем обезумеет мир. Что ты сделал, зачем? Я же предупреждала!.. И его тоже. Что вы делаете с собой, несчастные? Что вы делаете, проклятые?

ПО НАПРАВЛЕНИЮ К ЦЕНТРАЛЬНОЙ УСАДЬБЕ ДЕРЕВНИ БОРКИ

* * *

Выезжая из деревни, где его солдаты и новички–«иностранцы» побежали по дворам, по хатам, Дирлевангер уже не помнил о тех, кто сейчас работает или кого убивали там. Хватает у него и других забот, мыслей. Сидящий рядом с водителем штурмфюрер Муравьев молчит и неподвижно смотрит вперед: умеет не мешать, когда шеф не в настроении. Этот азиат с широким носом и тонкими губами знает, как себя вести. Ненавязчив, но всегда под рукой. Такт и понимание дистанции у него есть. Но все равно Дирлевангер уже принял решение. Слишком значительные фигуры участвуют в тайной игре, возне вокруг Оскара Дирлевангера, и тут уж не жалуйтесь, если кому-то будет плохо. На то он и «дублер» — русский дублер командира спецбатальона — чтобы делить и неприятности своего шефа. А если надо, то и «козлом» быть. Тем самым, в которого русские бросают все шишки.

И там, в деревне, когда рассматривал шеренгу новичков и слушал штурмфюрера Муравьева, его инструктаж на русском языке, думал не о них, а о письме партайгеноссе Фридриха, сочинял мысленно ответ, умелый, предусмотрительный ответ. Написать и отправить завтра же. Отличная идея: изложить как бы в дружеской болтовне все обстоятельства и расставить акценты-ловушки таким образом, чтобы письмом сразу заинтересовались в цензуре и подали его выше, как можно выше. Уж там-то поймут! Ничего нет хуже, как иметь дело со средним, а не с высшим звеном. Сверху и гром-молния ударить может, но зато там не боятся брать на себя ответственность. Там юмор понимают — не то что эти безликие чиновники! И там нет предрассудков старонемецких. Упомянуть в письме имя рейхсфюрера Гиммлера таким образом, чтобы узрели намек на личное знакомство и общую тайну, но и вроде бы двусмысленность. Сразу подадут наверх. А рейхсфюрер, возможно, помнит, как однажды уже протянул руку помощи безвестному старому бойцу партии Оскару Дирлевангеру. Должны наконец понять, что тут не рядовой случай, а все та же и очень опасная практика: сведение трусливых чиновничьих счетов с настоящими революционерами национал-социализма! В конце концов все держится на немногих людях, близких по духу, — и сама пирамида государства. Высший государственный интерес — сохранять дух национал-социализма, а он в старых бойцах. Уже был случай, когда рейхсфюрер простер грозную и спасительную руку. А ведь тогда Дирлевангер даже не был принят в СС. Все не могли забыть, что он ветеран СА, что близко стоял к Рему. Глупый и храбрый, доверчивый капитан! — сколько репутаций и жизней увлек он за собой в могилу. Но Дирлевангер никогда не бросал вслед ему камни, как это спешили делать другие. Потому и раздули историйку с девочками-малолетками. Ах как вдруг всем стало не по себе от «страшных» слов: развращение лиц моложе четырнадцати! Но попало это дело на глаза рейхсфюреру Гиммлеру, и сразу мрак озарился человеческой усмешкой понимания: «Смотри, какой браконьер!» Свет и воздух ворвались в канцелярии: «параграф 176, абзац 1 — за совращение, развращение...» — сразу все потеряло грозное значение, одно живое слово поставило на место все и всех. Стали повторять, тоже с пониманием: «Ах, это тот браконьер?..» И вместо тюрьмы, лагеря — легендарный авиаполк «Кондор», Испания! А теперь снова зашевелились, подбираются, подползают. Снова пытаются отнять у Германии еще одного ветерана движения. Ненавидят и боятся «плебеев». Это они в свое время натравили фюрера на штурмовиков, на Рема, боялись, что рейхсфюрер станет действительно народной

армией, а вчерашние обер-лейтенанты, капитаны выметут из штабов всю генеральскую рухлядь. Теперь, когда побеждаем, они гоже активисты, научились руку выбрасывать, тянут старательно! Поверх голов старых бойцов стараются дотянуться до фюрера.

* * *

Муравьев повернул назад голову, показалось, что к нему обращены смех и восклицания шефа. А тот сердито встретил его взгляд и приказал водителю, чтобы обогнал болванов, которые пылят впереди «опеля». Немец-шофер длинно, требовательно засигналил, пятнистый бронетранспортер сразу свернул в зеленую рожь и остановился, качнувшись, а хвост пыли обогнал его и медленно пополз по дороге — навстречу дымам.

«Дорогой партайгеноссе Фридрих...» Начать и сразу же: «Я приятно поражен...» Именно — приятно! Да, да, приятно поражен, что рейхсфюрер СС лично получил сведения о моей жизни в Люблине... На этих словах задержится брезгливый и цепкий взгляд — стеклышки знаменитого пенсне: «Кто это смеет ссылаться, поминать всуе имя Гиммлера?» Да, Дирлевангер, Оскар Пауль Дирлевангер, обратите внимание — уже штурбанфюрер, командир специального батальона! Тот самый «браконьер» и, между прочим, ветеран Испании, Польши. О Польше как раз разговор идет, о Люблинском концлагере... Вцепились, как псы! Не сдал, видите ли, какие-то подштанники еврейские. Не по инструкции сдал имущество. О, эти их инструкции! Они и сюда их шлют — с моих же отчетов списывают и мне же указывают, как и что делать. Где зубы, золотые челюсти куда девал? Будут жрать гусей, поросят, которых соберет и отправит мой батальон, и снова писать про подштанники и зубы. Потеряешь с ними всякое терпение. Но в письме об этом — вскользь, с презрительной усмешкой. С горькой и презрительной. И, может быть, упомянуть о подарке рейхсфюрера — о книге «Чингисхан». Книгу с автографом Гиммлера, хотя и не он автор, вручают всем гауляйтерам и командирам отличившихся айнзатц — и зондеркоманд. Отличившихся! А рейхсфюреру будет приятно прочесть, что намек, что юмор его с рассылкой этой книги понят, оценен. Эти просторы основательно утюжились с востока на запад, пришла пора проделать то же самое — с запада на восток. Пожать руку Чингисхану — через тысячекилометровые пространства, через века! Вот это мышление, масштабы — не ваши дерьмовые инструкции: «Напряжение дня рекомендуется снимать товарищескими вечеринками, чтением писем родных и близких...» Может быть, чтением ваших инструкций-

рекомендаций? Вот возвратимся из этих Борков в Печерск и тут же примемся. Идиоты!

«Я приятно поражен, партайгеноссе Фридрих, что бригадный генерал Г...» (Не называть фамилию полностью, пусть разгадывают!) «Что бригаденфюрер Г. выполнил свой долг и...» (хорошо бы написать: «оклеветал меня»). Выполнил, свинья! Получается, что только бригаденфюрер озабочен государственными интересами. Сколько месяцев минуло после того Люблина-Майданека, уже целым батальоном командует Дирлевангер, жизнь, судьбы тысяч уже не поляков, не евреев, а этих советских белорусов зависят от его решимости и твердости, а бумаги все ползают по следу, ищут, нащупывают. Заодно с этими бандитами-партизанами, да, да, и те и другие хотят одного: уничтожить Дирлевангера! Вот так оно получается, мой дорогой рейхсфюрер! Послушать их, так люблинский Оскар Дирлевангер об одном только и мечтал: сохранить жизнь полсотне евреев. А вторая его вина: отравил их, тех самых евреев. Концы с концами не сходятся, но это не имеет значения для немцев, которые от зависти или с испугу топят других немцев. И тем самым великолепно демонстрируют расовое братство. Ах, какой нехороший этот Дирлевангер: взял и отравил тайком! Чтобы, пользуясь отсутствием бригаденфюрера, самому распорядиться золотыми челюстями и коронками. Сначала подкармливал, даже вступал в дружеские разговоры — для себя отобрал и оберегал тех, у кого золото во рту. А потом быстренько отравил, а золото исчезло.

Все убедительно. И все ложь!

Такие бригаденфюреры слишком высоко оценивают свою деятельность в лагерях. Предел их стараний и преданности фюреру — убрать парочку миллионов евреев из Европы. Аж мурашки по спине от таких масштабов! Им нас не понять, для кого такая работенка — лишь способ разогреться, зарядиться перед настоящим делом. Перед нами не три, не пять, а тридцать, пятьдесят, сто миллионов — славянское море! Приехал бы да помотался по белорусским болотам! Это не за двумя рядами проволоки сидеть, на пулеметных вышках. Непроходимые леса, болота, бандиты за каждым кустом и углом — вот в каких условиях мы работаем.

Тут сразу забыл бы о золотых зубах. Не казалось бы событием, достойным внимания высших инстанций, «неправильное» оформление имущества пятидесяти заключенных. Сколько можно об этом спрашивать, а мне отвечать на дурацкие запросы? Гауптштурмфюреру Штрайбелю сдал — Штрайбелю! Штрайбелю! — и все пошло для каторжной команды. Все штаны-подштанники! А что касается

паршивых коронок, так их вырывали в присутствии начальника полиции Люблина, и все передано лагерным врачам. Да, да, дантистам! Разве вам ничего об этой практике неизвестно? У эсэсовцев тоже портятся зубы, и для них всегда оставляют часть добытых коронок. Я будто знал, предчувствовал, а потому сразу поставил в известность самого бригаденфюрера Г., хотя он теперь делает вид, что впервые слышит об эсэсовских зубах, о практике, которая не с нас началась. Отшибло память, как только прослышал, что узнали и недовольны в Берлине. Такие немцы переносят в нашу среду нормы, которые могут практиковаться лишь в отношениях с другими расами, ненемцами. Если все смешать, как же мы построим новый порядок, честную немецкую жизнь на всей планете? Значит, можно лгать и немцу, травить своих — если не собаками, так бумагами! Нет, подумай, партайгеноссе Фридрих (и вы, рейхсфюрер!), как все просто и убедительно! Пил шнапс с евреями, имел любовную связь с еврейкой, а потом взял и всех отравил! Целый барак. Более того, слушайте, слушайте! Уже колебался, раздумывал, не отбросить ли мне мои прочные принципы мировоззрения и не променять ли их на благосклонность какой-то еврейки. Но потом испугался и накормил их мышьяком. Как здорово угадывается в этой логике собственная их неполноценность! А как сами они верят в окончательную победу идей фюрера, пусть другим рассказывают, но только не мне. Видел, насмотрелся уже в Польше. Чего стоит одна история с рубашкой поляка: тайком вышил по ней цифры забитых в лагере и фамилии самых старательных фюреров, а они прочли, и такой переполох был. Точно склад оружия обнаружили! Все тряпье перебрали: а нет ли где еще доноса на них? Ты же сам мне, партайгеноссе Фридрих, рассказывал, что и на тощих задницах смотрели: а вдруг там кто-нибудь выколол цифры и фамилии для будущих мстителей, там прячет обвинительный материал! А рваную рубаху с нитяными их фамилиями не забыли послать в Берлин: смотрите, как мы рискуем, оцените наше мужество! Каким голосом запели бы вы на моем месте — в этой бандитской Белоруссии! Попробуй втолкуй типам, которые лишь заучили, как молитву, национал-социалистские идеи, что не ко всем обычные мерки приложимы, попробуй объясни свои поступки людишкам, у которых идеи фюрера не расцвели в душе радостью, игрой, наслаждением! Они даже не допускают положения, когда настоящий немец, человек-господин испытывает потребность проходить, как нож, через массу недочеловеков, не боясь измазаться Потому что старого бойца ничто замарать не может. Смелая, рискованная, на самой грани игра! — что еще даст такое ощущение

хозяина положения, господина, победителя? Вам бы все за стену прятаться, через стеклышко следить, чтобы не слышать воплей и проклятий! Сюда бы вас, в Белоруссию! Тут «контактов», даже «нежелательных», не избежать. Как бы шокировало вас, если бы узнали, что мои солдаты на деревенских вечеринках играют на губных гармошках. Правда, потом, утром, заходят к тем же людям, в те же домаи всех ликвидируют. Всех, кому наигрывали. Но про эту мелочь в своих доносах вы, пожалуй, забудете упомянуть. Зато из губных гармошек извлекли бы громкое «государственное» дело!

Чембольше и чем презрительнее думал штурмбанфюрер Дирлевангер о грозящей ему «бумажной» опасности, чем увереннее выкладывал «партайгеноссе Фридриху» все свои козыри, тем неприятнее сосало под ложечкой. И тревожнее делалось, пропадало всякое настроение. И это в такой важный, ответственный трудовой день.

Слишком хорошо знал Оскар Дирлевангер, как рушатся судьбы и карьеры, подточенные незаметнымибумажонками и ничтожными людишками, которых, к сожалению, не можешь поймать в прорезь прицела. Человек уже у самого святилища, кажется, все нипочем для него, недосягаем, и вдруг летит с горы вниз, а вслед ему: полукровка! гомосексуалист! скрыл! присвоил!.. Не успел опомниться, а уже в Заксенхаузене, уже с черным или фиолетовым треугольником на полосатой одежде! Уже тихий, уже смиренный, с лопатой или киркой, уже и не представишь его прежним, в генеральском мундире, с моноклем. Слишком знакомо, сам наблюдал таких, когда служил в Люблине и ездили обмениваться опытом в Заксенхаузен, в Дахау. Вот и Поль — далеко не генерал, но преданный фюреру немец — храбрый пьянчужка Поль тоже прошел через это.争оползал с киркой да в полосатой одежде с фиолетовым треугольником извращенца. Счастье его, что на пути ему встретился Дирлевангер. Но и Дирлевангер не помог бы, да и не стал бы помогать, если бы не поступило от рейхсфюрера распоряжение-разрешение набирать в айнзатц– и зондеркоманды всю эту публику. Чтобы заставить их заняться немецко-полезной деятельностью.

Но как меняется человек, не перестаешь удивляться. Тот же Поль — был студентом, буйным и неуправляемым, потом заключенный под номером, без голоса, без лица, и снова прежний, но еще более буйный пьяный, все на своем пути крошащий Поль! Но даже не это главное — каким ты кажешься или выглядишь со стороны, а каким сам себя осознаешь. Это и Дирлевангер пережил, когда сидел в ожидании суда по обвинению в забавах «с лицами моложе четырнадцати лет». Ты уже вроде бы и не ты: губы сами

слипаются в улыбочку, плечи к ушам, а уши к плечам тянутся, любой вахман кажется господом богом...

А в концлагерях, как нигде, разглядел человека — в упор. Это мудрое распоряжение: всех, кому служить в «общих СС», посылать для стажировки в лагерную охрану. Действительно, начинаешь понимать, как выглядят и чем пахнут отбросы человечества. Преступники, евреи, проклятые поляки... Рейхсфюрер Гиммлер умеет самую суть выразить словом, которое запомнишь: «Походите, подышите у анального отверстия Европы!»

И вдруг сюрпризик: откуда-то вываливается Поль и становится по лагерной стойке: «головной убор» — тряпичное подобие берета, держит, прижав к груди, глаза приопущены. Слинялый, жалкий ошметок человеческий — бывший Поль Тюммель, дебошир и пьяница Поль! Дирлевангера он, конечно, узнал, но не радость и надежда, а трусливая, виноватая покорность была на его отощавшем грязном лице. Наглостью уже было то, что он узнал бывшего своего собутыльника и тем самым как бы приглашал узнать, признать его самого. Потолки лейпцигских пивных, студенческих кабачков, на которых он так любил расписываться, где-то и сейчас провозглашали имя Поля Тюммеля, но немца-арийца под этим именем уже не существовало, а был номер такой-то в полосатой одежде. Грязный, жалкий, несчастный. Главное, несчастный, и этим как бы подтверждающий свою принадлежность к отбросам. Этим — даже больше, чем одеждой и треугольником. Даже свежей, хорошей колбасы кусок, если по ошибке уронишь его в посудину с гнилыми отбросами, обратно не выхватишь и есть не станешь. Сразу же станет отбросами и он. Так и человек, даже если он немец, но если он потерпел поражение и вид его взывает к жалости. Заговорил с Полем, а в ответ голос из грязной посудины — лагерный голос, бесцветный, испуганно-покорный. Захотелось ударить, втоптать его еще глубже — чтобы уже ничего общего с тем Полем, с твоим студенческим прошлым!

Потом все же вспомнил о нем и даже вытащил, забрал в свой батальон. Но с того момента знал точно, ощутил — как чанах ощущают, — что и среди немцев есть расовые отбросы. Это те, кого жизнь столкнула вниз, под ноги, и кто смотрит оттуда глазами потерпевших поражение. Всем немцам грозило такое вырождение, если бы фюрер и его партия не вернули им волю к власти, национальную волю. Свалились бы надолго и, может быть, навсегда под ноги остальной Европе, сделались бы жалкой, обреченной нацией, неспособной к решительным действиям, к самоочищению. Даже

теперь, даже многие так называемые «идейные немцы» не понимают, зачем было перед большой войной усыплять двести или триста тысяч больных, старых, неполноценных немцев. Не в том вовсе дело, что нация не в состоянии была прокормить их. (Глупое и оскорбительное для трудолюбивого народа объяснение!) И не репетиция это была. (Как будто в лагерях не хватало нужного материала!) Нет, все было серьезнее. И толковое могло быть. Если бы сами оказались на высоте. Эти тайные «санитарные машины» для перевозок людей, эти «особые больницы», где делали последний укол и писались «истории болезни» и откуда посылались денежные счета родным и близким за «лечение» и за урну с прахом, — разве могло это остаться тайной, даже в условиях национал-социализма? Все подготовили, забыли только объяснение — толковое, убедительное — подготовить. Немцы, настоящие немцы поняли бы, если бы им вовремя и откровенно растолковали. Уж, кажется, не раз убеждались: делай с людьми что хочешь, но время от времени поговори с ними основательно, даже в чем-нибудь повинись — и можешь ехать дальше! Нет чего-то, ну и признай в удобный момент, что нет, что были такие-то упущения. Люди обрадуются правде, а про суть и забудут. «Пушки вместо масла!» — нам глаза этим кололи немало. Зато теперь пушки добывают немцам масло. «Правда вместо масла!» — принцип не менее полезный и проверенный. А мы им пренебрегли, и правду немецкий народ получил не из наших уст, а от коммунистов, из зарубежных передач да из проповедей церковных мракобесов. Какой вой подняли все эти «гуманисты»! Только где они были, когда ограбленные немцы подыхали с голода? Никому дела не было. А тут завопили. Еще бы, почувствовали, что немцы остаются немцами! И самые решительные из нас не позволят, чтобы гнилостная кромка нации — все эти душевнобольные и несущие в себе поражение члены нации — заразили, отравили ядом весь организм.

Но не в лицемерах и трусах, своих и заграничных, дело. И не в душевнобольных, явных. А в невольном чувстве, от которого и сам не свободен. Чувство это — ужас перед поражением. Кто побывал в лагерях, даже в охране, те действительно поняли, как просто и как страшно стать отбросами. Да что лагеря! Потеряешь здоровье, расположение рейхсфюрера, и хотя останешься немцем, но ты уже вроде и не ты, а нечто достойное жалости, а значит — истребления. Конечно, не все потеряно, если ты не красный. И все же! Раненые считаются героями, если они немцы. Пишут об этом, говорят. Но что-то не договаривают до конца. Ведь раненый стонами, видом своим взывает к жалости, будит в других немцах и поддерживает вредное для здоровья нации чувство. Сострадание, даже к своим —

обезволивающее, болезненное чувство. Волков не случайно называют санитарами леса. Но они и свое племя лечат тем же способом. Исходящий кровью, скулящий от боли волк вызывает в них ярость. Верный инстинкт! Будь нас не 80, а 800 миллионов, мы могли бы до конца быть последовательными. Каждый, кто хоть раз воззвал к чужой жалости, состраданию, тот сам швырнул себя в лохань для отбросов! О такой стерильности расы пока можно лишьмечтать. Но это не значит, что данный принцип не действует и сейчас. Действует! Только искаженно, уродливо, даже во вред полноценным немцам. Главное: не позволить, чтобы тебя хоть на миг столкнули вниз, под ноги! Чтобы снова на тебя наступить ногой, как на червя!..

Дружище Фридрих подмигивает, а у него тонкий нюх! И если уж он решился, да еще в письме, предупреждать об опасности, значит, это действительно так. Намеками на «старые грешки» с какой-то люблинской еврейкой показывает, что он (а значит, и другие) знают, слышали о Стасе. Уже роют, свиньи!.. Да, да, немедленная свадьба! Сидишь, дублер, о чем-то думаешь, а о том не думаешь, что в Могилеве ждет тебя невеста и свадьба!.. (Муравьев не стал оглядываться, хотя снова показалось, что восклицание и смешок шефа к нему обращены.) Ну, а письмо пойдет и сделает свое дело. Конечно, если его подадут рейхсфюреру и если он не забыл «браконьера». И все равно обидно. Чем выше поднимаешься по фюрерским ступенькам: обершар — гаупшар — унтерштурм — штурм — гауптштурм — штурмбан — тем нестерпимее знать, что где-то там прячется, ползает недобрая, завистливая, никчемная бумажонка, которая тем не менее способна оттолкнуть, сбросить вниз гвою лестницу — вместе с тобой. И чем выше ты, чем вес больший набрал, тем больнее и ниже падение.

Старые и новые бумажонки зашевелятся еще завистливее, когда узнают об успехах особого батальона Оскара Дирлевангера. Но нет, поздно, дорогие коллеги! Дай только бог, чтобы удачной оказалась поездка в Берлин... Пусть другие, со своими «чисто немецкими» батальонами, чисто арийским составом еще поучатся, как надо работать, реализовать на практике идеи фюрера. А уж потом пусть презирают «дирлевангеровский сброд». Намекнуть в письме, зачем еду в Берлин: тяжелое вооружение, минометы, орудия... От банд не отбиться, если заниматься тем, чем занят батальон, и не иметь усиленного вооружения... Налетят, как осы! Но батальон будет идти вперед. Если, конечно, не слишком будут мешать свои же — завистливые бумажные души. Спасибо бригаденфюреру графу фон Пюклеру, его приписка на последнем отчете, его поддержка

относительно тяжелого вооружения очень кстати… (Пусть знают, что и среди «фонов» у Дирлевангера связи!)

В этом мире все так, всегда. Ты занят трудным, сложным делом, можно сказать, новаторским, революционным, а кто-то обязательно виснет на руке, взбирается по тебе повыше, как крыса по ножке стола. Брр-р! Письмо закончить брезгливой, ироничной фразой. Нет, усталой, как бы нехотя: проводил вчера крупную операцию против банд. Две тысячи врагов Германии можете списать со счета. Или, если угодно, записать на счет штурм-батальона Дирлевангера. Потерь не имел… Но это не значит, что нам легко. Я не возражаю, если кто-то захочет поменяться: фронтовые условия на наши. А то ведь и сейчас коекто там верит, что белорусы — самые безобидные из славян. Что ж, добро пожаловать! А я на ваше место — хоть на север, хоть на юг! И дайте мне обычных немцев, а я вам свой «национал-социалистский интернационал». Но прежде чем решиться, расспросите, какой это труд — о нервотрепке еще особый разговор! — сколько чисто физических усилий приходится затрачивать, чтобы всего лишь одну деревню уложить в ямы или уговорить войти в церковь, в сарай. Подождите, вы еще будете мои приемы, отчеты изучать в ваших академиях! Как Клаузевица.

* * *

Из будущих исследований и материалов по истории и психологии гипербореев.

«Наука на службе у гиперборейцев. Памятка гиперборею.

Человеческое тело содержит:

воды — достаточно, чтобы наполнить 10-галлонную бочку;

жира — достаточно, чтобы изготовить 7 кусков мыла;

углерода — достаточно, чтобы изготовить 9000 карандашей;

фосфора — достаточно, чтобы изготовить 2200 головок спичек;

железа — достаточно, чтобы изготовить средних размеров гвоздь;

кальция (извести) — достаточно, чтобы выбелить курятник…»

* * *

В небе, в лучах солнца, а ночью в прожекторном луче будет гореть кристалл. Увеличенное огромными линзами лицо великолепно забальзамированного фюрера будет хорошо видно всем снизу, с земли. Чтобы оставленные жить и размножаться помнили ежеминутно, кому обязаны всем. А то ведь, скоты, забудут всех, кто

выполнил главную работу — за них, ради них. Плывущий над землей кристалл, цейсовские линзы, огромные, как глаза Космоса, — волнующая идея! Но попробуй заикнись, и тут же получишь: Дирлевангер заживо хоронит фюрера! Зато сам он оценил бы человека, в душе которого вспыхнуло такое видение. Приказал бы вызвать к себе, и наконец состоялся бы разговор, который столько раз велся мысленно. Не заоблачные фантазии, нет, а прежде всего практические вопросы. Которые давно ставить и решать пора — с истинно революционным размахом. Пока они там пересчитывают чужие зубы, могут и свои потерять. Необходимо — и срочно! — создавать штурм-батальоны, как можно больше, на каждую округу. А тип батальона найден. Если, конечно, судить по результатам, а не играть словами: «дирлевангеровский сброд»! «дирлевангеровские уголовники»! Партизанские банды вырастают, как грибы. Москва не спит. Тут кто успеет раньше! Или они опомнятся, наберутся силы и злости, оружием запасутся, всех вовлекут в безжалостную войну за спиной у фронтов — и тогда достань их из болот и лесов! — или специальные бригады успеют так проредить население, что белорусы эти один одного не услышат издали, не увидят за дымом друг друга. Даже те, кто уцелеет, останутся. Вы опытом «дирлевангеровского сброда» вовсю пользуетесь, старательно переписываете в свои инструкции. И мне же с серьезным видом присылаете. Ладно, добра этого хватит у меня на все ваши канцелярии. Одни Борки, самим богом славянским созданные для широкого эксперимента, добавят ума и выдумки в ваши бумаги, как ни одна академия. Да разве поймут манекены в мундирах бригаденфюреров, что испытываешь, какие чувства немца, господина переполняют тебя, когда еще не труп, а живой стоит перед тобой и ты его заставляешь несмело улыбаться *нашим* золотом! Или когда засыпаешь и просыпаешься рядом с Юдифью. Знаешь, почти точно знаешь, что никакая она не Стася, и какие ножи в ее детском сердечке, как она их точит каждую ночь, смачивает слезами и видит во сне свою историческую сестру, при отблесках вражеских костров уносящую голову на золотом блюде. Засыпаешь и не знаешь, где — на детском плечике или на липком окровавленном подносе откроешь (откроешь ли?) глаза... Прикончить в собственном подвале пятерых сапожников и еврейскую дочку — для этого не надо быть штурм-банфюрером, ветераном движения, партии. Да и хватает такого дела в деревнях, и там оно посложнее — с бандитским этим народом. И уж если так хлопочете о нашем душевном равновесии, об отдыхе после нервной работы, позвольте мне самому искать и находить средства «снимать напряжение дня».

Какому-нибудь Полю достаточно получить двойную дозу шнапса — до и после. А другим не это надо. Мы говорим, много говорим про новую аристократию. А она начинается не с чего-нибудь, а с этого: одному и шнапса достаточно, а другому подай что-то потоньше!..

Стасю схватили при облаве на люблинских поляков — худенький нечесаный ребенок с дикими глазами и высокой грудью. Шейка — для двух пальцев, трогательная, как стебелек. Все это бросилось в глаза, хотя одета она была в какое-то рваное мужское пальто. Впрочем, мужская одежда лишь подчеркивала ее детскую женственность. Дирлевангер взглянул и прошел бы дальше к своей машине — он выходил из офицерской столовой, когда поляков гнали, проталкивали по улице — но взгляд зацепился за чьи-то горящие, яркие, будто узнавшие его, глаза. Он мог поклясться, что эта пойманная полячка его узнаёт, узнала — так она смотрела! Потом уверяла, что ничего подобного, что просто так смотрела, может быть, от отчаяния, а ему показалось. Так и не уверен, знала или не знала, что он именно тот офицер, который перекупил специалистов-евреев у фон Граббе, когда тот собрался переезжать в Смоленск. У жадной свиньи фон Граббе перекупил ее папашу и еще шестерых — за золото! Не их, конечно, а партию отличной хромовой и лаковой кожи, ну, а заодно и команду, которая этот материал могла превратить в первоклассную обувь. И теперь, пожалуйста, хром еще не израсходован, а ты кончай и последних, которые в подвале остались. Не жалко в конце концов и этой кожи, но глупо и как-то унизительно. Расскажи тому же Фридриху, что покупаешь за золото еврея, чтобы его прикончить, — да он сумасшедшим обзовет! Доложил герр коммерсант! Знала Стася о том или не знала, но неужели и до сих пор надеется, что Дирлевангер верит в ее маскарад? Какими отчаянно беззаботными, голубыми бывают эти глаза, когда заводишь, как бы случайно, разговор о евреях в подвале. Вот уж полгода игра эта подогревает их чувства. И не имеет значения, какие это чувства — даже если и ненависть, и ужас! Важна острота. Тихонько тащишь, вырываешь по одному из ее дрожащих пальчиков, подбираешься к черно-бородатейшему Лазарю, ради которого она пошла, идет на все! А сам как бы соображениями с нею, усталыми мыслями делишься. Совсем по-семейному... Мол, пора закрывать лавочку! Шушукаются по Могилеву, что у Дирлевангера ковчег еврейский, тайный. Все фюреры в наших голенищах форсят и мне же норовят ножку подставить. Хватит нам и четверых, даже троих нахлебников. Кто там еще остался? Этот грязный и грозный еврейский Яхве — Лазарь бородатый? Так, этот... Двое тощих братцев, как их там зовут? И Берка — нервирует он моих часовых

своими молитвами. Да, а зачем нам тот молодой, что он умеет, возможно, он даже и не сапожник? То-то они, хитрецы, хором его все нахваливают! Вот его прибрать… И, пожалуй, все-таки Лазаря. А то и в самом деле, наглая борода, поверит, что он незаменимый. Не таких заменяли! Нет, хороший был мастер, даже жалко! Сапоги на ногах не слышишь, не чувствуешь, спать в них можно!..

Даже веко, ресничка не дрогнет, так выдрессировала себя! Ваше, мол, немецкое дело, а меня подвал ваш не интересует! Только вот что… Впрочем, это пустяки, женская блажь, и какое право имеет горничная чего-то хотеть, даже если она самого Дирлевангера горчичная?.. Да и где я буду их носить, такие туфельки: я же никуда не выхожу, да я и не хочу никуда выходить! И туфелек, как у фрау Ольги, жены бургомистра могилевского, тоже не хочу. А вот штурмбанфюреру мечтала заказать краги. Ты будешь смеяться, но я однажды пол-Кракова прошла за каким-то паном, девочкой еще была, все смотрела, как красиво пружинят ноги в крагах. Зайчики солнечные играют, как на перламутровых раковинах. А вдруг этот молодой сапожник как раз специалист? А Лазарю я как раз хотела поручить туфельки… Он уже и мерку снял, прости, пожалуйста. Не успела тебе сказать…

Сначала ничего такого не думал про Стасю: полька как полька, какой с нее спрос! Почти верил, что так и есть и что родителей потеряла, не знает, где они («Ваши увезли!» — сказала наивно-обиженно). Мало об этом задумывался: не детей же крестить с нею, как любят говорить сами славяне! Пока не доложили, что часовой видел-слышал, как она веселой козочкой забежала в подвал с какой-то обувью в руках, а там вдруг стала тихо плакать, закричали на нее, заругались, — часовой заглянул, а бородатый черный Лазарь замахивается на Стасю железной сапожницкой «лапой». Тут она изо всех сил стала улыбаться, объяснять раздающему оплеухи немцу, что ничего не произошло и что она сама доложит штурмбанфюреру, пожалуется, что этот «противный старик» не хотел брать ее работу…

Тогда их было еще шестеро. Одного притащили, оставили в комнате у Дирлевангера, и он сам допросил. Взяли самого, молодого, потому что он знал немецкий и можно бьпо с ним поговорить без переводчика. А это было важно — Дирлевангер сразу заподозрил тайну не для посторонних ушей. Час спустя вывел бледного заросшего человека во двор к гаражу и застрелил. Последние его слова: «Я не сказал, что она дочь! Я не сказал, вы неправильно…»

Понял, все правильно понял Дирлевангер! Мог поклясться, что Стася смотрела, как выводил, как стрелял — в окно все видела, но

когда позвал ее к себе в комнату, явилась, как всегда, тихая, скромно-оживленная. Вот тут и подумал: да, это Юдифь, настоящая! Проклинаемая и готовая на все... Но ничего ей не сказал, что собирался сказать. Игра так игра! Пообещал, как утешил: «Скоро у нас будут столичные специалисты. Вот только заберем Москву. Пора для них место освобождать».

Даже захотелось в подвал спуститься, взглянуть на Лазаря поближе. Старый дурак, громовержец подвальный! Вот на кого овчарок спустить! И сам на себя поудивлялся: это что, я обижен, сержусь из-за своей «Юдифи»? Все-таки спросить ее напрямик, когда будет уходить «под венец» с Муравьевым: случайный был тот ее взгляд из толпы или же это Юдифь ловила случай, чтобы проникнуть в шатер кровавого Олоферна? Отчаянным взглядом умоляла увидеть ее, выделить в толпе, увести с собой — и выделил, и забрал ее (и еще троих полек) для работы на кухне (уже начал формировать свой спецбатальон). Сам привел в шатер и сам вручил поднос. Шатер, конечно, условный, а поднос самый настоящий, отличный, из серебра: будешь кофе подавать мне в постель! *Они там* расценят это как грубое нарушение «расовых законов» — если партайгеноссе Фридрих не преувеличивает и им уже известно. Не поединок расовых воль, а примитивное нарушение закона! Попробуй докажи, что не нарушение это, а как раз утверждение — высшее, через риск и иронию. Сколько в этой ситуации со Стасей-Юдифью именно иронии — над всей историей и традицией иудейской! В те минуты, когда из рук ее тащишь, забираешь еще одну еврейскую жизнь, в эти мгновения не Стася и не жалкая евреечка смотрит на тебя, а вся иудейско-христианская история ломает руки в бессильной ярости и отчаянье!

Турки — вот кто знал, как красиво можно пользоваться врагом, его душой и телом. Взрослых убивали, а из детей растили, воспитывали свирепых янычар для султанских дворцов. Зачем-то нужно было султану, чтобы над его ложем скрещивались кривые сабли чужеземцев, в чьих жилах текла вражеская кровь. Можно представить, как горячило это ленивую султанскую кровь — больше, чем все старания рабынь-наложниц.

Нет, правильно, что не струсил, не поспешил и не велел вчера прибрать их всех с глаз долой. Нельзя к собакам поворачиваться задом — оборвут штаны вместе с мясом. Сразу показал бы, что была вина, раз прячешь концы. А так, пожалуйста: вас мои сапожники интересуют? Можете забирать и хоть с кашей их съесть! Если, конечно, у вас хорошие сапоги и не хотите иметь еще лучше. Ну, а служанка Стася или как ее там... О ней поинтересуйтесь у моего

русского дублера штурмфюрера Муравьева. На днях была свадьба у них. Кажется, не запрещено офицерам–«чужестранцам»? Что-то не в порядке у невесты с расой, кровью? Надо ли уж так заботиться о их чистоте, какая разница? Что, она даже еврейка, эта самая Стася?! Мне бы ваши трудности — справиться с одной еврейкой! Если это даже действительно так. Меня вон деревни ждут. И не одна, можете поверить!

* * *

Муравьеву бы повернуться да взглянуть на шефа, и он заметил бы, каким прицеливающимся взглядом смотрел на него штурмбанфюрер, каким веселым. От нетерпения и удовольствия Дирлевангер даже голенища свои мягкие массажирует, почесывает. Аккуратненький адъютант его осторожно отстранился — знает своего шефа, предпочитает, чтобы он не замечал его. И Муравьев не оглядывается, не любит лезть шефу в глаза. Но не удержался, ответил взглядом на взгляд водителю, переглянулись с Гансом Фюрером. Дал же бог фамилию немцу! Каждый, если не переспросит, то подумает, что недослышал, что он какой-нибудь «шарфюрер».

— Да, да, просто Фюрер, — скромно подтвердит, обязательно подтвердит узкоголовый брюнет. И смотрит, как подмигивает. Фюрер этот не то польский немец, не то немецкий поляк — из Силезии он. И все в нем такое же неопределенное. То ли хитрец великий, то ли просто тупица с многозначительным от природы лицом, бывают такие лица. Вот и Муравьева втянул в неприятные ему лакейские переглядывания насчет «хозяина-барина». Но действительно, что с Дирлевангером сегодня? Что-то с ним происходит, аж повизгивает, как собака от блох, от тайных своих мыслей и планов…

* * *

И он тоже принюхивался, мой «дублер», к служанке Стасе, тоже интересно было, кто она и что она. Вот и понюхаетесь, на законном основании. Пусть попробует отказаться, как тогда зельтерскую отказался пить! Пусть еще раз попробует! С ними даже весело, с людьми. Если знать их так, как Дирлевангер изучил, знает. Берешь стакан воды, обыкновенной зельтерской воды, которую изготовляют для немцев в этом самом Могилеве, и подносишь молоденькому офицеру или «чужестранцу». Важен при этом взгляд твой, глаза — сначала рассеянные, потом все более внимательные, твердые, жесткие. Смущенно и неосторожно человек принял первый стакан из рук штурмбанфюрера и выпил. А второй не желаете? Может, сделаете

одолжение? Ну, тогда еще, если уж вам взялся прислуживать сам штурмбанфюрер! «Данке» — потом, а это я уже налил. И еще налить не трудно. Что, так и будет штурмбанфюрер держать налитый стакан, дожидаться, пока соизволите принять?.. Овчарками затравить — любой дурак сможет, а ты вот так, стаканом зельтерской воды! Муравьев, помнится, не поддался, сразу же ловко и необидно отказался: «Вода не шнапс — много не выпьешь!» На этот раз выпьешь все, что поднесу!

* * *

Из донесения офицера сельскохозяйственной комендатуры: «Люди этого батальона вели себя, как разбойники. Не обращая внимания на группы по изъятию скота, убивали скот непосредственно в хлевах, где его и оставляли. Далее его группы по 2 — 3 человека убивали свиней, забирая себе лишь лучшие куски их туш... Бессмысленное расточительство — это предательство интересов родины.

Аналогичные действия были совершены латвийской ротой № 1 /18 в Семежево, где они забрали у крестьян лошадей и распродали их».

«В эти дни батальон Дирлевангера провел в районе Радашковичей операцию по набору рабочей силы, что не дает мне возможности убрать на 100 проц. урожай. Из дер. Путники, Володьки, Олехновичи 1-й ротой этого батальона были угнаны все жители в возрасте от 15 до 50 лет. Среди этих людей были служащие районного управления, волостных управлений Декшняны и Дуброво, а также рабочие железной дороги и организации ТОДТ. Люди могли удостоверить свою личность выданными им пропусками, однако эти подразделения их не признавали. Эти показания подтвердили руководители названных учреждений.

Кроме того, в Раковской волости полностью опустошены 2 деревни; там нельзя встретить даже старика. После проверки установлено, что этим же батальоном отобрано у крестьян 250 — 300 лошадей, которые не были возвращены владельцам. Вот почему мне практически почти невозможно организовать уборку урожая.

Шмитц, районный уполномоченный по сельскому хозяйству».

* * *

«... Во второй половине июля с. г. немецкие отряды СС проводили очистку от партизан территории Воложинского района. При этом отрядами штурбанфюрера Дирлевангера были сожжены

вместе с постройками заживо жители деревень Першайской волости: Доры, Мишаны, Довгулевщина, Лапицы, Среднее Село, Романовцы, Нелюбы, Полубовцы и Мокричевщина.

Отряды СС никакого следствия не проводили, только загоняли жителей, преимущественно стариков, женщин и детей, в отдельные постройки, которые затем поджигались.

В Дорах жители были согнаны в церковь и вместе с церковью сожжены.

Глава отдела БНС Кушель».

* * *

«… Для работ по уборке урожая создаются специальные колонны из жителей близлежащих деревень, которые уже работают под охраной полиции.

Размещение нетрудоспособного населения по соглашению с уполномоченным по сельскому хозяйству в Радошковичах будет проведено в несожженных деревнях Радошковичского района.

Как уже сообщалось, совместная работа со штабом Крайкенбома шла хорошо, а со штабом Дирлевангера, как известно, не было никаких совместных действий.

О штабе Дирлевангера руководитель штаба по набору рабочей силы г-н Зандер сообщил мне следующее:

Штаб Дирлевангера вечером 1 августа 1943 г. забрал девушек из штаба Крайкенбома, которые работали там на кухне (девушки из гор. Ивенца). Девушек обвиняли в том, что они якобы сожительствуют с жандармами. По показанию матерей, которые ездили в Минск к своим дочерям, видно, что девушки были так избиты, что на другой день их передали в больницу гор. Минска. 1 девушка была расстреляна и 2 повешены. Поэтому о настроении населения гор. Ивенца в настоящее время не стоит даже и говорить. Большинство из этих девушек я знаю по своей продолжительной работе в Ивенце как порядочных и честных.

Районный уполномоченный по сельскому хозяйству Розе».

* * *

«22 сего месяца мне сообщил зондерфюрер Флеттер из 3-го батальона 31-го полицейского стрелкового полка в Першае о том, что местечко Першай, а также весь район общины Першай заняты батальоном Дирлевангера, который собирается осуществить обработку этой местности.

Все попытки добиться отмены этих мер оказались

безуспешными.

По поступившим до сих пор сведениям, сожжено 11 населенных пунктов, после того как из них было угнано население. Населенный пункт Першай избежал уничтожения лишь благодаря вмешательству майора, командующего 3-м батальоном 31-го полицейского стрелкового полка, расквартированного там.

Из этого населенного пункта были направлены в империю на трудовые работы следующие лица: все работники государственного хозяйства, все служащие общинного управления, все рабочие и служащие молочного завода, а также все трудоспособное население этого населенного пункта.

Мои просьбы оставить людей, необходимых для дальнейшей эксплуатации государственных хозяйств и молочного завода, а также для управления общиной, оказались безуспешными. Освобождены лишь бухгалтер и заместитель бургомистра, а члены их семей (женщины) не освобождены. Весь находившийся в стойлах скот был застрелен, сожжен или же уведен в качестве трофея батальоном Дирлевангера…

Метод проведения операции батальоном Дирлевангера привел к тому, что удалось мобилизовать лишь людей; в то же время была поставлена под угрозу эксплуатации хозяйства в ряде населенных пунктов из-за отсутствия людей и строений, а в остальных пунктах и государственных хозяйствах, где еще сохранились строения, работа очень затруднена из-за отсутствия рабочей силы.

Следует поэтому учесть то, что в дальнейшем резко сократятся поставки молока. Дальнейшая разверстка плана поставок является теперь беспредметной, поскольку требуется новая перерегистрация еще сохранившихся предприятий. Это связано с трудностями, так как полностью отсутствует весь аппарат управления общиной, а население пребывает в состоянии полной растерянности…

Районный уполномоченный по сельскому хозяйству в Воложине».

* * *

Вы годами их переделывали, моих ворюг и гомосексуалистов, всех этих бунтовщиков да социалистов, а полезными для райха людьми сделал их я — за месяц-два. Работают, и подгонять почти не надо. Да что месяц, я за три дня любого сделаю человеком дела, полезным. И уж во всяком случае лишу охоты и способностей вредить нам. Метод стерилизации социально вредных особей — на этот раз не физический. Секрет самый нехитрый, только изрядно подзабытый

даже у нас. в стране средневековых замков. В этих каменных гнездах когда-то широко испытывался тайный «способ омоложения детской кровью»: хозяева замков окунали свою изношенную плоть в красные ванны-корыта. В теплую детскую кровь. Идея верная, но слишком прямо, буквально понятая. Обновления можно действительно достичь, только в другом смысле. Кого только нет в моем батальоне, а хлеб немецкий никто даром не ест. У меня с ходу перекрасишься, кем бы ты прежде ни был! Сам себя перекроишь — мутти не узнает! И сам себя узнавать перестанешь. Вот она, сила крови детской. Это не мой метод — уговаривать, упрашивать: отрекись! прими наш символ веры! Много чести! А надо дело поставить так, чтобы каждому и каждый день приходилось выкупать собственную жизнь. Свою единственную и бесценную. Забрать ее как бы в залог — сам вручишь или ее у тебя силой прихватят, не это важно! — и пусть выкупают. Особенно важный взнос — первый. И лучше всего, надежней всего — детской кровью. Или бабу пусть прихлопнет — на глазах у всех. С этого начинается нужный нам человек, каким ему быть отныне и вовеки! Чем менее готов к такому шагу, тем интереснее. Прочесть бы его мозги: как изворачивается, как обещает себе и целому миру, что все поправит другими делами — еще верит, что будут какие-то другие. Не выстрелю в подставленный затылок — не будет и будущих славных дел! Вот так, не надо ему и подсказывать, сам всему оправдание найдет. А тебе остается лишь держать пистолет у его собственного затылка, и тогда не лбом, а затылком человек соображает. Затылком — и надежнее, и намного быстрее, расторопнее! Фюреру некогда дожидаться, пока вы их всех перевоспитаете. У меня же они не за проволокой, а на открытом поле — беги, если можешь! — за неделю становятся другими и новыми. Хоть ты их на палец наматывай! Когда собирал командиров таких формирований группенфюрер СС фон Готтеберг. чтобы обменялись, поделились опытом друг с другом, и съехались в Минск все эти зазнайки из «чисто немецких» зондер– и айнзатцкоманд, с каким недоверием слушали они выступление Оскара Дирлевангера! То, что у него больше, чем у других, в батальоне «иностранцев» — «сброд со всей Европы», вызвало не интерес, не желание присмотреться и поучиться, а покровительственное к Дирлевангеру, почти хамское отношение со стороны коллег. Хлопали по синие и спрашивали: а евреев в твоем «айнзатцинтернационале» много? Конечно, не хочется им, чтобы и их батальоны и роты все больше разбавляли ненемецким сбродом. И пример, «эксперимент» Дирлевангера их только раздражает, считают его выскочкой. С одними немцами, конечно,

работать проще и легче. И безопаснее, именно безопаснее — так бы и говорили! Нет у тебя за спиной, вокруг тебя этих чужаков с оружием — хоть и привязанные, и прирученные, но все равно чужаки! Но где вы наберетесь «чистых немцев» завтра, банды вон как плодятся? А впереди еще новые земли, страны. Или одним днем живете? Ничего, вы еще будете изучать действия, опыт «дирлевангеровского сброда» вместо Клаузевица! У меня последние отбросы, добытые на ваших лагерных свалках, в дело, в работу пускаются. Вчера еще воображали себя черт знает какими христианами или социалистами, а тут гонят красную стружку, чистят-подчищают этих белорусов, да поляков, да русских, знай только направляй! Главное — окунуть в краску с макушкой, а потом можешь отряхиваться! Занятия этого хватит на всю оставшуюся жизнь. От детской крови еще никому просохнуть не удавалось. А кем только себя не воображали!

Да что о других, если и себя еще помнишь черт знает кем — почти социалистом. В те времена как-то ухитрялись на штандарте со свастикой видеть только свой цвет: одни — белый, другие — черный, даже красный! Там было на любой вкус, как и в нескупой программе 1925 года, когда всем обещалось все: и сыну пролетария — Йозефу Геббельсу, и сыну коммерсанта — Оскару Дирлевангеру, да и самого Круппа не обидели. Интересно, помнит Йозеф Геббельс, как якшался он с социалистами Штрассерами? Или они только помнят и никак забыть не могут, что Дирлевангер близок был с мятежным капитаном Ремом? Да, с мучеником движения Ремом!

Чудно как-то вспоминать себя прежнего и знать, как все пошло на самом деле, куда все сдвинулось. Читал жадно всякие книги, заграничные программы и журнальчики, даже советские... Отпечатанный в Берлине на немецких станках и бумаге советский журнальчик показывал счастливое лицо счастливой женщины и ребенка — советских, а ты смотрел и чему-то радовался. И сейчас помнится, как радовался тому, что где-то, пусть не в растоптанной, голодной Германии, но есть уже счастливые. Это ж надо, такого дурмана наглотался, такая каша в голове была! Немцев чуть ли не продавали в Африку, а сын разорившегося (разоренного!) немецкого торговца позволял себе роскошь радоваться, что кому-то и где-то жить лучше. А тем временем все эти «братья по классу», «союзники по классовой борьбе» — и английские и французские — жевали немецкие репарации за одним столом со своими банкирами и капиталистами, и что-то не слышно было, чтобы отказывались в пользу голодающих немецких детей. Фюрер, как только объявился, стал задавать самые простые вопросы. И давать самые понятные ответы. И немцы

откликнулись — изголодавшимся желудком. Истосковавшимися мускулами. Социалистический рай — где и когда это еще будет! Если будет. А то, что говорил и подсказывал фюрер, открывалось за первым углом. Дойди до еврейского магазина, до еврейской конторы и потребуй, забери принадлежащее тебе по праву! Войди в Рейнскую область, в Судеты и забери свое! И это будет только справедливо. А если какая-то часть немцев все еще считает, что счастье в социализме, тогда, пожалуйста, заберите и его — социализм, но только весь, пусть он будет исключительно немецкий и только для немцев. Немцы и так слишком долго думали и заботились о других, о всех и не знали простой истины, что счастье человечества — в счастье немцев. Существует лишь одна человеческая раса, а все другие незаконно и нагло присвоили звание людей...

Фюрер произносил слова самые простые, немецкие, и все становилось на место и теперь навеки закреплено, а прежде и слова и люди — все носилось, металось по несчастной Германии, как непривязанные вещи на корабле во время шторма. Туман и дурман рассеялись, и теперь ясно, как день божий, что социализм марксистский, что «рай для всех» — хитрая уловка слабых, чтобы стать сильными, ослабив сильные расы. Извечное еврейское стремление стать сильнее других своей сплоченностью среди классово разобщенных народов.

Нынешний Дирлевангер, командир особого батальона, твердо верит в силу национал-социалистских идей и детской крови. А поэтому никакие треугольники и многоугольники — фиолетовые, красные, желтые, черные его не испугают: он брал из лагерей и уголовников, и политических, и взял бы любого, зная, что каждого заставит послужить Германии и фюреру, если даже ненавидят само слово «немец». Как эти поляки ненавидят. Детская кровь смоет любое прошлое намертво!

Фюрер все предвидел и рассчитал гениально. Самого человека он предвидел. Не того, каким он себя воображает, начитавшись книг, а каков на самом деле. Знать человека — это знать врага, это уметь и врага заставить послужить целям райха.

Нет, до чего же мозги были замусорены! Даже в тридцать восьмом, тридцать девятом, когда уже входили в Чехословакию, Польшу, и даже в сорок первом. Входили, вламывались в следующую страну, и было ожидание, даже боязнь: а вдруг и на самом деле эти советские живут, как на той фотографии, и были правы Тельман и его спартаковцы! Это при их-то славянской грязи и соломе на крышах? Но если бы даже и правда жили? Немцу-то что до их жизни? Почему

немец радоваться должен? Сейчас спрашиваешь и сам не понимаешь. Эту солому и грязь нам хотели подсунуть через красных предателей! И теперь ждут — хотят, чтобы Дирлевангер был с ними «помягче». Мало доносов по поводу еврейских зубов и этой Юдифи, так еще и хозяйственники, заготовители яиц и шерсти из сельхозкомендатур взяли моду жаловаться: после батальона Дирлевангера им ничего не остается. Не батальон, а чума! Ну, уж тут извините! Если ваши жалобы — не наилучшая характеристика деятельности батальона и его командира, тогда Дирлевангер действительно чего-то не понимает в национал-социализме. Уж тут он действительно до самого рейхсфюрера дойдет. Пусть видят, куда может завлечь беспринципность и травля старых бойцов! А это наша примитивная, старомодная пропаганда. Только и умеют, что объяснять крутые меры немецких властей действиями банд. А может быть, как раз и надо, чтобы эти славяне не могли понять ни причин, ни мотивов наших мероприятий? Непонятное действует на души куда эффективнее, парализует волю. А задобрить, замирить их сюсюканьем по поводу нехороших бандитов, если эти бандиты — их отцы да дети, все равно не удастся. Сами не умеете и на других, на тех, кто дело делает, жалуетесь! Дожалуетесь скоро, что молока, мяса, яиц не увидите как своих ушей, если даже деревня в двух километрах от шоссе. Будет вам и урожай и скот! Ужас — вот чем только и можно удерживать, к земле придавить. Пусть царит оцепенение, непонимание, за что и почему. Даже лучше, сильнее действует, если связи между проступком и карой никакой. Вот как в этих Борках. Огонь с неба! А за что, почему — тысячу лет об этом вопрошали у неба, и чем меньше ответа, тем больше веры в высшую мудрость, справедливость богов и собственное ничтожество. Когда партизаны подорвали, сожгли две машины с полицейскими, пожалуйста, Дирлевангер показал — две деревни стер с лица земли! — что германское возмездие неотвратимо. Но Борки тогда пальцем не тронул. Когда увидел огромное это славянское поселение, прямо-таки затрепетала душа: если здесь продешевишь, самому тебе три пфеннига цена! Тут уже не возмездие, тут идея — чистая, высокая! Наступит пора, и армии, освободившись на фронтах, снова пройдут на запад, готовя почву под Великий Германский Засев. Тогда никто и ничего никому объяснять не будет. Конечно, своему времени своя тактика. Но позвольте же человеку заглянуть в будущее, в завтрашний день! Туда, где одиноко носится мысль, мечта фюрера. Без этого за буднями теряешь всякую высоту. А эти человеки, эта масса, если их казнить сверх всякой меры и не считаясь с «виной — не виной», сами начинают искать, стараются

всему найти объяснение. Так уж они устроены. А пока они этим заняты: «немцы — люди, и мы — люди, за что же люди людей?..» — не зевай, старайся вовремя закрыть ворота или оглушить их залпом. Целей наших, почти космических, они не представляют и долго еще будут мерить нас старой меркой. Главное, самим знать точно, чего хотим — не пугаться собственных планов, масштабов. Тогда не будет ни времени, ни охоты из пустяка создавать проблему, заводить грязные дела на тех, кто идет впереди, прокладывает новые дороги. А чужестранцы, славяне и все прочие туземцы, как раз и не должны улавливать связь между вещами, логику наших приказов и поступков. Ни один не должен чувствовать себя в полной безопасности. Даже если всему подчиняется, все выполняет. Боги всегда правы! — единственное, в чем рабы должны быть уверены твердо. И ни в чем другом, а менее всего — в нашем к ним «справедливом» отношении. У этого чужестранца, что сидит впереди, у моего «дублера», всегда нагло спокойное лицо. Ну, ничего, я это спокойствие сумею смутить. Как-то не обращал внимания. А ведь это бунт! Стремление раба навязать господину собственное понимание вещей: совесть спокойная — могу быть спокоен! Посмотрим, уедешь ли ты отсюда таким же спокойным! После заключительного акта — в центральном поселке. Надо, надо и за них браться круче — за самых приближенных. Самых смирившихся и «полезных» вдруг бросить под ноги! И вместо одного покорного и старательного получишь десять оцепеневших от мысли, что насквозь видим, если раскусили и такого заслуженного. Этот самоуверенный «дублер» давно заслужил, чтобы его оженили. Сначала, так и быть, на Стасе, а там, возможно, и на «вдове». Такие встряски необходимы в батальоне, чтобы дистанция между немцами и ненемцами все время удерживалась. И вообще нужны. А то черт знает к чему все придет. Раб станет диктовать, как следует к нему относиться. Немец и не заметит, как начнет ценить, а потом и жалеть «своего» раба, а там и вовсе стыдиться роли господина. В истории такое уже бывало. С этого, именно с этого начиналось вырождение расы! И над нами история может подшутить, если вовремя не делать прививок против мягкотелости.

Сегодняшняя заключительная акция в центральной усадьбе, куда соберутся к 16.00 все немцы и чужестранцы, должна быть даже для видавших виды необычной и неожиданной. Чтобы дух захватило! Как далеко можно заходить, продвинуться в таких действиях, никакие инструкции не подскажут, а лишь интуиция, знание обстановки и главное — людей….

Эти Борки до последнего своего дня тоже жили в наглой

уверенности, что раз у них есть какая-то ублюдочная полиция и раз они «почти полицейская деревня», значит, трогать их не будут. Вот ее-то и подавай, таких — Дирлевангеру! С другими другие командиры справятся, а этих — как раз самых наглых и невыносимых! — могут и проглядеть.

Спокойные утренние дымы над крышами, куры от колес возмущенно отбегают, ленивые гуси ходят-переваливаются у заборов — как еще не задохнулся от возмущения, когда впервые попал в это огромное славянское село! Нагло убежденное, что ему существовать во все века. И на каждом шагу дети — грязные и здоровые, как поросята!.. А когда принял решение, стало даже интересно приезжать сюда, наблюдать за жителями, зная то, чего не знают они о завтрашнем своем дне. Остановить вдруг хитро-испуганную женщину с ребенком и мирно заговорить с ней. Или со стариком, которому уже сто лет, а умирать не собирается...

В 1940-м вот так же возмутительно уверенно, нагло жили за ла-маншской водой английские деревни и города. Не знали джентльмены, что на другом берегу уже собраны нетерпеливые айнзатцкоманды остроумного Штреккенбаха, бригаденфюрера СС. По вечерам за чашкой английского пунша (влияние близких островов) Штреккенбах любил весело помечтать, как удивятся англосаксы, когда с ними обойдутся без церемоний — как с обыкновенными туземцами. Не хотите ли, сэры, прогуляться на континент — все, все до одного! — там приготовлены для вас аккуратные жилища. Леди могут задержаться на островах, скучно им не будет — мужчины фюрера самоотверженно позаботятся об оздоровлении англосакской крови. Бригаденфюрер намекал, что действительно имеется проект всех мужчин убрать с островов. В лагеря! К черту! У айнзатцкоманд не было еще того опыта, с каким они теперь вернутся на берега Ла-Манша. И было бы только справедливо, если возглавил бы всю операцию новый бригаденфюрер, вместо исчезнувшего, слинявшего Штреккенбаха — например, Дирлевангер. У вас, конечно, на этот случай свои мнения и другие кандидатуры! Мало ли в штабах скучает стратегов, которые набили руку на инструкциях. И между делом жующих нашу гусятину и говядину, хотя и жалуются на нас сельскохозяйственные комендатуры. Нет, мои люди помнят, что и стратегам кушать хочется. Вон сколько орущего и гогочущего на возах, и какое стадо коров гоним! Выбирай, стратег, — тебе какого? Меня! меня! — гусь сам рвется-вырывается из рук хохочущих солдата и полицая, хохочут-гогочут и машут руками и крыльями...

Кроме немцев и полицаев — они в разного цвета мундирах, от

голубого до черного — на дорогах и у дорог попадаются и гражданские. Испуганно жмутся к телегам, ко всему, к чему можно прижаться. Это подводчики, такие же, как в Борках, местные жители, которых набрали из других деревень с лошадьми и телегами. Вот и еще вопрос: должны или не должны эти подводчики видеть и знать, что делается в таких вот Борках, *до* или *после* их туда впускать, чтобы собрали зерно, всю живность, инвентарь? Мышление у Берлина все еще чисто лагерное, хотя давно с такой работой вышли на неогороженные пространства, а дальше именно этот род селекции и станет основным. Думают, что в наших условиях что-то и от кого-то можно спрятать, утаить. Все еще воображают себя в Майданеке или Дахау. Нет, тут не по бумаге, а жизнью приходится отвечать на трудные вопросы: или мы будем все еще прятаться, а следовательно, выглядеть в глазах населения маскирующимися преступниками, неуверенными, трусливыми, или же сразу и твердо заявим, покажем, что мы поступаем с ними так, как имеем право поступать. И пусть свою дрожь, испуг свой подводчики эти везут-развозят по селам своим, по всей своей бандитской Белоруссии!

* * *

Цитаты, из будущих исследований, материалов по истории гипербореев:

«Чтобы быть гипербореем, не обязательно жить в Европе. Или в Азии. Или в Америке. Достаточно им быть».

«... В разные времена их, гипербореев, может меньше быть или больше — там или здесь; кажется, что не было его и вдруг объявился — народ гиперборейский; все и всегда перед ними виноваты, а гиперборейцы — никогда и ни перед кем!..»

* * *

Машина штурмбанфюрера, ведя за собой бронетранспортер, набитый круглыми и рогатыми касками солдат, прорезается к центру усадьбы Борки сквозь толпы вооруженных людей, испуганно перед ней сторонящихся, и сквозь коровьи стада, а коровы не боятся ни машин, ни штурмбанфюрера, ни даже оружия, только палками их можно поторопить, разогнать, и впереди взлетают и опускаются десятки услужливых палок, как бы салютуя Дирлевангеру. Ругань, мат звучат на самых разных языках. А с неба пепел осыпается, густо сереет на касках, на плечах солдат, на крыльях машин и спинах коров. Измазанные сажей лица, костяная белизна зубов и глаз. Дымы, дымы, куда ни глянешь, широко подпирают небо — черные, как в

крематориях, но над центром Борков небо вопрошающе голубеет. Даже у бывалых солдат батальона в животе должно похолодеть, а у чужестранцев особенно — после заключительной акции здесь, в центральном поселке Борков. Еще утром приказал собрать жителей поселка (без мужчин) отдельно, борковских полицейских и семьи их тоже отделить и дожидаться дальнейших распоряжений. (С мужчинами-неполицейскими сразу покончили — свалили в песчаные карьеры: этот материал слишком долго держать в такой обстановке опасно.)

Машина штурмбанфюрера резко затормозила возле длинного с выдранными окнами здания школы. Бронетранспортер тоже стал, качнувшись вперед так, что каски солдат, весь ряд, одна об одну звякнули, будто аист заклекотал. Засмеялись солдаты. А один уже и сам догадливо стукнул соседа по голове-каске флягой, заделанной в сукно. Руку его оттолкнули. И снова засмеялись по-молодому. Видя, что адъютант Дирлевангера уже распахнул дверцу и шеф вылезает из «опеля», стали и они спрыгивать, выскакивать из своего железного гроба, сбивать с рукавов и колен белую пыль. И тут заклекотало у них над головами: настоящий, живой аист одноного стоит, высится над старой, подсохшей с вершины сосной. На усеченной вершине — колесо, на нем искусно уложенный хворост, просторное гнездо, а хозяин гнезда застыл, как пожарник, оглядывающий окрестности, медленно поводит красным наконечником-клювом. Двое или трое схватились привычно за автоматы, боясь, что их опередят. Но стрельбы никто открыть не решился.

В десяти шагах стоял штурмбанфюрер и тоже глядел на аиста.

Дирлевангер уже бывал здесь, даже на этом вот месте стоял, когда приезжал в Борки на рекогносцировку, и тогда тоже наверху стучал клювом-наконечником этот красноногий хозяин окрестностей. Полувзмахивает неловкими, тяжелыми крыльями, когда нога устает держать его, но вторую подставить не хочет, принципиально. Важный дурак.

Где там начальник борковской полиции? Сидят в школе «начальники», дожидаются, когда их увезут в город, радуются, что они имеют полицейские повязки. Дней десять назад стоял на этом самом месте и, переминаясь с ноги на ногу в красных самодельных калошах, объяснял, что *сегодня* начальник полиции он. Обнаружилось, что на эту должность они назначают друг друга по очереди. Такие здесь вояки — не хотят быть главными! Вот до чего боятся! Бандитов боятся, а кого ж еще. Вот сегодня и проверим, увидите, кто страшнее и кого надо бояться. А в тот раз злость разрядил на Барчке. Старательный тупица, не спросясь, распорядился наловить для Германии молодежи. А Борки

нужны нераспуганные и неразогнанные. Насовал «вальтером» фольксдойчу в физиономию. Ну, а сегодня очередь за другими. Се-е-го-дня... Дирлевангер достал из кобуры тяжелый пистолет, оглянулся на плотненького своего адъютанта, и тот сразу подбежал, подставил плечо: без упора да в такую мишень без пистолета — попробуй! Та-ак... Красная нога переломилась на самой середке, черно-белые крылья, упрямо взмахнув, поставили дурака на вторую ногу. Та-ак, по второй ножке!.. Упал в гнездо, как шар в лузу, но маленькая головка и длинный клюв все так же высятся на длинной шее. Е-еще разок!.. Красным наконечником пронизывая серо-бархатистые от пепла и сажи сосновые ветки, падает по-снайперски сшибленная головка...

Аист, точно разглядев со своей каланчи мальчишеские фантазии штурмбанфюрера, без всякой подготовки вскинул широкие крылья, из черных сразу ставшие белыми — будто сажу с них смахнул! — и полетел, тяжело волоча над самыми крышами как бы на самом деле перебитые красные ноги. Трассирующие пули воткнулись в небо, стукнул выстрел, второй — уже увидели живое над деревней, и как тут удержаться! Аист стал делать круги, пытаясь взлететь туда, где все еще голубеет небо. А солнце сбоку подстреленно прыгает, тоже как бы пытается вырваться из удушливо черных дымов, которые вот-вот сомкнутся под самой вершиной купола... И чем выше поднималась совсем уже белая птица, тем большее число людей с винтовками и пулеметами могло увидеть ее. И уже пулемет бил, покрывая винтовочные выстрелы, азартно потрескивающие в разных концах поселка. Чудно было видеть, что аист все еще живой плывет, все поднимается кругами к голубой горловине неба, будто и не птица это, а всего лишь отлетающая душа этих страшных Борков.

К Дирлевангеру ровным шагом подошел-подлетел румяный, красивый гауптшарфюрер — командир немецкой роты. Доложил, что женщины и дети — в амбаре, полицейские — в школе, семьи полицейских помещены отдельно — в доме напротив. Гауптшарфюрер нравится штурмбанфюреру. Так смотреть и ждать приказа умеет лишь хороший немец. Не строить догадок, не забегать вперед даже из старательности, но и не колебаться ни секунды, какой бы приказ ни последовал! Если стоит, на лице лишь это и обозначено: я стою; если ест: я принимаю пищу; убивает — я работаю; пьет, песни горланит — я отдыхаю... На лице, в глазах молодого офицера радостная, спокойная уверенность: «То, что знает старший фюрер, он сообщит, когда посчитает нужным, и я буду знать, как поступить, что сделать, чтобы выполнить долг немца!»

* * *

«Гарнизона не было, а полицейские были Свои и чужие собрались, от партизан в Борках прятались. Ховались кто где по хатам.

Ну, так я пошла по воду, взяла ведро, а колодезь вот тут у нас. Таскаю воду — что-то около меня пули свистят: «и-и-и-и-и», вот просто «ти-и-в!». Они, видать, на опушне леса были и меня уже брали в бинокль и по мне, видать, стреляли. Ну, я набрала воды и пришла к своим.

— Знаете что, прямо в меня стреляют. Прямо пули возле меня тивкают! Ну, что ж, говорю, у нас уже так было,что людей брали, — може, снова будут брать, куда сгонять будут?

Советуемся в квартире, не знаем что.

Потом хозяин позавтракал, вышел на улицу и говорит: «Знаешь что, пришел полицейский, — а полицейские в Борках были, на нашем поселке два полицейские были, — пришли полицейские домой, пойду я, что там такое узнаю».

Пошел туда, а один полицейский говорит: «Знаешь что, или вас будут бить или нас. Но будут бить, потому что отобрали оружие у полиции и запирают в школу».

А некоторых полицейских пустили, отправили за семьями: «Приведите свои семьи».

Немцы вот так подхитрились. Ну, они пришли и забрали свои семьи.

Вопрос*: — А полицейским немцы что говорили?*

— Что идите приведите семьи. А они не знают. Или нас, говорит, увезут, или побьют. Ну что ж, полицейские взяли семьи свои и повели…

Ну, мы сидим. И видим, по той дороге, с того поселка тоже народ идет. Мой хозяин говорит: «Повели и дзержинские полицейские свои семьи» (Касперова Анастасия Илларионовна)

* * *

« — У нас ни одного полицейского не было на поселке. А только с Дзержинского. Ну, и ходил один по улице, а мой брат уже хотел спросить, что это будет, почему окружили. Говорит: «Костик, Костик, что это такое?» Так он и не стал разговаривать. Он же думал: «Нас повезут в Германию, а вас бцдут бить, так зачем я буду с вами разговаривать». Ну, им сказали, что: «Возьмите ваши семьи, и мы вас увезем в Германию». И они свои семьи все собрали, эти семьи все, и их заперли в сарай и в школу…» (Синица Анна Никитовна).

* * *

Оскар Дирлевангер приказывать не спешил, он лишь поинтересовался, все ли фюреры — немецкие и иностранцы — собрались сюда со своими подразделениями. Нет, не все, но сейчас, если надо, будут посланы связные-мотоциклисты... Это лишнее: обязаны все явиться к 16.00. Живые или мертвые! Сейчас сколько?.. 16 без 20 минут...

Штурмбанфюрер пожелал пойти в школу, взглянуть на борковских полицаев, и гауптшарфюрер счастливо отступил в сторонку, как бы создавая из одной, но ладной, четкой фигуры почетное сопровождение штурмбанфюреру. Вдвоем — штурмбан — и гауптшар — оба фюрера шли по школьному коридору с обвалившейся штукатуркой, шаги их соударялись, не сливаясь в одном звуке: младший рангом фюрер старательно запаздывал с ударом подковок, и это было точно рассчитанное нарушение — сбой подчеркивал, что их все-таки двое и младший лишь дополняет.

Караула немецкого внутри здания нет, лишь у входной двери да по углам. Гауптшарфюрер всем распорядился, как надо, хотя и не знает окончательного решения, всей идеи старшего начальника. Нет, что ни говори, а чисто немецкое подразделение — не служба, а одно удовольствие. Не зря другие командиры так держатся за это и совсем не радуются перспективе, что и их разбавят иностранцами в такой же мере, как особый батальон Дирлевангера. Иностранцы носят немецкие мундиры и служат по немецкому уставу, но неарийская порода выдает себя, и прежде всего скукой подчинения. Командовать — пожалуйста! А вот подчиняться им скучно, нет в них этой радости подчинения старшему, высшему! Уметь подчиняться, чтобы иметь право командовать с той же истовостью, — вот чему научила история и что в крови у немцев, и пусть это останется только их достоинством. Этим горы сдвигать можно, ну, а с чужестранцаминужен совсем другой рычаг. Еще искать и искать его! Но не найдешь, если не искать.

Из комнаты-класса, которую уже минули фюреры, выскочил полицай и, подергивая руками пояс, промчался вперед, локтем выбив большой пласт штукатурки, так что она пыльно рухнула прямо под ноги немцам. Полицай ойкнул от ужаса и исчез в дальней комнате. Веяло свежим дерьмом — поверх всех запахов, тоже не медовых. Младший фюрер скосил глаза — должен он обрушить кару на голову виновного? — но понял, что принято решение дерьма не замечать и идти к цели.

В том классе, куда нырнул вонючка, разноодетые полицейские

уже выстроились, дожидаются. Старательно расправили на рукавах полицейские повязки, грязные, измятые от ношения в кармане. Снимет эту тряпку, и как ты отличишь его от бандита. На бандитах зелено-немецких штанов и френчей даже больше. Приходится дирлевангеровцам нацеплять на погон белый лоскуток, чтобы в бою своих видеть, отличать.

Для сегодняшней акции такие полицаи вполне подойдут. Легче легкого объявить их бандитами. Напомнить, как убежали при первом выстреле, когда бобруйская полиция привлекла их к операции против партизан месяц назад?..

На грязных подоконниках куски хлеба, какие-то тряпки, по углам — узлы, мешки. Собрались в дальнюю дорогу, судьба деревни, слава богу, не их судьба! Они же полицейские, их увезут, их семьи убивать, жечь не будут!.. Испуганные, бессмысленно или хитро вытаращенные глаза. Тянутся изо всех сил, изображают «смирно», а не все пищу прожевали, а один все еще ремень затягивает... Конечно, можно напомнить (не им, а своим, иностранцам), что борковские дважды разбегались, когда их брали в экспедицию против партизан. Но это упростит акцию. И так им слишком многое слишком понятно. Боги, пути и мотивы которых ведомы, поступки объяснимы, — не боги, а всего лишь начальство. Которое можно пытаться и обмануть, и обойти. Только недоступное пониманию действует как следует. Когда из батальона сбежали девять человек — целое отделение, охрана моста, Дирлевангер приказал столько же расстрелять. Сам смотрел списки батальона и сам ставил крестики против фамилий — наугад. Не спрашивал командиров, кто и какой, а на ком карандаш споткнется. Но разве всем немцам понятны поступки фюрера? И разве из-за этого их любовь меньше? Без господства духа не получается и господства силы, а лишь временный перевес.

Оскар Дирлевангер любит пойти к людям, которых уже обожгла догадка, что с ними сделают, постоять и посмотреть, и послушать, как ревет в них ужас — даже если они молчат...

Улица вся заляпана коровьими лепешками, младший фюрер мужественно бросился вперед, гневно забирая на себя и отбрасывая подергиванием ноги то, что могло оскорбить сапоги самого штурмбанфюрера. А оно не отклеивается, оно не отбрасывается, и офицер гневно взглядывает на солдат, которые, вместо того чтобы сделать что-то, лишь бесполезно вытягиваются да невольно следят, как ноги начальства таранят коровьи лепешки. С вилянием и подергиванием пробирались, танцуя, по улице и подошли к большому, из толстых бревен гумну. Ворота подперты кольями и телегой, на

которую навалили гору мешков. Но лошадь не выпряжена, выворачивая оглобли, она пытается хватать траву, что растет у самой стены. Тихо в гумне, никогда бы не сказал, что там двести или триста душ. Разные, очень разные бывают эти гумна, амбары, сараи, церкви: другие уже разламывало бы от воя и крика, а здесь даже ласточки не боятся залетать внутрь и вылетать с чириканьем из подстрешья.

Люди в голубых жандармских мундирах по знаку гауптшарфюрера бросились отводить лошадь с груженой телегой, снимать колья, а другие выстроились полукругом с автоматами, чтобы остановить и отбросить, если запертые попытаются самовольничать. Нет там, что ли, никого, в этом гумне? Обычно напирают, слепо наваливаются на ворота, и те дышат, как жабры выброшенной на жаркий песок рыбы. А тут... Ворота свободно раскрылись, и Дирлевангер увидел в полумраке сначала глаза, множество глаз. Но почему все эти бабы и дети отодвинуты в глубь гумна? Когда Дирлевангер увидел снаряд, понял, в чем дело, он оглянулся на младшего фюрера, и тот встретил его взгляд с одинаковой готовностью принять одобрение или порицание. Нет, Дирлевангеру понравилось. Пока у солдат играет, работает фантазия и не иссяк юмор — изобретательный юмор дирлевангеровцев! — можно поручиться, что все идет как надо. Значит, на деле, а не на бумаге есть, бурлит радость исполнения солдатского долга. Такая работа, что и говорить не у каждого сразу заладится. И первый признак, что еще не приспособились, — напряженные лица и серьезность во всем. Но потом и в самой работе начинают искать и находить отдых. Как тогда, зимой, кому-то же пришло на ум! Деревню обработали тщательно, улицу за улицей, двор за двором, вроде бы ни души не осталось, но когда подожгли и уезжали, оказалось, что одна еще жива, но не к стыду, а во славу батальона. У самой дороги, где уже начиналось заснеженное поле, увидели одиноко стоящую железную кровать и даже кривой стол при ней, а на столе различные банки-склянки. Поль и его пьяно-веселая команда не посчитали за труд, выволокли из хаты черную, больную старуху, вместе с кроватью далеко унесли из деревни и оставили ее здесь, у дороги. Солдаты смотрели на ошалевшие глаза неподвижно лежащей на своей кровати женщины, и ни один не уезжал без улыбки, советы и пожелания сыпались сверху, с машин:

— Эркельте дих нихт, матка!.. Кригст ду нох киндер — руф унс цур киндстауфэ... Наин... Шис нихт! Лассен вир зи ден зовйетс... Цур

фэрмерунг![7]

И теперь вот этот остроумный ржавый снаряд посреди тока, перед онемевшей толпой борковских жителей — вот она, улыбка дирлевангеровца, которому ни жизнь, ни работа не в тягость! Не только насмешка над бабьим ужасом, но и над излишней серьезностью в любом деле. Все идет, как и следует, как по писаному, не в канцеляриях писанному, а в согласии с тем, что еще запишете. И изучать будете!

* * *

Солдат, которому пришла в голову забавная мысль притащить в гумно «партизанский подарочек» (снаряд этот извлекли из-под мостика, когда ехали по могилевскому шоссе), самый молодой в роте солдат Герман Хехтль заметил довольные улыбки командиров и даже покраснел от счастья. Он по-мальчишески оглядывался, выглядывал из-под каски — все ли заметили? И здесь ли, где он, тот старый пень, Отто Данке? Почему не смотрит?..

* * *

Оскар Дирлевангер со свитой из немцев и «иностранцев» вошел в ворота просторного гумна. «Тут и еще столько же вместилось бы!» — по-хозяйски отметил штурмбанфюрер. Подошел и согнутым пальцем постучал по немому ржавому железу. Один Муравьев выглядел мрачновато среди улыбающихся офицеров. В толпе жителей тоже одно лицо выделяется — оно мужское и оно пытается улыбнуться навстречу немцам. Дирлевангер удивленно посмотрел на гауптшарфюрера, и тот стал объяснять: мужчина утверждает, что тайно работает на Кировское СД, правильно назвал чины и фамилии немцев из комендатуры.

У полнолицего, хотя и очень бледного мужчины на руках голозадый испуганный ребенок, и еще двое или трое под руками у щупленькой, какой-то усохшей женщины, которая с надеждой, огромными заплаканными-глазами смотрит на своею мужика. А он понял, что о нем говорят немцы, и жадно порывается мимикой, глазами в их разговоре участвовать, показать, что ему надо выйти туда, за ворота, отойти подальше, и там он все объяснит, и все выяснится, разъяснится к общему удовольствию! Настроение у Дирлевангера сразу изменилось. Что могут значить услуги этого

---

[7] Не простудись, матка!.. Нарожаешь еще – позови на крестины!.. Не стреляй, не надо! Оставим ее Советам на развод!

болвана-туземца захудалому Кировскому СД, когда элементарная арифметика против? Он сам, этот осведомитель, его существование конечно же прерогатива местных немецких властей, но вот то, что он держит на руках (а еше сколько у ног — раз, два, три?), — это уже затрагивает высшие интересы немецкого государства. Дирлевангер способен любить детей. Но не здесь и, главное, когда их не столько в одном месте. Глаза, глаза, глаза — будто шевелящаяся, поблескивающая икра.

Вот тут Дирлевангер разозлился. Снова постучал по снаряду, и тяжелое железо снова не отозвалось.

— Говорите спасибо этим вашим партизанам!

И тут уж совсем вышел из себя! На кого разгневался, кому и зачем объясняет, будто оправдывается? Да еще по-ихнему старался сказать, мучительно собирая из всех уголков памяти русские слова! И все из-за этого толсторожего Иуды!..

— Господин офицер, госпо… — закричал мужчина, увидев, что главный немец собирается уходить. Заревел на руках у него пацан, в ужасе таращась на немцев, пополз на плечо, хочет за спину спрятаться, и дядька голым пацаньим задишком, как тараном, налетел на немецкого офицера, пробиваясь к Дирлевангеру. Его отшвырнули назад.

— Я есть ошибка! — закричал дядька из Кировского СД, ломая язык на немецкий лад.

Муравьев смотрит и слушает все, что происходит, и все происходящее как-то окрашено его мыслью о будущих делах и поступках, которыми он все исправит, все, все искупит!.. Почему только будущих? Он и сейчас может кое-что сделать, вот хотя бы этого осведомителя до конца и перед всеми разоблачить. Чтобы услышала и высокая женщина, которая ни на кого не смотрит, прижимает к себе девочку и все говорит, все разговаривает с ней: «Мама с тобой, мама с тобой, мама будет все время с тобой, мама с тобой, с тобой, с тобой!..»

— Здесь говори! — мстительно, зло приказал Муравьев.

— Тут нельзя… там, я там! — все пытается прорваться дядька.

— Здесь, тебе говорят!

— Я работал… Я ходил в Кировск… Мне не дали взять, дома у меня спрятан документ, я могу показать… Каждую неделю докладывал…

— Неправда, теточки! — Это закричала жена его, вертя шеей. — Не верьте, неправда!

А сама с детьми все равно поближе к мужу, к воротам, к

спасению, а ее толкут прикладами, отшвыривают солдаты.

— Мамочка, просися и ты! Мамочка, просися и ты! — детский крик на руках у той высокой женщины. — Мамочка, будем гореть, и вочки наши будут выскоквать, глазки будут лопаться, выскоквать!..

Муравьеву почудилось, что старый гаубичный снаряд, лежащий на стуле — черная от грязи свинья! — дышит, надувается, что вот сейчас рванет, не выдержит и все разнесет, всех поднимет к небу! Невольно поспешил к выходу, следом за Дирлевангером. А солдаты уже взялись выносить снаряд, со стуком сняли его на глиняный ток и покатили, подталкивая сапогами. А за спиной у них, у Муравьева, в нем — все тот же одинокий женский голос, и его не заглушает, а как бы поднимает и поднимает к черному небу общий предсмертный гул и стон:

— Не бойся, деточка, мамка с тобой! С тобой я, моя слезинка! С тобой! Люди все здесь, не бойся! Люди все здесь, все!

Дирлевангер вдруг повернулся к Муравьеву, посмотрел на него внимательно, усмехнулся широким своим ртом и приказал, чтобы мужчину из СД поместили с полицейскими семьями.

— Вэн эс им бессер гефельт дорт цу бренен![8]

Дядька все выдирался из ворот, уже полуприкрытых, его выпустили — с одним ребенком на руках. И десяток крепких солдатских рук, тел навалилось на рывками сходящиеся створы ворот. Дядька из СД еще пытался объяснить, что у него осталась там жена и еще дети, бросился к Муравьеву:

— Господин немец, господин немец! У меня документ, я могу показать...

— Уходи, гад, пока не поздно! Вон туда его, в тот дом. Да тащите его!..

* * *

Уже прозвучал над тобой голос, гиперборей! Прозвучал и навсегда останется — детский: «Вочки наши будуть выскоквать!» Что после этого голоса все слова, которые ты будешь говорить, — себе или другим? Что?!

* * *

Еще напирали десятки солдатских рук на ворота, искали, чем их укрепить, а уже два воза соломы — одновременно из-за двух углов —

---

[8] Если ему там больше нравится гореть! *(нем.)*

въехали на площадку перед гумном. С бронетранспортера снимают канистры. И тут что-то случилось — к возу, что подъехал справа, побежали солдаты.

Дирлевангер стоит возле машины, а водитель Фюрер щеточкой смахивает с его рукавов, спины пепел, сажу, опасливо тянется к фуражке, но тут штурмбанфюрер сердито оттолкнул руку водителя и тоже стал смотреть, что там за беспорядок происходит.

Пустяк, пришлось застрелить подводчика, проявил строптивость! Уже сваливают, к стенам укладывают солому, завалили и тело подводчика, а гауптшарфюрер, доложив о происшествии, толково и неторопливо продолжает командовать операцией.

Для всех, может быть, и пустяк, а для Отто Данке, солдата и крестьянина Отто Данке, то, что произошло, едва ли не катастрофа! Как этот бандит, как он, будто клещ, вцепился в ремень Оттовой винтовки, как не отпускал и все что-то кричал, какое-то одно слово: Ludzi! Ludzi! И все были свидетелями беспомощности Отто, видели старческое бессильное брыкание то правой, то левой ногой в попытке оттолкнуть взбесившегося подводчика, забрать у него свое оружие. Сам штурмбанфюрер мог увидеть! Пока не подбежали и не выстрелили, бандит напирал с выкатившимися глазами на Отто, не выпуская его винтовки, и повторял это свое слово… А они ведь два часа были вместе, и ничего такого за ним Отто не замечал. Вместе собирали и грузили, укладывали на телеги то, что может пригодиться в большом немецком хозяйстве, Отто даже помогал поднять мешок, если тяжелый, или железную борону. И спрашивал, как это называется, как это? Показывал пальцем и глазами спрашивал, а советский крестьянин все называл по-своему, чудно так: «Chlep», «Borona», «Korofa»… А вот эта вещь, которую он выкрикивал: «Ludzi, ludzi», не попадалась на глаза — Отто помнит, что такого слова в их разговоре не встретилось, не было. Почему такое несчастье должно было именно с Отто Данке случиться, почему? Вон стоит с автоматом и ухмыляется, подмигивает из-под каски Герман Хехтль, у него, с ним ничего подобного никогда не приключится, хотя он жулик, бездельник городской, каких среди немцев немало выросло после той войны, в голодные годы. Когда офицеры не смотрят в его сторону, молокосос Герман, опустив автомат, вскидывает над головой, как молящийся иудей, обе руки, изображая наивысшую скорбь и печаль. Хоронит уже Отто Данке, его доброе имя солдата и немца. Но какую черную душу нужно иметь, чтобы так обмануть доверие, надругаться над немецкой добротой! Правду говорят, что все они здесь бандиты, грязные и неблагодарные существа, только похожие на людей. Вот и шарфюрер

Белый, а второй даже гауптшарфюрер был, в мундирах немецких — за одно слово постреляли друг друга. Все время жди от них чего-нибудь. Скорее бы, и правда, была везде Германия, настоящая, только немецкая! Так с ним хорошо работали, разговаривали, помогал ему — и вдруг как взбесился! Вцепился, как зверь: Ludzi! Ludzi! Сколько помнит себя Отто Данке, судьба с ним обходилась, как мачеха. Как соседи с Германией всегда обходились. Лежит теперь под соломой у стены, ему что, лежит себе! А Отто думай, как и что ему скажут, когда батальон вернется в казармы. Лишится всякого уважения у гауптшарфюрера, а могут еще и поощрительной посылки в Германию лишить. А уж как этот жулик-молокосос будет издеваться! Закинув вырванную из рук бандита винтовку за спину, Отто захватывал руками столько соломы, что приходилось придерживать и подбородком, и животом, и коленями, носил и укладывал вдоль стены, таскал и старательно укутывал стену сарая. Что-то очень знакомое, домашнее в этих действиях: бери скользким пластом улежавшуюся солому и прикладывай к стене, как пластырь! Это у других все сразу было, а Отто Данке, пока стал хозяином хороших построек для скота, вынужден был и вот так действовать в морозные зимы. А ведь бог не обидел Отто ни умом, ни трудолюбием, но ему все не везло, пока не везло в Германии. Радио — вот что помогло Отто понять, кто повинен во всех его и Германии бедах. Сначала ему не очень нравился голос фюрера: слишком громко кричал и, главное, всех поминал, за всех переживал, а крестьянина будто и нет в Германии. Рабочие у них — «новое дворянство», студенты — «молодость Германии», даже женщины — что-то такое! Но какая может быть сытая и здоровая Германия без уважения к бауэру. Спохватились и уже не забывали больше: и «кровь», и «почву», и то же «дворянство» — все, все теперь крестьянину! И в газетах, и по радио, и специальные агитаторы на велосипедах по селам разъезжали, со стягами и музыкой. А все несчастья и обиды оттого, что Германия всех и всегда спасала, дарила культуру и машины, а русским даже мудрых царей и цариц, а взамен — ничего, кроме зависти, неприязни, постоянной неблагодарности! Взять тех же поляков! Разве не Германия помогла им стать государством, а чем отблагодарили? Отто сам проходил через Польшу, когда германские войска отступали из России, и знает, какие они, поляки. Вот их да чехов фюрер и наказал первыми. Или все эти русские: сейчас воют в сарае, жутко и слышать и видеть такое, но что было бы, если бы фюрер их не опередил и они ворвались в Германию? Если уж немцы вытворяют бог знает что — большевики вынудили их забыть свою доброту! — то чего можно ждать от азиатов?

Страшно представить, что ждало бы Германию, если бы не фюрер!

Солому уложил у стены ровным валиком, где надо взбил, распушил хорошенько. И особенно на том месте, где лежит этот бандит. Но кто на это обратит внимание? Кто и когда ценил честность и добросовестность немца? Вот когда что-то не так у тебя, без вины виноват, все заметят, а потом, в другое время в твою сторону и не глянут. Но отчего беды, неудачи всегда липнут именно к Отто Данке? Почему легко жить бессовестным, таким вот, как Герман Хехтль? Скалит зубы, кривляется, свинячая собака! А Отто не до того, ему бы как-то совладать с дрожащими руками, и губы, щеки вдруг стянуло, стали как чужие. Скорее бы уже, ну что они так кричат, воют? Скорее бы всему конец! Лицо перекашивается, одеревенело, и эти руки еще — сейчас все увидят, заметят, вот сейчас снова будут смотреть на бедного Отто, на неудачника Отто!..

* * *

Из будущих исследований, материалов о гипербореях:

«Излюбленный и самый неотразимый их аргумент: „Мы предупреждали!“ — после чего гипербореи считают себя вправе делать с другими все, что подскажут злоба или месть, властолюбие или корыстолюбие. Но самый главный их подсказчик — обида. Так мучительно, невыносимо перед всеми и всегда быть правыми! И потому они постоянно и заранее обижены на тех, кого им надо убить, замучить, обобрать. Всегда помнят лишь собственные убытки и кто, когда причинил зло или неудобство им. Но сразу и навсегда забывают зло, которое они причиняли другим. Они прямо-таки потеют справедливостью, правотой своей перед всеми и во все века!

«Мы предупреждали оппозицию!..» «Мы предупреждали вьетнамцев, пусть пеняют на себя!..»

«Как они могли, неужели это правда, то, что вы рассказываете о Хатыни?» — нет, это уже не немец спрашивает, верит и не верит, а турецкий журналист. В ту минуту он совершенно искренне не помнил, забыл о такой же резне в армянских селах еще в 1915 году. Как объяснить эту способность людей, народов помнить одно и не помнить другое? И возможность быть человеком и гипербореем одновременно. Или — сегодня человеком, людьми, а завтра уже гипербореем, гиперборейцами!..»

* * *

Уже перестал бить последний пулемет, уже затихло гумно,

совсем затихло, и хорошо слышны стали жадные, жирные всплески пламени, черный треск и чавканье в клубах грязно-желтого дыма. И тут вдруг медленно, как во сне, стали расходиться, раскрываться ворота. Видно, сорвали сумасшедшей стрельбой все запоры-завалы, потому что давно никто уже не бился, не напирал изнутри и никто из ворот не вышел, не выбежал. Каратели, вначале насторожившиеся, когда поняли это и поверили в полный порядок и тишину за воротами и стенами, начали постепенно отступать подальше от огня и приближаться к школе. Грязно-желтый дым все гуще наливался жирной смолью, тошнотная горячая вонь далеко к школе оттеснила, загнала офицеров.

И тут высокий «иностранец» в темной шинели, у которой полы по-бабьи подняты к поясу, заложены за ремень, вышел вперед и стал напротив распахнутых ворот. Прижимая ухо к собственному плечу, он взвел, направил висящий через плечо пулемет и ударил в клубящееся пламя гулкой длинной очередью. Запоздало, без нужды, просто от полноты душевной. А если иметь в виду присутствие штурмбанфюрера — то и с вызовом, нарушая порядок. Отгрохотал и осматривает свой пулемет, внимательно и неторопливо, словно он тут один и он единственный знает, что надо делать, как поступать. Все невольно переводили взгляд с него и на штурмбанфюрера — что-то произойдет сейчас! — и этим как бы связывали, связали их, Тупигу и Дирлевангера. Полицай наконец повернулся ко всем, и, наверно, ему показалось, что был, а он не расслышал приказ какой-то. Все глаза показывали ему на штурмбанфюрера, и Тупига прямиком пошагал к Дирлевангеру. Подошел и стал перед ним и даже ухо полуоторвал от плеча, полувыпрямил скособоченную шею, отчего ростом стал выше штурмбанфюрера: «Я здесь, раз ты звал зачем-то. Если для того, чтобы сказать спасибо, данке — что ж! Но от вас дождешься!..»

Оскар Дирлевангер в упор рассматривал жилистого высокого «иностранца» с косо висящим на груди русским пулеметом, явившегося к нему — не за поощрением ли? И не просит, а как бы требует чего-то — такие у него глаза. Да он что, на самом деле жить расхотел?

Тупига спокоен: прятать ему от Доливана нечего, весь он здесь со своим пулеметом! Пусть сачки шарахаются от этого немца, а Тупига ничего не просит, но и не боится никого. Если есть тут кто не сачок, не ловчила-бездельник, а, наоборот, мастер в своем деле, так это они двое, и никто больше. И Доливан, если не дурак, обязан это понимать. И понимает. Потому и усмехается и даже как бы подмигивает Тупиге. Пусть скажет слово, намекнет, и Тупига с

удовольствием — одной очередью, одним разворотом! — повяжет и сноиками уложит этих сачков и дармоедов, что сгрудились, топчутся возле Доливана. Впрочем, и сам немец этот немного с придурью, и на него еще палка нужна: какую-то жидовку с собой таскает!..

Оскара Дирлевангера передернуло так, что высокие, острые колени чокнулись друг о дружку — как только не зазвенели! Раздраженно глянул на Муравьева: «Что здесь происходит?» Муравьев сделал жест, как муху отогнал:

— Уходи, кретин!

Тупига пожал плечами и пошагал. Неторопливо уходил от существа, которое никак не могло погасить в своем сознании картинку: не спеша, с растяжкой кладет руку на кобуру, вытаскивает тяжелый «вальтер», поднимает на уровень лица, глаз «иностранца», дожидается, пока спокойная уверенность сменится удивлением, ужасом, и нажимает на спусковой крючок…

Только здесь, теперь Муравьев решился доложить штурмбанфюреру о непонятной и неприятной истории: «иностранец» шарфюрер Белый стрелял в унтершарфюрера Мельниченко, унтершарфюрер тяжело ранен, шарфюрер убит. К его удивлению Дирлевангер новость принял совершенно спокойно.

— Ин Могилев! Алее вирд зих ин Могилев клэрен![9]

Сказал это и распорядился выстроить две шеренги, коридор — от школы и до пылающего гумна. Онемевшее гумно ревело по всей длине, в нем и над ним бушевал смолисто-черный вихрь, все разрастаясь, забирая и то небо, которое еще оставалось открытым. Обсыпаемые сажей, пеплом существа в немецких мундирах спешили, вытягивались в две шеренги — одна напротив другой. Зачем и что будет происходить, что надо делать дальше, никто не знал. Дирлевангер же мрачно стоял у своей машины и молчал. Раздражение, которое в нем заклокотало, когда «иностранец» подошел и тупо-нагло стоял перед ним, уже оседало, но круги пошли далеко, привычно захватывая и Люблин, и партайгеноссе Фридриха, и Берлин… Там у них отношение к Дирлевангеру хорошо если такое же, как ко всем командирам таких, подобных команд. А то и хуже, чем к другим. Другие «чистые», а у него «сброд»! Некоторые умники вообще считают функции подобных формирований скоротечными — пока удастся усмирить тылы. И не понимают, что тогда-то настоящая работа и развернется, и таких команд потребуется сотни и сотни.

---

[9] В Могилеве! Все будет в Могилеве! *(нем.)*

Если вы, конечно, не собираетесь всю немецкую армию превратить в «айнзатцкомандо»! Пренебрежительное отношение к любым и всяким особым командам, ясное дело, подогревается соперничеством и ревностью со стороны крематориев-стационаров. А вдруг «передвижные крематории», вроде дирлевангеровского, продемонстрируют и свою дешевизну, и большее соответствие целям и планам окончательного урегулирования. Вдруг да сделаются из подсобляющих основными! (Именно из лагерных канцелярий вылетают самые кусучие бумаги-ищейки и преследуют, преследуют Дирлевангера!) И конечно же демагогически ссылаются на предупреждения, указания самого фюрера: отныне и во веки веков на этих территориях оружие будут носить только и исключительно немцы! Но для того чтобы правило стало нормой, раньше нужно отнять это самое оружие — вместе с кровью! — у всех этих русских, белорусов, украинцев и прочих, а коекому, наоборот, вручить. Что и делается. А куда денешься, когда такая обстановка? Повторять общие формулы, вместо того чтобы добывать для фюрера новые факты, — чья же это обязанность, если не практиков? — конечно, легче и приятнее. Всегда будешь прав и будешь слыть надежным национал-социалистом. Боитесь, что такие формирования выйдут из-под немецкого контроля? Но только не у Дирлевангера. Все дело в руководстве, в руководителях! Не вырвутся из-под руки Оскара Дирлевангера — столько раз убеждался, а надо, так и продемонстрировать мог бы...

А тем временем в четких действиях команды произошел явный сбой. Слишком долго не подавались и не передавались необходимые распоряжения. Молчал мрачно Дирлевангер, молчали выжидательно и фюреры чином поменьше. Шеренги, образовавшие коридор от здания школы к пожираемому пламенем гумну, томились бездельем. И от жары, от вони. Крыша, стены гумна уже обрушились, догорают, но пламя не только не спало, а все больше ярится, выбрасывая с оглушительным сковородным треском-скворчанием черные клубы дыма и удушающей вони. Те, кому выпало стоять ближе к гумну, корчатся от тошноты, уже рвет-выворачивает нескольких немцев и «иностранцев», и почти все они вытирают рты, губы, сплевывают — если не им, то их желудкам, нутру уже невыносимо это пиршество.

Из школы, чуть не падая, выбежал борковский полицай, а следом появился разгоряченный немец-конвоир. Кто-то, значит, распорядился. Но тот, кто это сделал, дальнейших распоряжений в присутствии штурмбанфюрера делать, видно, не решался. И конвоир и полицай не знали, что делать дальше, а на них сразу сосредоточилось общее внимание. Полицай с непониманием и ужасом

смотрел на кого-то поджидающие шеренги, на клокочущее в конце живого коридора страшное огнище.

А Дирлевангер, казалось, не замечал, что все ждут его слова. Да, да, все дело в руководителях, в руководстве! Вся система в его батальоне, наполовину состоящем из чужестранцев, на то и направлена, чтобы твердо, уверенно понуждать их делать то, что они, может быть, делать и не собирались никогда. Час, минуту назад не собирались. А вот еще этих убьешь или готов лечь в яму сам? Столько раз не ложился, а тут уже готов собой заплатить за чужую жизнь! Чужой платить за свою — это как-то легче и привычнее, не правда ли? Ну, а свой дом, если бы приказал Дирлевангер, поджег бы? А если в доме кто-то есть? Смотрят, прильнули к окнам, а их муж-отец идет с канистрой, ноги заплетаются, но идет, идет их муж, идет их отец! Или это уже слишком, фантазия невозможная? Случая такого еще не было в практике батальона. Но это совсем не значит, что он невозможен и его не будет — такого поучительного, интересного случая. Зачем же тогда батальон называется экспериментальным? Случается, все случается! У самих у этих бандитов бывает, когда и жизнью собственных детей платят!.. Как тогда, у лесника на хуторе... Семеро детей поставили, подровняли всех по росту и росточку у стенки: ну, отец-мать, говорите, кто из деревни служит у бандитов проводником, кто водит их мимо немецких постов к железной дороге? И сколько раз ты сам водил? Жена до третьего выстрела тоже молчала, только вскрикивала тонко после каждого, а дальше не выдержала, хватала мужа за колени, за ноги, умоляла сделать так, чтобы хоть остальных, самых маленьких, не убили, а он стоит как истукан и только воздух заглатывает, давится... Вот тогда и подумалось: ну, а вы, вы в своих собственных стрелять будете? Смогу я, Дирлевангер, заставить вас? Как кто-то — того лесника. Если не кто-то, так что-то. Ну, а что сильнее и убедительнее, чем страх за собственную жизнь? Не вообще страх, а если сделать так, что у тебя ничего не осталось — ни друзей, ни родни, ни родины, только эта самая жизнь. Так уж устроены люди, что ценится она особенно тогда, когда ничего уже не стоит. Когда все остальное у них уже отнято, навсегда. Держаться им уже не за что, так хотя бы за жизнь! Даже скучно с ними, с такими. Ну разве проймешь их какими-то борковскими полицаями? Тут не такой нужен зигзаг. Ну ничего, я вам еще подберу вариант, долго не забудете!

Дирлевангер все молчал, не приказывал, а немец-солдат, который вывел из школы полицая, как бы поддаваясь требовательному ожиданию шеренг, зову живого коридора, уводящего к пылающему костру из трехсот человеческих тел, стал тихонько подталкивать

полицая в ту сторону. Откуда-то вынырнул Тупига, подбежал и сорвал с полицая нарукавную повязку. И тоже подтолкнул его туда же. Испуг и беспомощность на круглом, каком-то бабьем лице недавнего полицая сразу возбудили презрительно-враждебное к нему чувство и немецкой и «иностранной» шеренг — жестокое и веселое чувство. А он еще спросил, громко и нелепо:

— Это куды! Мне туды?.. Што вы, што гэта вы, людцы!

— Ага, туды-сюды! — передразнил его Барчке, остро ненавидя весь свет из-за своей распухшей физиономии, и особенно своих полицейских ненавидя, и хотел ударить борковского полицая кулаком по шее. Неловко, плохо достал по причине своего малого роста и трусливой вертлявости полицая. Но это действие словно притянуло к жертве других. Набежал немец-конвоир, оттесняя полицаев коромыслами локтей и забирая, отнимая принадлежавшее ему, стал толкать, заталкивать борковца в живой коридор. Все нет распоряжений, что делать с человеком, который, точно заяц, забежал не туда, куда хотел, но уже с ним что-то делают, что-то веселое и страшное: подталкивают, проталкивают его туда, куда его распятые ужасом и непониманием глаза боятся смотреть. На бабьем лице полицая удивленная, извиняющаяся улыбка: «Вот видите, вот видите, меня затолкали сюда, я не виноват!..» А люди в шеренгах как бы поняли наконец, зачем, для какого дела их выстроили. Как кишка сама начинает проталкивать пищу, сжимаясь и подергиваясь, как только что-то попало вовнутрь, так и шеренги пришли в движение, судорожно задвигались, заработали. Немец или ненемец, поочередно или вместе подталкивают, зло или снисходительно бьют человека, которого протолкали к ним другие, с которого сорвали полицейскую повязку, а коль сорвали, то так и следует. Его подхватывают и пинают стволами винтовок и автоматов, пересылают дальше — чтобы все попробовали и всем хватило!

— Што вы?.. За што? Я ничога не знаю!..

Крик этот, дурацкий, бестолковый, всех и злит и веселит. Человека снова и снова отпихивают на частокол автоматных и винтовочных стволов и катят, катят — все ближе к ревущему огнищу. Тогда он упал, скорчился, поджал под себя ноги, накрыл затылок, голову руками и замер под ударами сапог и прикладов, и только слышно было словно из земли идущее, удивленное: О! О! О! Четверо, взяв его за руки-ноги, поволокли к огню. Сначала вяло и беспомощно висел и только снизу глядел все еще с неловкостью в глазах: он такой тяжелый, а они зачем-то его несут, натруживают себя! Но тут же, будто сейчас только понял, куда и зачем его тащат, резко распрямился, двое отлетели, но ног его не выпустили, удержались, и

снова сжали его в мягкий ком, но он снова, как пружина, распрямился, выбросил ноги. Подбежали другие, чтобы помочь — не ему, а тем, четверым, пламя выло уже совсем рядом, обжигало, мешало работать, и тут он все-таки вырвался и пополз, пополз, но его схватили за ноги и как лягушку поволокли туда, где скворчит-стреляет пламя, угли. Кто-то из шеренги прикладом ударил в голову, и он перестал пальцами цепляться, рвать траву…

А из школы уже второго вывели. И теперь все происходило по-другому, тверже, увереннее.

— Тупига! Где Тупига? — крикнул Барчке. Из-за глянцевых распухших щек не видит, что Тупига рядышком стоит. Тупига подошел к полицаю и уже демонстративно, ритуально рванул с него повязку. Но она лишь растянулась и осталась на рукаве. Они оба стали снимать, стаскивать ее — борковский полицай помогал Тупиге.

— Забери у него и мундир! — орет-разрывается Барчке.

Сняли и немецкий френч.

— Ну, сачок! — сказал Тупига. — Вот ты и попался! Пошли давай!

Схватился за ствол и за вытертый до лакового блеска приклад своего пулемета и, как граблями валок сена, погнал, попер борковского дядьку перед собой — по живому коридору. И обе шеренги снова помогали им бежать. А навстречу жгло, страшно и до тошноты сладко воняло. Там, где жарища оттеснила, отогнала шеренги, где помогать было уже некому, эти двое остановились — борковский полицай и могилевский. Пулемет уже мешал могилевскому, а борковскому помогал ужас, и борковский осилил Тупигу. Рванулся в сторону — бежать. До этого могло даже казаться, что здесь все, включая и полицейского дядьку, заняты одним делом, выполняют что-то одно. Оказалось, что нет: один хочет сжечь другого, а тому этого не хочется, потому что сжечь собираются именно его! За ним погнались еще несколько карателей, настигли, схватили. Немцы. А может, и австриец там был. Возможно, что это был словак. Или мадьяр. Или латыш. Или француз. Или кличевский полицай — белорус. Пятеро фашистов, пятеро гипербореев окружили полицая, а он за них хватается, как тонущий, обессиленно пытается перехватить удары, пинки, обрушившиеся на него со всех сторон. Ему заломили назад одну руку, вторую и повели, легко и быстро, нагибая голову до самых колен. От дикой боли плавного и послушного разогнали и пустили вперед — прямо в стонущее огнище! И даже искринка не взлетела — такой вязкий и черный был огонь.

Разгоряченные лица снова повернуты к школе. На лицах

немецкой шеренги держится и не сходит: «Совершается, происходит то, что должно происходить, потому что иначе это не происходило бы в присутствии штурмбанфюрера и нижестоящих фюреров».

А на лицах местных и не местных «иностранцев» то вспыхивает, то гаснет и снова появляется: «Что происходит и почему? Эти борковские, ясное дело, связаны с бандитами. И вообще они... Да что думать, конечно же бандиты! А с нами — со мной! — такого произойти не может! Но из-за них, из-за таких и я должен бояться! По-ошел, морда, еще упирается! Раньше надо было, бандит сталинский!»

— Пошел, сачок, сколько тебя ждать будут! — устремился Тупига к новому полицаю, которого вытолкали из школы. — Особого приглашения ждешь?

Схватил и завернул за спину его руку, а немец с большущими очками на крохотном личике схватился за вторую руку и тоже завел ее назад, стоймя поставил, как рычаг дрезины. И побежали. Голова полицейского (с него уже и повязку не срывали) наклонена почти до колен, он видит лишь ноги свои, кудато несущие его, спешащие, а шеей, волосами, кожей головы уже ощущает близкий жар. Только услышал, как вдруг страшно затрещали его волосы, а дикая боль в руках, лопатках на миг отступила, но ударила другая — в каждую клеточку тела! Тупига и немец как с разогнанной дрезины соскочили: с разбега пустили, свою жертву прямо в огненное жерло. А сами стукнулись друг о дружку, немец даже упал, и Тупига сразу показал ему и всем: я ни при чем, сам упал! Но немец ничего, улыбается, в шеренгах засмеялись. Тупига нашел в траве и подал немцу очки. А в этот миг в огнище взметнулась еще раз человеческая фигура, странно выросшая, с поднятыми руками, погасила смех и пропала. Но смех тут же вернулся, упрямо, назло всему: хмельная, не уходящая веселость одинаково окрашивала обе шеренги глаз, ртов, подбородков.

Когда десятого борковского полицая весело затащили, как кабана, закатили в жар, хотя этот упирался, отбивался больше всех, выл и кусался, Оскар Дирлевангер велел подозвать к нему того полицейского в шинели и с пулеметом, который старался заметнее всех.

— Тупига! Тупигу! — строго понеслось от Муравьева к Барчке, суетливо — от Барчке по шеренгам. И только Тупига не засуетился. Отдыхая на ходу, стирая сажу с пулемета, оглаживая его, как охотник шею умной, удачливой собаки, направился к Дирлевангеру. Тупиге в общем-то наплевать, что и как эти немцы, даже в офицерских фуражках, сейчас думают о нем. Он вовсе не для них старается, а потому, что в любом деле не выносит сачков. Развелось сачков — мочи нет!..

Снова они стояли друг напротив друга, одинаково худощекие, длинноногие, сажа, как бы уравнивая их, одинаково ложилась на помятую черную пилотку и на скошенную назад черную фуражку, на солдатские сапоги с широкими голенищами и на лаковые офицерские голенища, на эсэсовский плащ, которым адъютант прикрыл плечи Дирлевангера, и на идиотскую — в июньскую-то жару! — шинель Тупиги.

Штурмбанфюрер внимательно, даже с интересом разглядывал раба, а Тупига, наклонив голову, всматривался в глаза своего «Доливана», как курица в чашку с водой, где что-то непонятное, но живое плавает-копошится. Тупига все же уважительно сдерживал тяжелое дыхание, злое и веселое от недавней возни с борковскими сачками. Нет, пусть все видят, как выделил Тупигу сам Доливан! Интересно все-таки, чем наградить собирается? Что ж, дают — бери, а бьют — беги! Но и сдачи сумей дать!..

Оскар Дирлевангер разглядывал стоящего перед ним «иностранца» с пулеметом поперек груди. Нет, не в пулемете дело. Если раб есть раб, пулемет всего лишь инструмент. Как и любой другой. Не пулемет не понравился Дирлевангеру, а глаза, дерзкая уверенность раба, что он нравится немецкому офицеру, что он заслуживает одобрения, поощрения. Вот он как выглядит — раб, из которого не вышибли уверенность, что он может знать мысли, угадать поступки своего господина! Да он хуже, опаснее тех, кто уже сгорел!.. Достать пистолет и поднять на уровень этих глаз, и ждать, а потом выстрелить...

Тупига видел, как рука немца легла на кобуру: неужели «вальтера» не пожалеет?! Громко произнести: «Данке, господин штурмбанфюрер! Хайль Гитлер!» Тупига, если надо, сумеет отрапортовать не хуже этих куркулей-бандеровцев! С кобурой подарит или так? Не в кармане же носить...

Нет, у Дирлевангера этот день особенный: день рождения Паулины Херлингер, его добрейшей мутти! Она была очень верующая и пусть почивает спокойно: в этот день сын ее не убьет своей рукой даже мухи. Даже вот этого бунтовщика!

— Ну! — крикнул Муравьев, когда Дирлевангер молча отошел и взялся за дверку машины. — До ночи будете возиться? Долго эти будут подвывать там?

И показал на хату, из которой доносились сдавленный крик и плач. Жены и матки, дети борковских полицейских все, что происходило возле школы, наблюдали с расстояния не более ста шагов...

ПОСЕЛОК ПЕРВЫЙ. 11 ЧАСОВ 56 МИНУТ

Сиротка, услышав сухой и слабый, как горящая хвоя, треск автоматной очереди, оглянулся. Доброскок и Тупига тоже остановились и смотрят, как грузный немец Лянге стоит над ямой и водит стволом автомата.

— Твою работу поправляет! — злорадно крикнул Тупиге все еще обиженный на него Сиротка. Им видно, как подошел к яме и Кацо и тычет в яму рукой с наганом.

* * *

Господи, значит, я не сплю и это правда, я здесь — в страшной яме! Нас убили, все еще убивают нас, господи, это правда!..

Солнце, неровно растекшееся по небу, как раздавленный желток по закопченной сковороде, больно слепило глаза. Но что-то заслонило свет, и она их разглядела — своих убийц, все тех же. Черноусый и второй, с черным от волос животом, оба стоят, откинувшись куда-то в небо, и смотрят, высматривают: кто еще есть живой в яме? Рука по-женски сама потянулась к платью, чтобы прикрыть нагретые солнцем колени...

* * *

Шестимесячная жизнь тревожно, зябко сжалась: резкие и чужие звуки вломились откуда-то, стараясь заглушить привычный ритм вселенной. Но и сквозь отвратительно частое, чужое громыхание, прорывающееся извне, стучало сердце матери — вселенной, стучало упрямо, надежно, и все оставалось, как всегда. Но вдруг произошло что-то непонятное и страшное — вечный звук, падавший сверху, отлетел, а следующий не возник, не родился, не упал. В жуткой, небывалой тишине шестимесячная жизнь беззвучно закричала от ужаса и одиночества. Купол стремительно понесся вниз: в один миг вселенная сжалась в комочек и тут же провалилась в него, увлекая и его в небытие...

* * *

Из будущих исследований и материалов по истории гипербореев.

«Формулы взрывов, все более опасных, они жадно выхватывали из рук физиков-химиков. А из рук философов и даже поэтов — блестящие ножи, кинжалы неосторожных парадоксов, которыми так удобно вспарывать брюхо всем этим предрассудкам: совесть!

сострадание! человеколюбие!.. И разве один Ницше не ведал, что творил? И чем все может кончиться!..»

КОГДА МЫ БРАЛИ ИХ ШТЫКИ-КИНЖАЛЫ, ТО ОНИ БЫЛИ В КРОВИ

Ананич Иван Сергеевич (торфозавод «Гонча», Могилевская обл.):

«... Мы вышли на магистраль Могилев — Бобруйск сделать на немцев засаду. Залегли в кустарнике часов в двенадцать. Колонна двигалась со стороны Могилева. Нас было три взвода — целая рота.

Это ехали летчики, которые из госпиталя возвращались на аэродром в Бобруйск.

Бой был короткий, быстрый, мы их расстреляли. По-моему, их было точно сорок восемь человек. Насколько мне помнится, ехали они на четырех машинах. На двух была живая сила и на двух продукты. Одна даже была с тушами. Взяли очень много шоколада.

Ну, с ними разделались и ушли. Не знало командование, что это будут летчики, шли просто на очередную засаду.

Пошли на новую засаду. А меня командир послал с группой в деревню Скачки, чтобы собрать продуктов. Мы пришли, как раз коровы шли с поля. Когда мы прибыли в деревню Скачки, жители стали просто-таки плакать. В чем дело? А они, оказывается, не знали, кто мы — партизаны или кто? Мы стали спрашивать, почему плачут. Стали нам рассказывать, что сегодня сожжена деревня Борки и все жители расстреляны, колодцы забиты трупами.

От Скачков до Бдрок километров пятнадцать.

Продуктов нам жители дали много: несли масло, молоко, буквально бидоны, дали подводу, нагрузили хлеба.

Ну, и, вернувшись, мы доложили командиру: такое и такое дело. Он говорит: «Завтра кто-то должен здесь появиться.Где-то карательная экспедиция действует в этом районе. Она не может быть только из Могилева. По всей вероятности, есть тут и из Бобруйска. Быть не может! Они где-то в полицейском гарнизоне притаились и должны все-таки завтра нам показаться».

С рассвета мы снова заняли свою позицию. Я даже это место и сейчас, когда еду, вижу, где я лежал, где первая машина была. Шоссе в лесу. Мы выбрали возвышение, и там шоссе в выемку уходило, — самое удобное место, где бить. Ну, залегли цепью.

Долго не было слышно.

Ну, и где-то в часа два-три загудели машины со стороны Могилева. С того края лежал взвод Кировского отряда. Он к нам

присоединился, чтобы участвовать. Нас было уже сто двадцать человек. Ну, а командовал Антюх Аркадий.

Ну, вот нервы не выдержали у одного партизана… Не доехали еще машины метров пятьсот, некоторые стали патроны загонять в патронники. И нечаянно один партизан выстрелил.

Немцы услышали выстрел. Они спешились. Шофер открыл дверку и тихонько ехал. А немцы по кювету идут. Может, метров четыреста еще…

Взвесив обстановку, наш командир роты дает приказ: сделать не простую засаду, а держать настоящий фронтальный бой. Огня у нас, мы чувствуем, хватит — мы решили принять бой. Для этого мы раздвинули взвода буквой «Г». А самому правофланговому взводу командир приказал: как только завяжется бой, пересекать шоссе и — цепью! Для того, чтобы легче было расправиться.

Ну, немцы шли, не знали, что их ждет, сколько тут нас.

Я лежал от поворота метров двадцать, и как только первая машина приблизилась, мы открыли огонь, огонь плотный, хороший… Шофер сидит, мне хорошо было видно — стукнул из СВТ. Хлопцы были хорошие у нас, рота была очень боевая. Ну, завязался бой. Оттуда уже стали хлопцы перебегать, чтобы окружить. Но здесь бил пулеметчик немецкий.

Я перебег в канаву, где немцы, и пока наши подбежали, развернулся и убил пулеметчика. Затем — другого номера. И тут же — и мне в ногу! Вот сюда ударило.

— У вас СВТ на «пулемет» была поставлена, переделана?

— На «пулемет». В общем, расстрелял я три диска. Ну, и тут меня ранило. Я сел, пока меня перевязали, прошло минут пять, и бой закончился. Ребята набежали и смяли их, буквально за пять минут все были перебиты. Было их человек пятьдесят. Эсэсовцы… Но что характерно. Характерно было то, что когда мы брали их штыки-кинжалы, то они были в крови…»

* * *

Ананич Алексей Андреевич (г. п. Кличев Могилевской обл.):

«Нам сообщили: каратели поехали деревню Борки жечь. Пока мы пришли, деревня уже горела. Мы с опушки леса видели, что они уже уезжать собираются. Мы напрямик пошли засаду делать. С полчаса посидели, слышим, машины идут. Нас рота была, чуть побольше. Когда показались машины, дали команду: подготовиться. И один партизан выстрелил нечаянно. И они услышали. Не доезжая метров семьсот, они остановились, слезли с машин, и спешились, и

начали двигаться кюветом. Мы подпустили их поближе, затем открыли огонь и в атаку, как говорят. Ну, разбили их, машины подожгли.

— А сколько их было?

— Их, говорят, человек шестьдесят было.

— Всех побили?

— Всех. Ага. Возьмешь их вещмешок, так там детское барахло было. Даже доставали их эти финки, так в крови были. Людей прирезали и бросали в огонь.

— Они, наверное, не все по этой дороге возвращались, потому что Борки очень большие и немцев больше приезжало?

— Да, возможно, часть их на Могилев пошли. А мы лежали со стороны Бобруйска...»

* * *

5.12.43 года — по представлению высшего руководителя СС и полиции в Белоруссии фон Готтберга и начальника соединений по борьбе с партизанами фон Баха-Зелевского — Гитлер наградил Оскара Дирлевангера немецким золотым крестом, а «особая команда» была преобразована в «штурмбригаду». К этому времени подобных бригад, команд, батальонов в Белоруссии действовало уже много — во главе с Кохом, Мюллером, Толлингом, Пелльсом, Зиглингом и другими «фюрерами»...

* * *

А еще через неполный год «штурмбригада» Оскара Пауля Дирлевангера, выросшая до дивизии, разрушала, убивала восставшую Варшаву, выжигала словацкие деревни — каратели теперь уже двигались с востока на запад. Прошли по всей Германии, развешивая на немецких деревьях и фонарях самих немцев — «дезертиров», «предателей», «паникеров». А затем исчезли — растворились в армейской массе, с боями пробивающейся в плен — как можно дальше на запад. Уже в наши дни прах благополучно скончавшегося в Латинской Америке Дирлевангера Оскара Пауля заботливо перевезен в ФРГ и предан захоронению в вюрцбургской земле.

ЧЕМ ВЫШЕ ОБЕЗЬЯНА ВЗБИРАЕТСЯ ПО ДЕРЕВУ, ТЕМ ЛУЧШЕ ВИДЕН ЕЕ ЗАД.[10]

Рост Адольф Шикльгрубер-Гитлер имел 172 см, вес 82 кг, образование — незаконченное среднее (реальная школа).

Особые приметы: плохие зубы.

… Может, и на самом деле сон, всего лишь сон! Один и тот же, как бывает, когда болен и просыпаешься бесконечное число раз. А когда проснешься окончательно, окажется, что ни Великого Фюрера, ни Третьего райха, ничего, ничего!.. Надо подняться с постели, сесть. Озноб в животе… Под ступнями, меж пальцев ворс ковра, прохладный, мягкий, как вянущая трава. Деревянные стены лаково блестят, тяжелые складки штор — есть, есть это, существует! Белые полосы свастик на желто-зеленом поле ковра. И преданно настороженные глаза прислушивающейся овчарки… За окнами всегда, даже в солнечный день, темные ели и тишина, мертвая и надежная. Если бы не такая тишина! А что, если и везде так, и не гремит великая битва во исполнение твоих приказов? Тебя заперли тут и дурачат, забавляются какие-то преступники, идиоты. Заржут, заулюлюкают, как только ступишь за дверь. Поджидают там. И рука Курта, рыжего кретина Курта, нырнет под тебя — никогда не уследишь, как он зайдет сзади! «Поехали, мой фюрер!..» Железные ненавистные пальцы больно захватили, сжали твое ядро (единственное!), заставляя тянуться вверх, на цыпочки вставать и хвататься запоздало за волосатую руку — на потеху солдатне! С тобою можно так забавляться, никто же не знает, отроду не слыхал, что ты — Фюрер. Для них ты полковой связной с одной нашивкой — какой-то Шикльгрубер. Приполз, добежал, а они, в паузах между взрывами, подзывают, спрашивают: «Что, не нравится, штабная моль?» Но все равно это твой дом, твой родной 16-й полк, дороже которого ничего и никого у тебя нет! Радуясь, что жив, что добежал, и еще раз Провидение показало, как оно щадит своих избранников — испытало и показало, чтобы и эти тупицы убедились! — забыл о Курте, а он свое помнит. Зашел, рукастая обезьяна, сзади и с размаху железной лапой, да так, что колени задрожали: «Поехали, герр гефрайтер!»

А что если все, все — только намечталось? Продолжение голодных венских мечтаний и надежд. Вот так же придумывал себе

---

[10] Английская поговорка

высокие залы музеев или перестраивал наново улицы Линца, кварталы, окраины Вены — по собственным проектам. Толпы, льстивые толпы, устремленные к великому художнику, и его презрение к запоздалой славе, признанию! На картинах — ни души, ни одного из них, кто прежде знать не хотел гения. Только дома, улицы, замки — стены и камни. Но в одном затемненном окне — человеческий лик, как огонек. Та, которая бескорыстно любила, не Фюрера, а сына, любила, даже если бы не стал великим. А другие гнали с садовых скамеек: не положено спать! Из трамвая выталкивали: положено платить! Где он сейчас, усатая образина-кондуктор?.. Плетью грозили, гнали из Германии! Где, где тот Гржж... Собачий у этих поляков язык! Где-нибудь спрятался, живет, а Гиммлер пошарил слепой рукой и успокоился. Я ему всю Европу, полмира распахнул — ищи, находи всех, всех, кто думает, что они спрятались, что я забыл! Как это несправедливо, что смерть навсегда отнимает у тебя преступников. И обидчиков. Врагов. Их полная ниша — чистить, чистить! Бездарно малюют фюрера в рыцарских доспехах, засматривают в глаза, ждут слова одобрения — высшей награды! — и уже забыли, забыли ведь, как смотрели поверх головы, когда приходил в их занюханную Академию юноша, умиравший на «сиротскую пенсию». И раз, и второй — пинка! И думают, что все забыто. Обзывали, и устно и печатно: австрийский дезертир! Почтмейстер! демагог! убийца!.. Ах, как смешно: рисовал, раскрашивал почтовые открытки, а безработный лакей Рейнгольд их продавал, и с этого жили! Да, родового поместья не имел, а только пьяные плети от таможенного чиновника — родного отца. Вот этими руками трудился, месил глину, носил кирпичи, а по ночам замерзал на парковых скамейках. Конечно, как можно такому доверить будущее германского государства? «Пусть лижет марки с моим изображением!..» Ах ты старый бык! Да что нам ваши аристократические фамилии: на вас они кончаются, а тут новые пишутся — на тысячу лет. С простыми немцами только и чувствуешь себя легко. Когда заходишь к машинисткам. Или когда за обеденным столом вспоминаешь и слушают не «номера» в мундирах, а простые, добрые люди. Какими слезами блестят глаза прислуги, когда слышат, как голодал и мерз в Вене, как умирала муттер, как знать никто не хотел... Сердце простого немца не в состоянии поверить в жестокую правду, что все это могло происходить с их Фюрером.

Мое Слово — не только мое! Это я давно понял, ощутил. Вначале сам поражался, удивлялся. Особенно на суде, а потом в Ландсберге, в темнице, куда пытались заточить будущее Германии. Услышали мой

голос — Слово Фюрера, и через неделю даже стража вывесила флаг заточенного — со свастикой. А мой хромоножка, мой Йозеф Геббельс! С чужого голоса, но как горячо поносил Адольфа Гитлера: «Этот маленький мелкий буржуа!..» Чего только не плел на Ганноверском сборище. А услышал мой голос и тут же пополз к ноге. Забыл и зазнайку Штрассера, и свой социализм. История не простит тупице Риббентропу, что сорвалась моя встреча с Черчиллем. Уверен, не ушел бы и он от моего Слова, стал бы, упрямец, таким же другом Германии, какой сейчас враг!

И тем более удивительно и обидно, что Слово совсем не действовало на Курта и его окопную братию. В этой гнилой Фландрии. Им почему-то смешно делалось или злые становились, как собаки, стоило заговорить о серьезных вещах. Пустили побасенку, что гефрайтер Гитлер «лазутчика» заслал к французам — будто бы сына родила французская крестьянка, в доме которой две недели жили связные 16-го полка. Ко всему вязались: покоя им не давали длинные, «вильгельмовские» усы гефрайтера, и как он голову набок держит, а больше всего их злило и веселило, что не пьет шнапса, не курит и вслух не одобряет тех, кто свинья свиньей. Добежал, дополз под обстрелом, видишь грязные, недовольные рожи, а в тебе — постоянное счастливое чувство: все идет лучше, чем когда-либо, Германия ждет победителей, еще одно усилие — и мы в Париже!.. Ты горишь словами, а тут этот рыжий идиот! Он уже зашел сзади, с размаху загнал железную руку выше колен и поднимает тебя: больно, хватаешься за стенки окопа! «Вознесемся, святой Адольф!..» И такие жестокие, неприятные эти хохочущие рожи. Тогда им крикнул: «Вы еще узнаете! Вы услышите, кто такой гефрайтер Гитлер!..»

В Азию, в Азию! Вот страна обетованная для позванных господствовать. Европа — давно выветрившаяся почва, истощенная вольтерьянством, интеллигентским скептицизмом. Восходишь говорить и всякий раз боишься начать: кажется, что уже и ты не ты — пока шел, поднимался — и они не они, что их уже подменили, и сейчас захохочут, заулюлюкают. Я сотру ваши ухмылочки, интеллигентские гримасы! Ни один не спрячется. Сколько понаговорили, понаписали, и все против, все против! Целые Альпы книг — и в каждой усмешечка! — нагромоздили, и все на моем пути. Срыть, одна должна выситься — одна мысль, одна воля. И одна Книга! А почему бы и нет, ведь и Библия, и Коран, и Талмуд — единственные, не признающие друг друга. Их слишком много — единственных. Останется одна.

В Азию, в Азию — туда ведет шестую армию шестое чувство

фюрера! Там, там шарнир времени, там!..

* * *

С Востока мы принесем опыт, который необходим и здесь, дома. Но пришло время серьезно развивать технологию обезлюживания больших территорий. Никто этим всерьез не занимается. А тут, кроме технических проблем, много и психологических, чисто человеческих. Мои фаусты транжирят марки на «чистую науку» — без конца замеряют черепа цыган да евреев, а теми, кто должен эти черепа разбивать и оставаться при этом хорошими немцами, теми по-настоящему никто не интересуется, о них не думают. И получаем в результате, что каждый третий или пятый немец все еще не подготовлен к задачам, которые во весь рост встанут завтра. Чуть ли не у каждого главы семейства есть свой еврей — или поляк, или русский! — которого ему жалко. Других — ладно, но этого, «его» еврея надо сохранить! А если помножить, то сколько надо «пожалеть», оставить? Чтобы через 50–100 лет обнаружить, что снова окружен термитоподобными. Гиммлер это неплохо высмеял — «своего еврея»... Но постой, постой! Он ведь знает про Эдуарда Блоха, еврея из Линца! Который после аншлюса вывез из Австрии подарок фюрера — картину, а заодно и всю семью. Людям Гиммлера поручено было помочь Блоху. Когда Гиммлер говорил про «своего еврея», помнил он об этом?.. Вот и Рема забавляло, очень веселило прошлое фюрера. Где, кому служил Адольф Гитлер, когда он числился при рейхсфере «партийным офицером», от кого получал марки и за что? Под каким номером и какая была кличка? Рем, от Рема те разговоры. Как же, за две марки в день на побегушках был ефрейтор. У него, у капитана. Шпик за две марки. И он это смел знать, помнить! Знал, помнил, и все жил!.. А Гиммлеру, может быть, спать не дает выпавшая из фамилии фюрера буква «д», замененная на «т»? Помнит, а как же! Это он мне и докладывал, когда «номера» дружно навалились на Рема, что пьяные штурмовики в казармах занялись филологией. Ну нет, я вам не отдам право решать, кто из нас не еврей! И кто истинный немец. Может, не устраивает уже, что австриец, из какого-то Браунау, Линца?.. Будто не я вас заставил — горло срывал от крика! — вспомнить, что вы немцы. Вернул немцу самоуважение. Поневоле близка станет судьба всех, кто избрал для служения чужой народ. Даже Наполеон не был французом. Ты пришел, явился их возвысить, поднять из грязи, прозябания, но чем они выше поднимаются, тем они неблагодарней. И ты в вечной осаде. Вроде уже и не нужен, будто и без тебя они могли подняться. Прав, прав был флорентиец: если ты не унаследовал,

а завоевал «престол», поспеши всех и вся заменить, изменить, сломать. И в первую очередь так называемых «соратников», кто знал тебя «до» и вообще слишком многое помнит, чего не следует. Если сумеешь — и это надежнее всего! — создай из чужого свой народ, как говорится, по образу и подобию. Чтобы не ты был чужаком, а всякий тобой отвергнутый, отринутый. И не имеет значения, по какому чертежу ты все переделаешь, все изменишь. Тут важно, чтобы все и заново. Чтобы без тебя, без твоего присутствия, твоей воли уже не мыслилось само существование народа. Для этого каждое поколение должно испытать тяжесть, жестокость твоей руки — на себе испытать. Особенно в мирное время. Его вообще не должно быть, мирного, даже если нет войны…

А все-таки было бы скучно, чего-то не хватало бы без привычных «номеров», увлекательной игры в милость-немилость фюрера. Уже недостает чего-то, когда, вот как Рем, привычные фигуры выбывают из игры навсегда. Надо только уметь окружать себя прирожденными вторыми номерами, которые на первые роли просто неспособны. Пожалуй, и Рем такой же был, хотя и заговаривал о «новой революции». Как удивился, испугался самой мысли этой, когда я крикнул ему: «Может, и фюрер новый? Не ты ли, свинья? Нового не будет. И другой революции в Германии не будет — тысячу лет!» Да они больше всего боятся, что без меня останутся один на один с немецким народом, с Европой, с миром! Я незаменим, и они это знают.

Самому страшно подумать, что достаточно даже не выстрела, а удара вот сюда в голову или сюда, и шарнир времени будет непоправимо изогнут, даже сломан. Нет, этого не может случиться: я чувствую, я это чувствую вот как свою руку или ногу, что мои цели уходят в Космос. А там не позволят все оборвать так глупо, случайно. Я навеки повязан с народом, с которым мы избрали друг друга. Как охотник и дичь. Только кто охотник и кто дичь? Всякий норовит в охотники. Может быть, вы рассчитывали, что «этот австриец», подарив вам армию, райх, вспомнит, что он нечистокровный немец и всего лишь «младший чин», испуганно сделает шаг назад и станет в строй, а командовать будут другие? Да нет же, не случилось этого, к счастью для вас, мои вы законопослушные и неверные. Да вы сами для себя «дичь»! С какой охотой и старательностью вы кромсали и жгли друг друга, немцы немцев, пока вас не сгреб, не сволок в одно целое железный Бисмарк. И как легко все это могло (на радость соседям!) рассыпаться снова — на карликовые и драчливые, как бурши, «государства», если бы не привели вас в чувство мои два

выстрела, всего лишь два выстрела в потолок. Как они ярились, эти карровские заговорщики, патриоты «великой и независимой Баварии», когда неожиданно увидели меня на столе — с пистолетом в одной руке, с часами в другой! Это был символ самой истории: стреляющий пистолет и часы! И черный длинный фрак: момент требовал строгой торжественности. На Мюнхен, на Берлин! Национальная революция началась! Трусы, подлые трусы... Потом в этом старались увидеть смешное — «официант полез на стол...». Неблагодарные! Да не появись я вовремя, вы снова начали бы, немец немца, резать. Во славу пронафталиненного «наследника» или провонявшего селедкой «красного» — с одинаковым азартом. Сто раз права откровенность англичан: не хочешь гражданской войны — ищи врагов вовне, становись империалистом! Кто еще к вам был так щедр, как я: не одного, не двух — целый мир врагов подарил Германии. И тем спасаю немцев от самих себя. Так помните же это, даже если вам очень надо будет поверить, что все, что было, всего лишь сон. Все равно меня выдумаете — заново!

Так лучше уж вам теперь до конца идти. Раз уж везет.

Неизвестно, повезет ли с другим!..

* * *

... Под желто-зеленой ковровой лужайкой с белыми ломаными стрелами свастик, за деревянной обшивкой — мощный бетон, скала, холод. Лето, а все равно холод — в костях, в животе. Вот она, человеческая плоть! Сколько ни возвышайся, останешься до конца дней со своими ста семьюдесятью двумя сантиметрами, с этой вот рукой, вялой от самого плеча... (с одним-единственным — и тут насмешка чья-то, издевательство! — «ядром», которое все ловит железная лапища Курта). Последний цыган владеет тем, чего природа не дала тебе, всю кровь бросая в мозг, тоже принадлежащий не тебе. Так что Еве приходится снова и снова убеждать и тебя и себя: «А мне и без этого с тобой хорошо, мой фюрер!» Проклятье! Можешь все отнять: земли, города, рудники, жизнь, даже язык стомиллионного народа, а этого не заберешь — у последнего еврея, цыгана. О, они сластолюбивые, эти семиты!.. А тут еще желудок ноет. Чем это обкормил нас рейхсмаршал? Ему что, все жрет, как свинья! Был специальный столик, вегетарианский, и на нем какие-то пироги, и я не удержался. Эта «охотничья избушка» слишком напоминает бордель. Туда бы Гофмана с фотоаппаратом. Или Адольфа Циглера с его классической кистью. Вот у кого бы глаза полезли на лоб! Когда дебелые нагие дианы бросились бы лизать-слизывать и краски с его

палитры. Фу, отрыжка, мерзость! Как это Геринг решился меня затащить в свой Содом? Или они решили продемонстрировать побольше женских форм, чтобы показать, что не гомосексуалисты? Что не грешат по-генеральски. Считается, что фюрер этого не терпит. Помнят, помнят историйку старого фон Фриче и фон Бломберга! Но кто подсказал Герингу эти маски божков, богов? Себе взял маску африканского — с намеком на свое генерал-губернаторское детство. Гора белого мяса с черной свирепой рожей, накрашенными губами и ногтями — вот бы фото да в английскую газету! Зато сморчок-хромоножка напирал не на свою рабочую родословную, а на академический сан: в толпе визжащих нимф голая обезьянка с физиономией античного мыслителя-ритора. Вот бы Магда нагрянула, она бы ему и вторую ногу укоротила, если не похуже! Ну, свиньи, ну, поросята! Небось рассчитывали, что совратят на такое бесовство и фюрера. И тем спустят его до себя. И приблизят, приблизятся. Все ищут слабину, ощупывают осторожненько и подло: знают, знают, что давно раскусил их, все их штучки мне известны. Хорош я был бы вот с этими жирными складками живота, с ногами короткими, волосатыми!.. Маску приготовили, лежала на вегетарианском столике — бородатая физиономия, похоже что Зевс, но и на Яхве, и на славянского Перуна похожая. С намеком? А что, надел бы да громыхнул, по-еврейски или по-русски! Гиммлер уже читает по-русски, выучил. Схватился бы и еврейский зубрить! А что, сделать языком высших, и пусть стараются, учат. Пока будет идти охота на последнего еврея и последнего славянина. Выучили бы как миленькие, только бы попасть в избранную двадцатку! Чтобы к ноге поближе. И мои шейлоки арийские тоже ползут к ноге. А сколько было амбиции, самоуверенности! Чуть ли не в рот будущему фюреру лазили пальцами — не рискованно ли вложить миллионы? Сомнительный «крикун», «революционер»! А как ухмылялись тогда в Дюссельдорфе: Гитлер — и во фраке! У какого актера одолжил? Думаете, не читал я ваши улыбочки? А затем прозвучало мое Слово, и они зааплодировали, даже встали, но все равно (видел я, видел) разглядывали, как переодетого жулика: сейчас схватит их марки и сбежит в Америку или Австралию! Да, пришли на помощь, но лишь после того, как дали нахлебаться воды, почувствовать, что иду ко дну. И думали — навеки останусь на побегушках. А теперь вздрагиваете виновато, испуганно, когда моя нога наступает на вас. Само собой разумеется, у нас частное хозяйство, но кто помешает национал-социалистскому государству забрать у одних и передать другим — тем, кто энергичнее, преданнее, да и просто талантливее как руководитель? Сегодня никто нам

помешать не может. И вы это знаете. Вздрагиваете. Да, я говорил и повторяю: не интересы отдельных господ, а дело нации превыше всего! И вы знаете, о чем говорю. Теперь еще больше ненавидите красных — еще и за то, что подтолкнули вас в мои руки. Но и я помню кое-что. Как ходил бесприютный и не нужный никому мимо ваших дворцов, машин. Что ж, кое-что могу и забыть: пусть это будет моей жертвой немецкому единству. Зачем мне обобществлять ваши заводы? Достаточно обобществить хозяев. Вас! Но только и вы должны окончательно выбросить из головы все, на что втайне рассчитывали, о чем мечтали. Есть и останется Адольф Гитлер, фюрер немецкой нации, а шуцмана Гитлера, которого вы хотели иметь под руками, нет и не будет! А неплохо бы, верно: шуцман Гитлер у проходной вашего завода прогуливается, наблюдает вдоль конвейера, а вы прикидываете, повысить ему плату за старательность или обойдется? Хватает, есть кому и без шуцмана Гитлера смотреть за порядком у заводских ворот. Пожаловаться не можете. Но уж простите: место фюрера — одно-единственное... Нет, почему евреи, почему мусульмане не ищут, не интересуются, кто вспоил, кто вскормил их Моисея или Магомета? А мои уснуть не могут, пока не установят точно: кем, из чего сделан их фюрер? Будто он всего лишь колбаса немецкая. И кто только не запихивал в нее свои мозги, марки, добрые дела! Эккард, Розенберг, Шахт, Гаусхоффер, Круппы. И пастора Бернарда Штемпфле никак не забудут: как же, без него фюрер и трех слов не связал бы! Даже про Рудольфика Гесса вспоминают, про мою ландсбергскую машинистку, тень мою! Бедный заложник, как ему там у Черчилля? Удивительно, его всегда тянуло в тюрьму, как хромоножку в бордели. И в Ландсберг сам попросился, и в Англию... Этот по крайней мере предан, как женщина. Смотрит и вот-вот заплачет от преданности! Самый бесцветный из «номеров», а потому и очень подходил, безопасен был в качестве партийного «дублера». Но даже про него шепоток — Гиммлер охотно кладет мне на стол все, что касается других «номеров», — оказывается, для того Рудольфик попросился ко мне в тюрьму, чтобы нашептать мне мою книгу.

Прав, прав флорентиец: неблагоразумен правитель, который держит возле себя, долго терпит тех, с кем пришел к власти!..

Дитрих — вот кто был настоящий друг и соратник. Шагал рядом, пока был необходим, и ушел из жизни как раз вовремя, не виснет, не засматривает в глаза. А эти свиньи переживут кого угодно. Великий поэт в душе Дитрих Эккард — только он понимал во мне художника. Дружище Дитрих предвидел, что наступает время художников действия — искусство, высшего рода. Не из глины, а из

массы человеческой лепить красоту и ужас завтрашнего дня! Когда этот вырожденец, заика от кисти, этот Пикассо пытался со мной соревноваться (кистью с бомбами!), его картина как раз и засвидетельствовала натужное бессилие копии перед оригиналом. Не профаны из мюнхенской Академии, а сама судьба закрыла передо мной путь к мертвому искусству, чтобы вручить иной резец, другую кисть. Что их жалкие копии перед корчами Варшавы, Антверпена, Санкт-Петербурга! На планете, как на палитре, растирать краски-расы, краски-народы и рисовать их гибель, их конец и приход Новых Людей!.. Раз в год впускать назад в Европу и тех, чьи забытые цвета и названия стерты с географических карт. Делегации полукиргизов, когда-то называвших себя французами, голландцами, англичанами, чехами, провозить через Берлин — заново построенную, величественную столицу нового мира. Перспективную расу очищать от любых примесей, добиваться идеальной чистоты одной краски, а все остающиеся и обреченные растирать и смешивать, смотреть и показывать, что получилось бы из человека, не спохватись мы вовремя. Вот искусство, вот он — размах арийской науки, — мы закончим, завершим работу богов! Как примитивны и ложны были представления и методы всех обновителей мира, особенно новейших. Никто не пошел дальше социальной хирургии. До расовой доходили только чистые теоретики или такие поэты, как Ницше, да парочка англичан. А другим все казалось: убрать еще эту группу в народе, это сословие, эту прослойку нации, этих, пол-этих и четверть этих, а оставшиеся и есть самое ценное, чистое, нужное, искомое — из них взойдут новые люди, новый человек! Алхимия какая-то, примитивно количественный подход! Нет, другой путь и другие масштабы: выбрать из всего мусора одну-единственную, но прогрессирующую расу и начать новый цикл — вернуть на «планету» человека-бога, гиганта-мага! А строительный мусор сжечь, на удобрение пустить!

Кто из нынешних людишек мог мне это внушить? А сколько их, которые себя и которых объявляют моими духовными вскормителями. Как же, и Гаусхоффер, и Розенберг, и даже Гесс тайно подкармливали мой гений в Ландсбергской тюрьме. Покажите свои сиськи, дщери Лоттовы, покажите, не стесняйтесь! За них первых и взяться — за этих «старых бойцов», «ветеранов движения», этих баб сварливых. Как только подойдет момент. И никто не затеряется — сами же пронумеровали себя. Они, мои верные соратнички, думают, что фюреру о них ничего не известно. Какой и в каком банке у кого счетец припрятан. В нью-йоркском, швейцарском, в английском. Как скис бедняга Геринг, когда узнал, что американцы наложили лапу на

«деньги его жены!». «Что, Герман, плохо себя чувствуешь, изжога?» — «О, мой фюрер, вы этого не представляете, вы святой человек!» Представляю, свинья ты этакая, больше, чем вам хотелось бы. У хромоножки лежат в швейцарском банке, у Риббентропа — страховка на пять миллионов. Спросить бы, как он понимает «страховку»: если я его на крюк повешу, ему их выплатят, так, что ли? Ручаюсь, что и у Гиммлера, который охотно поставляет мне сведения о других «номерах», у самого и счетец, и страховка — в чикагском или лондонском. Еще бы, такое лагерное хозяйство у него. Да и от арийских шейлоков передает, не для этого ли организовал «кружок друзей рейхсфюрера»? И все в нору, в нору — на всякий случай! Это на какой же случай? Ведь мы побеждаем! А если бы действительно не мы, а нас? Только спины их увидел бы, номера — как на беговой дорожке! Нет, но какой наглец: вошел и, блестя своим аптекарским пенсне, деловито сообщил, что в нью-йоркском банке лежат 70 тысяч долларов на мое имя. За переиздания «Майн Кампф». Не будет ли каких распоряжений?

Уже и на меня мне донес!

... Снова и снова хочется себя ущипнуть и убедиться, что все не сон, все правда: и фюрер, и шестая армия, и победное наступление на юге России, в Африке. Щипать, щипать, бить, бить, бить, жечь огнем, чтобы чувствовать, чтобы чувствовали, что правда, что я есть, что все, все есть и останется!.. Эти мазурские леса, это глубокое логово хороши для созревания замысла, для концентрирования энергии. Но они не созвучны, мешают, сопротивляются новому чувству — стремлению слиться душой с армией, перед которой бескрайняя азиатская степь. Туда перебазировать штабы, на юг, где решается судьба летнего наступления и войны. Необходимо там быть: генералов снова напугают просторы — до Волги, за Волгой! Они верят картам и глазам и не знают, что *оттуда* , из-за льда, все видится совсем по-другому. Для титанов, для Высших Неизвестных, которые возвращаются и мне открылись, для Них наше пространство всего лишь маленький воздушный пузырь в глыбе космического льда. Ганс Гербигер и Бендер лишь догадывались о том, что мне открылось как физическая реальность. Я знать не хочу никаких просторов, и они для меня не существуют! Потому и не любил, не люблю миража путешествий: с меня хватает Германии, да и нет ничего — в высшем понимании! — помимо точки, в которой в данный момент я нахожусь. Перемещусь на юг или в Азию — туда сместится весь мир. Жутковато даже, побаиваешься двигаться, переезжать с места на место, когда видишь, как все приходит в движение и нарушается неустойчивое равновесие

Космоса... Существует на самом деле лишь то, что закрыто для большинства. А само это «большинство», разве оно существует? Если задать правильно вопрос: кого «два миллиарда»? Меня все пугали, что их два миллиарда, а немцев всего лишь восемьдесят миллионов. Как можно, разве мыслимо, чтобы столько победили стольких и господствовали?! Если думать, что и два миллиарда — люди, тогда конечно. А если видеть лишь термитоподобных — хрустящую массу под гусеницами моих танков?

И на саранче колеса машины буксуют, но что из этого?.. Провидение специально оберегало меня от лишнего, от ложного знания, которое ослабляет волю к действию. Как утаило от меня и армады Сталина. Но то, что я знаю, — высшее знание! Я *вижу* то, что знаю. Где-то там, за Волгой, дожидается нас пустая, до самого Урала, полоса, которую мы отведем под главные лагеря. Белоруссия, на которую мне указывал Розенберг и его Восточное министерство, так и не стала поглотителем лишних европейцев. С самими белорусами никак не расстанемся — разбегаются по лесам. Москва им присылает оружие и даже генералов, — и все оттого, что долго раскачиваемся. До того доходило, что некоторые командиры, не понимая, куда они пришли и какая война идет, наказывали солдат за «преступления против мирного населения». Пока не заставил всех расписаться, что будут судимы сами, если посмеют обращать внимание на такие вещи. Нет предела глупости немецкой, их привычке к регламентации! На каждом шагу и во всем. А этой Белоруссии я не простил и не прощу за одни ее леса и болота, которые разъединили, разорвали мои армии «Центр» и «Юг» в самые важные, первые месяцы войны. Их Полесье, нашпигованное дивизиями, нависало над обеими группами армий, отклоняло нас от плана... Нет, что мне Москва, сама упадет к ногам, как созревшая груша! Когда ударим по Волге — по самому стволу. Высокомерные островитяне, слабонервные латиняне увидят, как работает раса уничтожающая. За четыреста лет убрали сто миллионов африканцев да пятьдесят — индусов, вот их предел. А нам надо за десять — двадцать послевоенных лет очистить Европу от всего сора малых государств и народов. Малых и не малых. Не говоря уже о славянах и России. Весь мусор расовый сдвинем на восток. Широкая полоса лагерей между Волгой и Уралом примет — одних сначала в роли надзирателей, а других — по прямому назначению. Без полностью налаженной индустрии уничтожения не обойтись. Все, чем хвастаются сегодня Гиммлер и его начальник штаба по борьбе с партизанами Бах-Зелевский, пока только импровизации. И мы связаны по рукам и ногам действиями и влиянием банд. А тогда будет

полная свобода для полета фантазии. Вся германская армия брошена будет на разгром уже не армий противника, а народов — одного за другим. Но раньше каждый народ вымостит свой путь на восток хорошими бетонными дорогами. Столб, музыка и дорожные работы. Полная изоляция поселений друг от друга и внутри. Ни одного туземца не впускать в новые немецкие города, села, которые, как прекрасные миражи, встанут вдоль дорог. Репродуктор вместо шамана, а если непослушание, бунт — бомбы с неба, этого вполне достаточно. Постепенно их будут увозить — куда-то за Волгу. Мои мудрецы из Восточного министерства очень заботятся о совести немцев. Но именно это и нужно: нагружать их совесть. Чтобы не возникало соблазна быстренько свернуть в сторону, на обочину. Никто от временных неудач не застрахован, и мы тоже. Но я могу лишь победить. Все другое — наша общая смерть. Но вам, мои законопослушные и неверные, хотелось бы от этого любой ценой уйти. Даже предав фюрера. Чтобы только длить, длилось никому не нужное прозябание — даже если снова, и уже навеки, поражение. Да, немец — это то, что должно быть преодолено. Я вам не говорю всего, вы еще не готовы услышать все. А то бы вы поняли, что я пользуюсь идеей нации — идеей немецкой нации! — лишь по соображениям текущего момента. Я знаю временную ценность этой идеи... Нет, вам еще предстоит подняться до германцев — через мою борьбу. До германцев вам все еще далеко. Но и это не предел. Потом, потом над всем миром встанет и вечно будет лишь всеобщее содружество хозяев, господ! И множество ступенек-каст, падающих вниз. Но какой язык я все же изберу для высших? Странно, что только сегодня эта мысль посетила меня. Нельзя ее терять из виду. Неплохо бы полоснуть моих простодушных и неверных по их немецкому самолюбию — еврейским языком! Вот завертелись бы, заспрашивали, заглядывая в глаза: как же так и почему, а куда девать наши арийские чувства? Отплачу им за все: за немецкую неблагодарность, жадность, стремление все забрать у своего фюрера, оставив ему лишь немецкие заботы да желудки! Высшие не обязаны испытывать ваши чувства, разделять ваши предрассудки, даже если мы сами их, из тактических соображений, культивируем — пора немцам показать это. Жалко только, что в еврейском слишком много слов, понятных немецкой толпе. И это непоправимо. Ну, тогда — славянский, какой-нибудь из славянских. И в этом есть великолепная ирония. Хотя и языки славян многим немцам тоже доступны — ничего чистого в этом мире. Не планета, а свальный грех! Для высших нужен язык, чтобы за ним — как за китайской стеной. А почему бы и нет: спрятаться за

иероглифами. Вот только полмиллиарда... Ну и что ж, я уже произнес слово: миллиард! Я первый осмелился сказать: миллиарды термитоподобных будут счищены с «планеты»! Наступила пора готовить нишу, слишком тесную для всех, под людей-титанов. Идея, которая столько стоит, отныне бессмертна!..

Будет еще забот и с немцами, с германцами — с ними после всех. Простодушные и себе на уме, они уже готовы поверить, что вся моя Идея — в их желудке. И очень обидятся, когда обнаружат, что это не совсем так. И даже совсем не так. Придется и за них браться. Когда наступит Время Песка, и надо будет дробить, крошить глыбы германского — уже германского! — национализма и эгоизма. Сегодня на немцах все держится, стоит, а завтра именно они окажутся — скалой лягут — на пути нашего движения. Немцам придется, хотя и позже других, но самим придется в порошок, в пыль измельчить, истолочь своих великих предков. Всех этих Фридрихов и Бисмарков. А что касается Пауля фон Бенекендорфа унд Гинденбурга, так его великие кости швырну в яму в первую очередь. Кто-то из ассирийцев, царь-победитель, хорошо придумал: побежденным в яму бросали кости их царственных предков, чтобы дробили их камнями! В пыль истолочь! Барханы песка, пыли, а над ними одно солнце! Единственная привилегия немцев — быть последними. Сами проделают нужную работу, когда придет Время Песка. Проделают! На то они и люди! Каждый одним лишь будет озабочен: где ему стоять, сидеть и что ему обещано? Подавать команды или в яме толочь кости? А что кости уже немецкие, германские, — научатся не замечать. Сегодня им показалось бы, что не того они ждали, не на это рассчитывали, не этого добивались под водительством фюрера. Завтра поверят, что именно этого и ничего другого. Когда я с ними говорю, обращаюсь с трибуны или по радио, в голосе несколько голосов. Не сразу и сам это обнаружил. Каждый слушает только тот голос, который обращен к нему, только к нему. Слышит обещание, что именно ему поручат подавать команды, ему, а не кому-то другому. Каждому обещай больше, чем всей толпе. И кто бы он ни был — капиталист или студент, женщина или рабочий, крестьянин или государственный служащий. — он должен услышать, что все, все ради него и для него совершается! Вот отчего мое Слово так действует на тех, кто в толпе. Голос всевечного эгоизма — вот что сдвинет горы и перемелет их в песок! Если бы только не Курт — среди тех, кто внизу. Этот мужлан, этот хам-вольтерьянец!.. К нему, к ним не знаешь с какими словами, с какой стороны подступиться. Он сам все сзади заходит, все время оглядывайся. Всегда ощущаешь пустое, опасное пространство за

спиной — это мешает парить над толпой. Вот-вот железная рука больно захватит снизу: «Поехали, святой Адольф, мой фюрер! Поехали, Адольфик Шикльгрубер!» А все не знают, не поймут, отчего у фюрера лицо такое напрягшееся и руками испуганно взмахивает. А «номера» теснятся, чтобы рядом, поближе стать, чтобы и их снизу увидели, и никто не догадается прикрыть сзади. Да и не знаешь, а может, он тот самый и есть, кого надо остерегаться? И в снах он, и там покоя нет от Курта: все заходит, заходит сзади — неистребимый хам-вольтерьянец, ничего высокого не признающий, испорченный вместе со всем родом человеческим! Он оттуда, из времени, когда рушился, разваливался фронт и на Западе, и в большевистской России, а Германия, сама не веря, что это правда, что возможно это, голосом ноябрьских предателей умоляла о перемирии. Они хлынули из окопов — искать, кто виноват во всех их бедах, а красные мстительно указывали им на патриотов, а в госпитале никому не ведомый гефрайтер, ослепший на фронте, хватался за холодные, сифилитически-шершавые стены, будто снова шел сквозь ядовитое облако, искалине мог найти свою палату, койку, нору, а вслед ему из репродуктора неслось:«Германия просит о перемирии!..» Просит! Просит!.. Кто-то обязан был остановить падение, схватить рыжего Курта за воротник и снова поставить в колонну. Провидение отыскало Тебя, слепого, больного, как великий Ницше, слепого, но увидевшего свое высшее предназначение — на годы вперед, на десятилетия, на столетия вперед! Их бессчетно много, тех, от кого Ты позван избавить нишу-планету. Курт снял мундир и затерялся в толпе, надел и снова затерялся — в марширующих колоннах. Их слишком много, готовых заулюлюкать, захохотать — там, внизу. И в каждом такая немецкая готовность не сделать, не выполнить, не согласиться. Их бессчетно много, потому что таков сам человек, это незаконченное существо.

Толочь, толочь, в песок обратить, в послушные солнцу и ветру барханы, выжигать, высушивать! Вперед по песку, по барханам, по могилам!..

Но неужели и я могу умереть? Или могло не быть меня? И сколько раз! Двое у моей матери умерли, едва успев родиться. А когда мальчишкой тонул, и уже пришло, наступило вялое безразличие, даже облегчение!.. Или граната, которая разорвалась в окопе: вот он, шрам на ягодице. А историческая Резидентштрассе! Искалеченная, вывернутая рука помнит, как больно и страшно ухватился за нее, сжал клешней и не отпускал опрокинутый полицейским залпом Макс Рихтер, позер-аристократишка фон Шонбер-Рихтер. Вот где ощутил я, что рука смерти такая же железная и насмешливая, как у рыжего

Курта. Такая же насмешливая! Я не трус, нет, даже Курт этого не скажет — видели, как я не пугался на фронте близких разрывов, — но тут растерялся, как никогда. Нет, не я, это Они за меня испугались, когда ползал по крови меж трупов и мертвое тело насмешника Макса волочил за собой. Это мир, сам Космос испугались, что так глупо и невозвратимо меня потеряют.

Не могут, не имеют права меня отбросить, отшвырнуть! Я не позволю со мной так! Важнейший фактор — мое существование. То, что я существую, — важнейший фактор. Не могут, не имеют права отбросить, отшвырнуть меня…

* * *

Гарри Менгесхаузен (эсэсовец из личной охраны фюрера): «Сообщению Бауэра о смерти Гитлера и его жены я не поверил и продолжал патрулировать на своем участке.

Прошло не больше часу после встречи с Бауэром, когда, выйдя на террасу, она находилась от бункера метрах в 60–80, я вдруг увидел, как из запасного выхода бункера личный адъютант штурмбанфюрер Гюнше и слуга Гитлера штурмбанфюрер Линге вынесли труп Гитлера и положили его в двух метрах от входа, вернулись и через несколько минут вынесли мертвую Еву Браун, которую положили тут же. В стороне от трупов стояли две двадцатикилограммовые банки с бензином. Гюнше и Линге стали обливать трупы бензином и поджигать их».

* * *

Начальник личной охраны Гитлера Раттенхубер: «Тела Гитлера и Евы Браун плохо горели, и я спустился вниз распорядиться о доставке горючего. Когда я поднялся наверх, трупы уже были присыпаны немного землей, и часовой Менгесхаузен заявил мне, что невозможно было стоять на посту от невыносимого запаха. И он вместе с другим эсэсовцем, по указанию Гюнше, столкнул их в яму, где лежала отравленная собака Гитлера… Меня поразила расчетливость эсэсовца Менгесхаузена, который, пробравшись в кабинет Гитлера, снял с гитлеровского кителя, висевшего на стуле, золотой значок в надежде, что в „Америке за эту реликвию дорого заплатят“.

* * *

Из судебно-медицинского заключения:

«Основной анатомической находкой, которая может быть

использована для идентификации личности, являются челюсти с большим количеством искусственных мостов, зубов, коронок и пломб».

* * *

Кете Хойзерман — ассистентка личного зубного врача Гитлера профессора Блашке:

«Я взяла в руку зубной мост. Я поискала безусловную примету. Тут же нашла ее, перевела дух и залпом выговорила: „Это зубы Адольфа Гитлера“.

(Из материалов Елены Ржевской, автора книги «Берлин, май 1945».)

МАТЕРИАЛЫ К СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ ГИПЕРБОРЕЕВ

В Бедламе нелюдей
Отказываюсь — жить.
С волками площадей
Отказываюсь — выть.
С акулами равнин
Отказываюсь плыть –
Вниз — по течению спин…
Марина Цветаева

Йим Сот Роннчит, 16 лет, рассказал, что после прихода к власти режима Пол Пота его вместе с другими жителями Сиемреапа направили на принудительные работы. Однажды его семью привели в одно место, где уже находилось 12 человек, среди них один мужчина, один старик, а остальные женщины и дети. «Я увидел много трупов, среди них тело моего отца. Солдаты направили на нас ружья и сказали: „Вы будете убиты“. После этого приказали сесть на землю, а затем солдаты начали избивать нас палками и мотыгами. Они забили пятерых или шестерых, прежде чем добрались до меня. Они били меня по шее и по спине. Я потерял сознание, и они, видимо, решили, что я умер».

* * *

«В начале 1978 года, — рассказывает кампучийский беженец Сан Канди, — тридцать семей были расстреляны за деревней. Я видел ров 15 на 2 метра, где их трупы мокли вперемежку с травой, применяющейся как удобрение, и коровьим навозом. Этой смесью

потом поливали поля».

* * *

Из рассказа тринадцатилетнего полпотовца:

— Да, я убил триста человек. Сам считал. Грамотный. В школе учился…

— А как же ты, такой маленький, стал солдатом?

— В село пришли солдаты. Они пошли по домам, выгоняли и избивали людей, отправляли их в коммуны. Меня заметил один командир. Спросил, есть ли у меня оружие, хочу ли я стрелять. А потом взял меня в солдаты, хотя родители мои были против. Вечером у этого офицера была пьянка. На нее они позвали и меня, дали водку и какое-то мясо. Пей и ешь,приказали. Потом сказали, что это мясо — печень наших врагов, что его надо есть много. После этого он приказал вывести десять человек, дал мне автомат и приказал их расстрелять. Я убил их всех. Так все началось. Он возил меня с собой по селам. Сам отсчитывал жертвы. Среди них я выбирал поупитанней, вырезал у них печень, жарил на костре и ел. А печень — она дает много ненависти против наших врагов.

— А как ты теперь спишь? Тебе не снятся какие-нибудь кошмары?

— Нет, ничего не снится. Я хорошо сплю. Днем иногда думаю, что и со мной могут поступить так же, как я делал. Но новая власть добрая…

* * *

«Почему вы убиваете детей?» — спросили у взятого в плен на вьетнамской территории командира отделения 323-й роты 232-го батальона 290-й кампучийской дивизии двадцатисемилетнего Оа Транга. «Нам велят уничтожать и детей. Говорят, что, когда они вырастут, они тоже станут врагами… Я делал вот что. Пробивал живот деревянным колом. Потом сбрасывал сапоги и босыми ногами вставал на тело. Медленно-медленно переступал по нему. Когда пленный умирал, я шел к другому…»

* * *

10 мая 1978 года радио Пномпеня передавало: «Мы продолжали громить вьетнамские силы вплоть до конца января. В феврале мы перешли в наступление, мощь которого наращивалась. Удары наносятся целыми дивизиями. После разгрома врага мы немедленно выдвинули наши соединения на его территорию… Таким образом, мы

достигли цели: 30 убитых вьетнамцев за одного вышедшего из строя кампучийца. Если мы принесем в жертву 2 миллиона кампучийцев ради уничтожения 50 миллионов вьетнамцев, нас еще останется 6 миллионов, чтобы строить социализм».

* * *

Пол Пот: «Для строительства нового, беспримерного общества нам нужен один миллион кампучийцев из восьми».

* * *

«... Как сказал в прошлом году в интервью Бжезинский, думать, что ядерная война уничтожит человечество, — это «думать неточно». По словам Бжезинского, даже если народы США и Советского Союза будут уничтожены, то на земле останутся народы других стран. По словам этого ядерного идиота, мы не должны проявлять «эгоцентризма» и преувеличивать важность уничтожения США и Советского Союза». (Из заявления Компартии США.)

На одном из совещаний, на котором обсуждались перспективы 80-х годов, ответственный представитель ВМС Соединенных Штатов заявил, что «в США и в Европе слишком беспокоятся о последствиях ядерной войны, рассуждая, будто ядерная война означает конец света, хотя в действительности погибнет всего лишь 500 миллионов человек».

* * *

Из документа № 870: «Принимая и приветствуя Пол Пота и Иенг Сари, Мао Цзэдун заявил: «Товарищи, вы добились великолепного успеха. Один взмах — и нет больше классов. Деревенские коммуны из бедного и среднего крестьянства — в этом наше будущее».

* * *

Из выступления Пол Пота на пресс-конференции в Пекине, опубликованного в «Жэньминь жибао» 3 октября 1977 года: «... Мы изучили опыт мировой революции, особенно труды Мао Цзэдуна. Опыт китайской революции был очень важен для нас. После изучения конкретной действительности Кампучии и опыта мировой революции, в первую очередь по трудам Мао Цзэдуна, мы нашли направление, подходящее к условиям Кампучии».

* * *

«Наша установка на переселение — важнейшая после 17 апреля

1975 года. Выселить из Пномпеня более 2 миллионов человек — это беспрецедентное достижение мирового масштаба. Завершив его, мы смогли уничтожить все силы оппозиции, стали стопроцентными хозяевами страны. Разбросанные по сельской местности горожане будут подавлены основными общественными слоями и «сахако», все превратятся в крестьян. Политика «деревня окружает город» переходит в политику «деревня поглощает город».

* * *

«Исторический день 17 апреля 1975 года означает, что социалистическая революция завершена на 100 процентов. В Кампучии больше не существует ни класса эксплуататоров, ни частной собственности».

«Граждане Демократической Кампучии делились на три категории. В первую входила та часть населения, которая до победы 1975 года уже проживала в освобожденной зоне. Во вторую — оказавшиеся в городах и районах, где марионеточная лонноловская власть пала после освобождения Пномпеня. В третью — семьи лонноловских военнослужащих, иждивенцы чиновников старой администрации, буддистские бонзы, католические монахи, школьники старших классов, студенты, интеллигенция. В официальных бумагах люди второй и третьей категорий иначе как «паразиты» и «лжецы» не назывались. «Отверженные», входившие во вторую и третью категории, составляли приблизительно 4 миллиона человек. В документах они назывались «новыми гражданами» и подлежали после 17 апреля 1975 года переселению в сельскую местность из городов. Всю вторую половину лета 1975 года по дорогам Кампучии тянулись бесконечные вереницы людей, оставляя на обочинах умирающих от изнеможения, недоедания, антисанитарии и побоев. Этот «марш», затеянный полпотовцами, стоил жизни сотням тысяч. По оценкам сегодняшнего дня, уже к середине 1976 года в стране погибло 800 тысяч человек. И затем каждый год по столько же: из 8 миллионов кампучийцев было уничтожено более 3 миллионов».

* * *

Су По, представитель военно-революционного комитета Пномпеня:

— Полпотовцы панически боялись каких-либо проявлений творчества. Скука, серость, отупение господствовали всюду. Но больше всего они опасались неконтролируемых контактов между людьми. А спорт, театр, самодеятельность, даже буддистские пагоды

означали возможность именно таких контактов. Поэтому две «низшие категории» граждан, обреченные на гибель, работали с рассвета до темна. Люди же «первой категории» проводили свободное время на бесконечных собраниях, где тупели от потоков безудержной полуграмотной и доктринерской демагогии.

* * *

Полпотовцы, говорится в обвинительном заключении народно-революционного трибунала по делу о преступлении правительства Пол Пота — Иенг Сари, «использовали такие методы убийства, которые давали возможность ликвидировать зараз сотни или даже тысячи людей, и это были гораздо более жестокие методы, чем те, которые применял Гитлер:

— мотыгами, киркомотыгами, палками, железными прутьями они били свои жертвы по голове;

— ножами и острыми листьями сахарной пальмы они перерезали своим жертвам горло, вспарывали животы, извлекали печень, которую съедали, и желчные пузыри, которые шли на изготовление «лекарств»;

— используя бульдозеры, они давили людей, а также применяли взрывчатку — чтобы убивать как можно больше зараз;

— они закапывали людей заживо и сжигали тех, кого подозревали в оппозиции режиму; они постепенно срезали с них мясо, обрекая людей на медленную смерть;

— они подбрасывали детей в воздух, а потом подхватывали их штыками; они отрывали у них конечности, разбивали им головы о деревья;

— они бросали людей в пруды, где держали крокодилов;

— они подвешивали людей к деревьям за руки или ноги, чтобы те подольше болтались в воздухе...»

* * *

Из газет:

«Более 70 стран голосованием подтвердили, что по-прежнему считают представительство Пол Пота в ООН «единственно законным»...

1971 — 1979 гг.

* * *

Из газет — осень 1982 года:

«Как сообщил корреспондент лондонской газеты «Таймс», утром

16 сентября на израильских военно-транспортных самолетах американского производства «Геркулес С–130» на взлетно-посадочную полосу номер 1 Бейрутского аэропорта с израильской базы Ансар был доставлен большой отряд командос, состоящий из профессиональных убийц. В тот же день началась кровавая расправа в лагерях палестинских беженцев.

Один из очевидцев рассказал корреспонденту «Таймс», что каратели ворвались утром в четверг на 30 автомашинах в лагерь Шатила. Вначале они действовали штыком и прикладом. Хватали женщин и детей, перерезали им горло. Затем начали стрелять по каждому палестинцу...»

«Уже достоверно известно, что самолеты «Геркулес С–130» доставляли головорезов Шарона к месту событий для блокирования лагерей палестинских беженцев, после чего в них были угодливо впущены фалангистские банды Хаддады вкупе с наемниками из Западной Германии, Англии и молодчики из Южной Африки».

У Фридриха Ницше: «...на различных территориях земного шара и среди различных культур удается проявление того, что фактически представляет собой высший тип, что по отношению к целому человечеству представляет род сверхчеловека. Такие счастливые случайности всегда бывали и всегда могут быть возможны».